

А. Л. ЛИПОВСКИИ.

О Ч Е Р К И

ПО ИСТОРИИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1912 г.

Въ предлагаемомъ отдѣлѣ курса Исторіи русской литературы составитель преслѣдовалъ слѣдующія задачи:

1) показать непрерывность развитія русской литературы—связь вѣковъ и отдѣльныхъ періодовъ;

2) дать представленіе объ исторической и психологической основѣ литературнаго творчества, чему должны служить введенія историческаго характера и біографіи отдѣльныхъ писателей;

3) выбрать изъ авторовъ и ихъ произведеній болѣе крупное и типичное и расположить наиболѣе цѣлесообразно въ педагогическомъ отношеніи, безъ слишкомъ drobныхъ подраздѣленій и рубрикъ;

4) съ цѣлью развитія самостоятельности учащихся, не давать въ курсѣ подробнаго пересказа содержанія произведеній и исчерпывающихъ характеристикъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ и положеній: учебникъ долженъ быть лишь руководствомъ, а не замѣной главной работы учащихся—непосредственнаго изученія указанныхъ произведеній. Той же цѣли отвѣчаютъ и приложенныя въ концѣ «темы».

Пособіями для болѣе полнаго знакомства съ исторіей русской литературы XVIII и начала XIX вѣка могутъ служить сочиненія:

Галахова «Исторія русской литературы» I—II.

Порфирьева «Исторія русской словесности» II, 1—3.

Пыпина «Исторія русской литературы» III—IV.

Милюкова «Очерки по исторіи русской культуры» II—III.

Веселовскаго «Западное вліяніе въ новой русской литературѣ».

Покровскаго «Историческая хрестоматія» IV—XV.

Изъ новѣйшихъ сочиненій:

Пѣтухова «Русская литература» I. Юрьевъ 1911.

Архангельскаго «Русская литература XVIII вѣка». Казань 1911.

«Исторія русской литературы XIX вѣка» подъ ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовскаго. Изд. «Міръ». Москва 1911.

Въ этихъ сочиненіяхъ можно найти указанія болѣе частнаго характера.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

Стр.

Связь вѣковъ. Общій характеръ XVIII вѣка. Роль литературы.	1
ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА. Европеизованіе Россіи. Пути европеизованія. „Казенная Дума“. Дѣятельность Петра Великаго на пользу просвѣщенія	6
Повѣсть, драма, лирика петровской эпохи	14
Церковная проповѣдь. Стефанъ Яворскій. Теофанъ Прокоповичъ	18
Публицистика. Посошковъ. Татищевъ	27
Сатира. А. Кантемиръ	35
КЛАССИЦИЗМЪ. В. К. Тредьяковский. Біографія. Сочиненія по языку и словесности	41
М. В. Ломоносовъ. Біографія. „Разсужденіе о пользѣ книгъ церковныхъ въ російскомъ языкѣ“. Оды	51
А. П. Сумароковъ. Біографія. Литературная дѣятельность . .	62
ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ЭПОХА. Европейское просвѣщеніе XVIII вѣка и его представители. „Вольтерьянство“ въ Россіи	67
Литературная дѣятельность Императрицы Екатерины II: Наказъ, педагогическіе труды, сказки, публицистика, комедіи. Публицистика. Щербатовъ. Болтинъ	76
Философскія и политическія идеи въ романѣ и повѣсти XVIII вѣка въ Россіи	84
Сатирическіе журналы 1769—1774 г.	89
Новиковъ и Шварцъ. Масонство въ Россіи	93
Д. И. Фонвизинъ. Біографія. Комедіи	101
Г. Р. Державинъ. Біографія. Лирика	108
А. Н. Радищевъ. Біографія. „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“	115
Итоги. Дѣятельность и идеалъ. Начало закономѣрнаго развитія русской общественной мысли и литературы	120

II. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

	Стр.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЭПОХА. Связь XVIII и начала XIX вѣка.	
Историческіе факторы развитія русской литературы	131
Н. М. Карамзинъ. Біографія. Сентиментальное направленіе въ литературѣ. „Письма русскаго путешественника“. „Бѣдная Лиза“. Публицистическія статьи. „Исторія Государства Россійскаго“.	136
В. А. Жуковский. Біографія. Романтическое направленіе въ литературѣ. Эстетика Жуковского. Элегіи. Баллады. Переводы	160
Новый слогъ. Заслуги Карамзина и Жуковского въ исторіи русскаго литературнаго языка. Противники реформы. Шншковъ. „Бесѣда любителей русскаго слова“. „Арзамасъ“. Кружокъ Оленина. Неоклассицизмъ. Гнѣдичъ. Озеровъ	185
К. Н. Батюшковъ. Біографія. Оригинальныя и переводныя произведенія. Значеніе Батюшкова въ исторіи русской литературы	193
Писатели реалисты. Романы Измайлова и Нарѣжнаго	202
И. А. Крыловъ. Біографія. Журналы. Комедіи. Басни	208
А. С. Грибоедовъ. Біографія. Комедія „Горе отъ ума“	219
Т Е М Ы	237

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

Вступленіе.

Связь вѣковъ. Общій характеръ XVIII вѣка. Роль литературы.

Русская историческая наука не мало потратила энергіи, чтобы разсѣять то впечатлѣніе современниковъ и ближайшихъ преемниковъ Петра Великаго, по которому все его дѣло представлялось въ видѣ коренного переворота въ русской жизни.

Основные выводы этой науки слѣдующимъ образомъ формулированы въ „Курсѣ русской исторіи“ профессора В. Ключевского:

„Реформа сама собою вышла изъ насущныхъ нуждъ государства и народа, инстинктивно почувствованныхъ властнымъ человекомъ, съ чуткимъ умомъ и сильнымъ характеромъ, талантами, дружно совмѣстившимися въ одной изъ тѣхъ исключительно счастливо сложенныхъ натуръ, какія по неизвѣданнымъ еще причинамъ отъ времени до времени появляются въ челоувѣчествѣ. Съ этими свойствами, согрѣтыми чувствомъ долга и рѣшимостью „жизнѣ своего не жалѣть для отечества“, Петръ сталъ во главѣ народа, изъ всѣхъ европейскихъ народовъ наименѣе удачно поставленнаго исторически. Этотъ народъ нашелъ въ себѣ силы построить къ концу XVI вѣка большое государство, одно изъ самыхъ большихъ въ Европѣ, но въ XVII вѣкѣ сталъ чувствовать недостатокъ матеріальныхъ и духовныхъ средствъ поддержать свою восьмивѣковую постройку. Реформа, совершенная Петромъ Великимъ, не имѣла своей прямой цѣлью перестраивать ни политическаго, ни общественнаго, ни нравствен-

наго порядка, установившагося въ этомъ государствѣ, не направлялась задачей поставить русскую жизнь на непривычныя ей западно-европейскія основы, ввести въ нее новыя заимствованныя начала, а ограничивалась стремленіемъ вооружить русское государство и народъ готовыми западно-европейскими средствами, умственными и матеріальными, и тѣмъ поставить государство въ уровень съ завоеваннымъ имъ положеніемъ въ Европѣ, поднять трудъ народа до уровня проявленныхъ имъ силъ. Но все это приходилось дѣлать среди упорной и опасной внѣшней войны, спѣшно и принудительно, и при этомъ бороться съ народной апатіей и косностью, воспитанной хищнымъ приказнымъ чиновничествомъ и грубымъ землевладѣльческимъ дворянствомъ, бороться съ предразсудками и страхами, внушенными невѣжествомъ духовенствомъ. Поэтому реформа, скромная и ограниченная по своему первоначальному замыслу, направленная къ перестройкѣ военныхъ силъ и къ расширенію финансовыхъ средствъ государства, постепенно превратилась въ упорную внутреннюю борьбу, взбаламутила всю застоявшуюся плѣсень русской жизни, взволновала всѣ классы общества. Начатая и веденная верховной властью, привычной руководительницей народа, она усвоила характеръ и приемы насильственного переворота, своего рода революціи. Она была революціей не по своимъ цѣлямъ и результатамъ, а только по своимъ приемамъ и по впечатлѣнію, какое произвела на умы и нервы современниковъ. Это было скорѣе потрясеніе, чѣмъ переворотъ. Это потрясеніе было непредвидѣннымъ слѣдствіемъ реформы, но не было ея обдуманной цѣлью“ (ч. IV, стр. 291—292).

Итакъ, въ программу реформы Петра Великаго, на ряду съ новымъ, вошло не мало идей и задачъ, унаслѣдованныхъ отъ прошлаго. Въ этой довольно значительной по времени программѣ еще нѣтъ гармоничнаго сліянія стараго и новаго, своего и чужого; въ ней не мало противорѣчій; чувствуется неизбѣжность внутренней борьбы въ процессѣ выработки прогрессивныхъ и вмѣстѣ національныхъ началъ жизни. Но основная сила, которой теперь уже не устранить изъ русской жизни, выдвинута смѣло и рѣшительно: „наука“, вообще „просвѣщеніе“.

Если въ чрезвычайно многогранномъ XVIII вѣкѣ, среди

разнообразныхъ явленій, искать живую мысль и дѣятельное чувство, которыя бы составили особое направленіе, характеръ вѣка, то мы ихъ найдемъ въ „наукѣ“, которая освобождала духъ отъ „предразсудковъ“, открывала передъ личностью свѣтлые и радостные горизонты будущаго. „О незабвенное столѣтіе!—воскли-цалъ Радищевъ въ концѣ вѣка.—Радостнымъ смертнымъ даруешь истину, вольность и свѣтъ!“

Въ XVIII вѣкѣ впервые было провозглашено освобожденіе мысли въ Россіи и началось культурное движеніе и просвѣтительная пропаганда, хотя и въ узкомъ масштабѣ практическаго примѣненія. „Вся Россія яко отъ сна пробудилась“, говоритъ живой свидѣтель начала XVIII вѣка. Въ затхлой атмосферѣ „старинны“, малоподвижной традиціи повѣяло чѣмъ-то свѣжимъ и молодымъ. Такимъ лучомъ свѣта, пронизавшимъ мракъ русской дѣйствительности, были идеи и идеалы новыхъ людей, вкисившихъ западно-европейской жизни и просвѣщенія. Эти идеи, безспорно, опередили вѣкъ, имъ не суждено было тотчасъ осуществиться, многое отъ XVIII вѣка осталось и для насъ благими пожеланіями, но онѣ беспокоили умы, тревожили мирный сонъ, двигали впередъ. Безъ этихъ идей, конечно, Россія могла бы еще долго оставаться въ состояніи „небытія“, какъ любили выражаться историки петровскаго времени про предшествующую эпоху.

XVIII вѣкъ ввелъ Россію въ кругъ европейскаго умственнаго движенія. Правда, это общеніе носило вначалѣ сильно подражательный характеръ; вліяніе Западной Европы принималось разнообразными путями, въ разныхъ размѣрахъ и дѣйствовало далеко не одинаково. Не все европейское, чѣмъ порою у насъ такъ восхищались, было истиннымъ благомъ. Но подражательность была логически необходима и неизбежна, въ виду нашей культурной молодости и отсталости, и чѣмъ скорѣе мы хотѣли войти въ круговоротъ европейскихъ идей, тѣмъ больше мы должны были заимствовать: некогда было остановиться и выбрать, сознательно усвоить и приступить къ самостоятельной работѣ. Пусть, мы плыли по теченію, безъ руля и компаса; нельзя однако допустить, чтобы продолжительная работа мысли не привела въ концѣ къ желанію опредѣленнѣе выяснить свое міросозерцаніе, сблизить его съ дѣйствительностью и осуществить его

въ жизни. Какъ бы ни были неполны и неглубоки результаты вѣка, его цивилизующее значеніе неоспоримо. Сближеніе съ Западомъ не только освѣжило насъ, но и способствовало развитію нашей самостоятельности, переходу—черезъ скептицизмъ и критику XVIII вѣка по отношенію ко всѣмъ вопросамъ жизни—отъ убогаго націонализма, отгораживанія себя отъ всѣхъ и вся, къ широкому національному творчеству жизни, не только не отрицающему, но непремѣнно предполагающему общечеловѣческія впечатлѣнія и гуманныя воззрѣнія. Въ этомъ смыслѣ XVIII вѣкъ можетъ быть названъ „промежуточнымъ періодомъ въ развитіи нашего общественнаго самосознанія“.

Петръ Великій не оставилъ своего духа законнымъ своимъ преемникамъ; имъ оказались не подъ силу его идеи и задачи. И все же—это лучшее доказательство произвольности и жизненной необходимости идей Петра Великаго—онѣ не погасли въ умахъ лучшихъ, мыслящихъ людей русскаго общества и стали главными историческими факторами русской жизни, опредѣлили закономерность ея развитія.

Трудъ усвоенія и переработки европейскаго творчества, дѣло просвѣтительной пропаганды, гуманнаго воспитанія мысли и чувства черезъ „образы“, взяла на себя наша литература.

Литература, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, всегда была откликомъ на явленія жизни, служила выясненію общественныхъ мнѣній и желаній. Ничто изъ широкой области челоѣческихъ судебъ не чуждо литературѣ, при чемъ мы имѣемъ въ виду не простое воспроизведеніе всендневной и часто плоской дѣйствительности, а преображеніе ея въ благородномъ смыслѣ путемъ выработки лучшаго сознанія, живыхъ идеаловъ, которые бы руководили общею жизнью, служили живымъ возбужденіемъ къ лучшему. Часто въ литературномъ образѣ мы находимъ заимствованную съ Запада идею, самое произведеніе облечено въ чужую форму—тѣмъ не менѣе оно можетъ быть значительнымъ для русской жизни. Не художественная красота на первомъ планѣ въ русской литературѣ XVIII вѣка. Въ XVIII вѣкѣ мы перенимали съ Запада всѣ роды поэтическаго творчества, но въ этомъ перениманіи было мало поэзии: все сводилось къ механическому примѣненію извѣстныхъ правилъ, рѣдко-

рѣдко взрывъ страсти, живой образъ, свѣжій отпечатокъ природы. Главное же—разсудокъ, обличающій и поучающій. Духъ критики и анализа, отличающій XVIII вѣкъ, отражается и на литературѣ—въ романахъ и повѣстяхъ, въ трагедіи и комедіи, въ сатирѣ и журнальныхъ статьяхъ, въ научно-популярныхъ сочиненіяхъ. Художественная форма была лишь болѣе удобнымъ средствомъ для проведенія въ жизнь просвѣтительныхъ идей. Большое и трудное было это дѣло, благодаря особымъ условіямъ русской жизни. Мучительно рождалась мысль. Еще мучительнѣе было хоронить ее. Сколько примѣровъ, какъ полное жизненныхъ силъ умственное движеніе слабѣетъ, обезличивается, а его представители лишаются возможности свободно говорить, уходя въ себя, подавленные и разочарованные. Не даромъ и за смѣхомъ русскаго писателя кроются слезы.

Понятна отсюда особая роль русской литературы, почти до нынѣшняго времени, и необходимость ея по преимуществу историческаго изученія.

Петровская эпоха.

Европеизованіе Россіи. Пути европеизованія. Казенная дума. Дѣятельность Петра Великаго на пользу просвѣщенія.

Европеизованіе Россіи было давно намѣчено нашей исторіей. Лишь благодаря выдающимся дѣятелямъ, съ такой нетерпѣливой и страстной энергіей, какъ Петръ Великій, Ломоносовъ, Екатерина Великая,—XVIII вѣкъ выдѣляется какъ особая эпоха въ жизни народа, отмѣчаемая сближеніемъ съ Западомъ, съ его наукой и литературой. На самомъ дѣлѣ, зародыши его—связи съ чужими землями и заимствованія—гораздо дальше. Русская жизнь издавна испытывала такія вліянія съ разныхъ сторонъ: съ востока, изъ Византіи, отъ славянъ. Эти вліянія въ соединеніи съ мѣстными элементами и составляли „старину“. „Новое“, освобождающее—было съ Запада. Съ нимъ мы сталкивались волею-неволею. Къ нему вело прежде всего распространеніе русскихъ границъ: присоединеніе единовѣрной, но болѣе образованной Малороссіи, пріобрѣтеніе прибалтійской окраины, высланной къ намъ немало полезныхъ дѣятелей и плѣнныхъ, присоединеніе Финляндіи, откуда къ намъ шла въ XVII вѣкѣ протестантская пропаганда. Улучшеніе путей сообщенія, сухопутныхъ и водныхъ (каналы), ускоряло сообщеніе съ Европой. Созданіе новыхъ городовъ, вродѣ Одессы, увеличило число новыхъ оконъ и дверей, которыми врывается въ Россію европейскій воздухъ. Наши города начинаютъ европеизоваться и благодаря появленію въ нихъ иностранцевъ. Послѣднихъ у насъ цѣлыми отрядами приглашали на службу государства. Промышленныя предпріятія (оружейные заводы, кожевенные, стеклянные и пр.) привлекаютъ

иноземныхъ купцовъ: образуются колоніи и слободы иностранцевъ въ Архангельскѣ, Москвѣ, позже—въ Петербургѣ, Одессѣ. Перепись 1665 года показала въ составѣ нѣмецкой слободы въ Москвѣ военныхъ иноземцевъ (отъ полковника до прапорщика) 142 двора, военныхъ дѣлъ мастеровъ (пушечнаго, ружейнаго), придворныхъ мастеровъ (золотого и серебрянаго дѣла, часовщиковъ, сѣдельника, портныхъ, живописца)—20 дворовъ, лекарей и аптекарей, переводчиковъ, торговыхъ иноземцевъ—23 двора, стряпчаго, пастора и др.—всего 204 двора (домовладѣльцевъ), не считая квартирентовъ. Съ теченіемъ времени за купцами, техниками и военными появляются въ Россіи иностранцы на службѣ въ коллегіяхъ, профессора, учителя, которые и сами открываютъ вольные пансіоны для русскихъ дѣтей. Родственные связи царствующихъ домовъ также привлекаютъ въ XVIII вѣкѣ не мало иностранцевъ въ Россію. Еще болѣе, можетъ быть, имѣло значенія непосредственное знакомство русскихъ съ Западомъ, и не ошибался Котошихинъ, говоря, что русскіе боятся посылать своихъ дѣтей въ иныя государства, ибо, „узнавъ тамошнихъ государствъ вѣру и обычаи, начали бы свою вѣру отмѣнять и приставать къ инымъ и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ никакого бы попеченія не имѣли и не мыслили“. Дѣйствительно, изъ 15 посланныхъ при царѣ Борисѣ молодыхъ людей для обученія за границу вернулся одинъ; другіе, можетъ быть, разсуждали, какъ Хворостининъ при Михаилѣ Феодоровичѣ, что „на Москвѣ людей нѣтъ, все народъ глупый, жить ему не съ кѣмъ.“ Вадилы русскіе за границу и съ дипломатической цѣлью еще въ XVI и XVII в. Не миновала насъ и западная книга въ захожихъ и переводныхъ повѣстяхъ всѣхъ оттѣнковъ и развѣтвленій, въ драмѣ, стихахъ и наукѣ. Культурное вліяніе этихъ столкновеній русскаго міра съ западно-европейскимъ несомнѣнно, но обнаруживается оно болѣе ясно при Петрѣ Великомъ, который даетъ болѣе усиленный, лихорадочно-спѣшный темпъ этому сближенію съ западомъ.

Петръ Великій не хотѣлъ только заимствовать готовые плоды западно-европейской техники, а хотѣлъ усвоить ее, пересадить въ Россію самыя производства, съ главнымъ ихъ рычагомъ—техническимъ знаніемъ. Изъ году въ годъ начинаютъ отправлять

молодежь на западъ въ разные города учиться математикѣ, естествознанію, кораблестроенію, мореплаванію, „манеръ голландской архитектуры“ и т. д. Поѣхалъ за границу, какъ извѣстно, и самъ Петръ Великій. Несмотря на разныя нареканія за покровительство „еретикамъ“ и т. п., Петръ Великій привлекаетъ иностранцевъ къ сотрудничеству въ дѣлѣ преобразованія; такъ, напримеръ, онъ нуждался для дипломатическихъ переговоровъ въ Паткулѣ и Остерманѣ, для военныхъ дѣлъ—въ Огильви и Ренне, и въ отношеніи къ земледѣлію и промышленности, наукамъ и искусствамъ, даже въ нравахъ и обычаяхъ, и въ области государственныхъ учрежденій Петръ Великій считалъ иностранцевъ полезными и образцовыми наставниками. Европеизованіе Россіи всѣми названными путями должно было имѣть серьезныя послѣдствія, составить, дѣйствительно, „эпоху“ въ русской жизни. Началось, конечно, съ вліянія быта, обстановки высшей культуры: „изба“ превращается въ „палаты“, появляются новаго фасона столы, кресла, зеркала, часы, картины, гравюры; потомъ идутъ подражанія въ роскоши польскихъ и нѣмецкихъ костюмовъ; далѣе—„галантность“ обхожденія и пріятность препровожденія времени. Русскіе, очутившись за границей, прежде всего поражались внѣшней стороною культуры: въ описаніяхъ русскихъ путешественниковъ того времени (таковы: дневникъ П. А. Толстого, записная книжка неизвѣстной особы, записки гр. А. А. Матвѣева) не мало мѣста отводится внѣшности городовъ, театровъ, садовъ, чистотѣ улицъ, освѣщенію ихъ фонарями, порядку и благоустройству, иногда и „коріузитами“; не обходятъ вниманіемъ они и европейскаго обращенія „со всякимъ сладкимъ и человѣколюбивымъ пріемствомъ“, иное, чѣмъ на Руси, положеніе женщины, благотворительныя и просвѣтительныя учрежденія; наконецъ, „плезиры“. На этомъ удивленіи психологическій процессъ не оканчивается. Русскіе люди начинаютъ размышлять, сравнивать видѣнное со своимъ и различать сходное и несходное, что дѣлали уже и до Петра Котошихинъ и Крижаничъ; а потомъ началась и критика, беспощадная критика своихъ домашнихъ порядковъ, сознаніе ихъ негодности и мысль о замѣнѣ ихъ новыми, заимствованными съ запада. Новые порядки и техническія усовершенствованія заводились во всѣхъ областяхъ. Перемѣны были до-

вольно существенныя. Конечно, дѣло не обошлось безъ крайностей: путешествіе за границу становится „страстью“; въ заимствованномъ много ненужнаго и незрѣлаго, карикатурнаго и смѣшнаго; часто перемѣна оказывалась внѣшней „позолотой“, подъ которой жила азіатчина; наконецъ, довольно узкіе были предѣлы распространенія новой культуры—дворъ, высшее чиновничество, столичное и лишь отчасти провинціальное дворянство. Но работа мысли оказалась и для всего русскаго общества. Самомнѣнію „старинны“ нанесенъ сильный ударъ. Она еще подниметъ свою голову, но только на время; ей не ожить, ибо въ обществѣ, въ его нѣдрахъ, начиналась самостоятельная сознательная жизнь и идейное движеніе, многіе уже пошли дальше простого заимствования и стали разбираться въ русской дѣйствительности съ новыхъ точекъ зрѣнія.

Наиболѣе полнымъ и типичнымъ представителемъ новыхъ стремленій былъ самъ Петръ Великій. „Во всей европейской исторіи—говоритъ историкъ Ключевскій—я не знаю другого государя, который бы въ такой степени былъ руководителемъ своего народа, такъ хорошо чувствовалъ и понималъ его насущныя потребности и такъ много сдѣлалъ для ихъ удовлетворенія“. Въ исторіи русскаго просвѣщенія, въ его раннемъ періодѣ, не должно удивляться, что во главѣ преобразованія становится власть, а не общественное мнѣніе. Еще Крижаничъ въ XVII вѣкѣ говорилъ: „Казенная дума есть одинъ изъ наипотребнѣйшихъ промысловъ для русскаго народа. Въ иныхъ земляхъ и народахъ могло бы быть сіе казенное думанье излишне, т. е. тамъ, гдѣ людство само по себѣ и отъ природы своей есть быстрого разума, домысливо, работливо, заботливо, а въ семъ русскомъ преславномъ государствѣ казенныя думы никакъ не лишни, но всячески корыстны и потребны: ибо нашего народа люди суть коснаго разума, и неудобно сами что выдумываютъ, аще имъ ся не покажетъ“. Петръ Великій и взялъ на себя инициативу реформы, сдѣлался душой всѣхъ предпріятій въ области внѣшней политики, всѣхъ перемѣнъ внутри государства. Процессъ преобразованій требовалъ со стороны народа большихъ пожертвованій, сопровождался часто очень крутыми мѣрами, походившими на терроръ революціоннаго періода. И тайно и явно, въ откры-

тыхъ сопротивленіяхъ и возмущеніяхъ, народъ протестовалъ противъ мнимыхъ и дѣйствительныхъ проступковъ Петра. Но послѣдній не отступалъ передъ задачей созданія „новой“ Россіи, на мѣстѣ „старины“, не смущался тѣмъ, что подмѣтили уже его современники: „нашъ монархъ на гору еще самъ десять тянетъ, а подъ гору миллионы тянутъ, то какъ дѣло его споро будетъ“ Дѣло его было дѣло русскаго народа; послѣдній только не. выполнѣ понималъ свое благо.

Для закрѣпленія чужого Петръ Великій долженъ былъ позаботиться и о домашнихъ образовательныхъ средствахъ, прежде всего о школахъ.

Заботы Петра Великаго о народномъ образованіи начинаются тотчасъ по возвращеніи его изъ-за границы. Онъ расширяетъ комплектъ Кіевскаго коллегіума, преобразованнаго въ Академію; поручаетъ въ Московской Академіи „завести ученія латинскія“, т. е. преобразовать ее по образцу Кіевской; заводитъ въ разныхъ городахъ низшія общеобразовательныя школы—епархіальныя и архіерейскія, которыя со временемъ развиваются до уровня среднихъ, по типу позднѣйшихъ семинарій. Одновременно, прежде всего для нуждъ арміи и флота, открываются и чисто свѣтскія школы. Въ 1701 году на Сухаревой башнѣ въ Москвѣ открывается навигацкая школа для дѣтей дворянъ и другихъ чиновъ людей; здѣсь же, черезъ нѣсколько лѣтъ, возникаетъ инженерная школа; въ Петербургѣ—артиллерійская; кромѣ того, появляются горныя школы въ Олонцѣ и на Уралѣ.

Въ 1715 году для дѣтей знатнаго дворянства „вмѣсто посылки за границу“ открывается въ Петербургѣ Морская Академія. Это же учрежденіе должно было стать разсадникомъ низшихъ школъ для „всенароднаго образованія“. Изъ этой Академіи велѣно было посылать учениковъ во всѣ губерніи „для науки молодыхъ ребятъ изъ всякихъ чиновъ людей“ въ такъ называемыхъ цыфирныхъ школахъ (въ нихъ обучали главнымъ образомъ „цыфири и нѣкоторой части геометріи“), которыя повелѣно было завести при архіерейскихъ домахъ и въ знатныхъ монастыряхъ. Эти школы однако успѣха не имѣли и послѣ Петра Великаго слились съ такъ называемыми „гарнизонными“ (солдатскими) школами. Причину неудачи хорошо объясняетъ нов-

городскій архієпископъ Іовъ: „священниковъ де неволятъ на всякомъ погостѣ строить школы и велятъ учить разнымъ наукамъ,—а чѣмъ школы строить и кому быть учителями и какимъ наукамъ учениковъ учить и по какимъ книгамъ учиться и откуда пищу имѣть и всякую школьную потребу пріискать—того опредѣлить не умѣютъ“. Нельзя идеализировать и школъ профессиональных. Своихъ учителей еще не было, а выписанные иноземные учителя мало были вразумительны для учениковъ. Учебныхъ пособій не доставало. Педагогическіе приемы были таковы, что школа порою превращалась въ дрессировку звѣрей. Немудрено, что изъ школы „бѣжали“. Была еще попытка завести, при покровительствѣ правительства, частную общеобразовательную школу, „гимназію“, именно—школу пастора Глюка въ Москвѣ на Покровкѣ, но эта попытка оказалась неудачной и, очевидно, преждевременной.

Въ началѣ 1724 года Петръ Великій обсуждалъ проектъ высшаго учебнаго заведенія, „какъ во всѣхъ европейскихъ государствахъ“. Для экономіи „съ малыми убытками, а съ великой пользой“ онъ задумалъ прямо учредить Академію Наукъ, которая должна была быть и высшимъ ученымъ (собственно Академіей наукъ), и высшимъ учебнымъ (университетомъ), и средне-учебнымъ (гимназіей) заведеніемъ. Помимо „совершенствованія художествъ и наукъ“, академики должны были „пещись и о дальнѣйшемъ распространеніи и развитіи“ ихъ, читать публичныя лекціи и т. п. Академія была открыта уже по смерти Петра Великаго, въ декабрѣ 1726 года, но до 60-хъ годовъ XVIII вѣка, по недостатку профессоровъ и студентовъ, не могла развить своей дѣятельности согласно широкому проекту Преобразователя.

Въ связи съ проектомъ Академіи наукъ, Петръ Великій основываетъ первую публичную Библіотеку и Кунсткамеру.

Чтобы вывести русскаго человѣка изъ его одиночества, расширить его кругозоръ, Петръ Великій позаботился о газетѣ, о театрѣ и даже о развлеченіяхъ.

Отлично понимая значеніе періодической печати вообще и для политическихъ цѣлей въ частности, Петръ Великій издалъ 16 декабря 1702 года указъ о печатаніи „Вѣдомостей о военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ знанія и памяти, случившихся въ

Московскомъ государствѣ и въ иныхъ окрестныхъ странахъ“. Первый номеръ вышелъ 2 января 1703 года въ Москвѣ и былъ собственноручно выправленъ Петромъ Великимъ. Въ немъ, между прочимъ, было сообщено, что „повелѣніемъ Его Величества московскія школы (академія) умножаются и 45 человѣкъ слушаютъ философію и уже діалектику окончили, въ математической штурманской (навигационной) школѣ больше 300 человѣкъ учатся и добръ науку приѣмлютъ“; въ Москвѣ ноября съ 24 по 24 декабря (1702 г.) родилось мужеска и женска полу 386 человѣкъ, а „изъ Олонца пишутъ“, что тамошній попъ Иванъ Окуловъ набралъ съ тысячу человѣкъ охотниковъ, перешелъ шведскій рубежъ, побилъ 50 человѣкъ шведской конницы да 400 пѣхоты, сжегъ до тысячи дворовъ и добычу отдалъ своимъ „солдатамъ“, а „изъ попова войска“ только ранено 2 солдата. Не только иностранцы, но иногда и русскія извѣстія доходили до читателей московской газеты изъ иностранныхъ источниковъ въ буквальномъ извлеченіи, безъ подкраски и безъ опасенія административнаго взысканія. Такъ, изъ Нѣншанца на Невѣ, за семь мѣсяцевъ до основанія тамъ Петербурга, въ № 1 было напечатано шведское извѣстіе: „Мы здѣсь живемъ въ бѣдномъ постановленіи, понеже Москва въ здѣшней землѣ зѣло недобро поступаетъ“, обыватели отъ страха бѣгутъ въ Выборгъ, захвативъ изъ имуществъ, что получше. Въ 1703 году вышло 39 номеровъ газеты. Петръ продолжалъ и далѣе интересоваться Вѣдомостями, самъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ, посылалъ письма (въ 1708 году цѣлыхъ три), указывалъ извѣстія для напечатанія въ газетѣ. Но успѣхъ Вѣдомостей былъ ниже средняго, что нерѣдко приводило Петра въ отчаяніе.

Широкій общественный и политическій характеръ хотѣлъ придать Петръ Великій и театру. Въ XVII вѣкѣ былъ театръ въ школѣ и при дворѣ (Грегори). Петръ Великій задумалъ придать ему большее значеніе. Въ 1702 году была выписана изъ-за границы странствующая нѣмецкая труппа актеровъ, подъ управленіемъ Іоанна Христіана Кунста, которая должна была за 6.000 ефимковъ (около 20 т. рублей на нынѣшнія деньги) въ годъ „всеми вымыслами и потѣхами увеселять“. На красной площади, у самаго Кремля, была построена „комидійная хоромина“ для

всѣхъ „охотныхъ смотрѣльщиковъ“ по самой доступной цѣнѣ. Переводомъ пьесъ на русскій языкъ занимались главнымъ образомъ переводчики Посольскаго приказа. При театрѣ должна была быть основана особая школа для приготовленія русскихъ актеровъ. Послѣ смерти Кунста, во главѣ труппы и школы сталъ Отто Фирстъ, по профессіи золотыхъ дѣлъ мастеръ. Неопытность ли руководителя, неудовлетворительность репертуара, или равнодушіе публики—виною, но въ 1707 году этотъ театръ пересталъ существовать, уступивъ свое мѣсто снова школьному и придворному театру до временъ Елизаветы Петровны.

Для установленія общежитія на манеръ европейскаго, Петръ Великій ввелъ въ обиходъ ассамблеи—родъ вольныхъ вечернихъ собраній въ знатныхъ домахъ, на которыхъ безъ всякихъ церемоній толковали о дѣлахъ, новостяхъ, играли, пили, плясали; устраивалъ маскарады, фейерверки и т. п. забавы.

Показателемъ „новаго“ является при Петрѣ Великомъ замѣна для свѣтскихъ книгъ стараго церковнаго шрифта новымъ гражданскимъ, сближеннымъ по начертанію буквъ съ латинскимъ. Первой напечатанной новымъ шрифтомъ книгой была „Геометрія, славенски землемѣріе“, а второй „Приклады, како пишутся комплименты“, переводъ нѣмецкаго письмовника, съ образцами писемъ на разные случаи и къ разнымъ лицамъ. Къ тому же роду книжекъ надо отнести „Юности честное зерцало или показаніе къ житейскому обхожденію“, пришедшее по вкусу публикѣ и не разъ переиздававшееся: очевидно, хотѣлъ русскій шляхтичъ сразу научиться „благочестнымъ поступкамъ“, чтобы не быть подобнымъ „деревенскому мужику“. Изъ добродѣтелей особенно рекомендуются: привѣтливость, смиреніе и учтивость. Частныя наставленія были такого рода: „повѣся голову и потупя глаза, по улицѣ не ходить и на людей косо не заглядывать, глядѣть весело и пріятно съ благообразнымъ постоянствомъ, при встрѣчѣ съ знакомымъ за три шага шляпу снять пріятнымъ образомъ, а не мимо прошедши оглядываться, въ сапогахъ не танцовать, въ обществѣ въ кругъ не плевать, а на сторону, въ комнаты или въ церкви въ платокъ громко не сморкаться и не чихать, перстомъ носа не чистить, губъ рукой не утирать, за столомъ на столъ не опираться, руками по столу не колобродить,

ногами не мотать, перстовъ не облизывать, костей не грызть, ножомъ зубовъ не чистить, головы не чесать, надъ пищей, какъ свинья, не чавкать, не проглотя куска не говорить, ибо такъ дѣлають крестьяне“. Забота о томъ, чтобы дворяне не походили на низшій классъ, на своихъ слугъ, видна и въ совѣтъ „младымъ отрокамъ“ не говорить между собою по-русски, чтобы ихъ не поняла прислуга.

Но не все такія книги переводятся. При Петрѣ было напечатано не мало учебныхъ руководствъ (по исторіи, географіи, ариметикѣ, грамматикѣ, и др.), много книгъ военныхъ, затѣмъ по части права и законодательства, изъ коихъ особенно важны сочиненія Гуго Гроція „О законахъ брани и мира“ и Самуила Пуфендорфа „О законахъ естества и народовъ“, „О должностяхъ человѣка и гражданина“. Петръ самъ выбираетъ книги для перевода, поправляетъ переводы, заботясь и объ языкѣ („дабы не по конецъ рукъ переведена была, но дабы внятно и хорошимъ „штилемъ“) и о внѣшности книги (красота шрифта, изящество переплета и т. д.).

Повѣсть, драма, лирика Петровской эпохи.

Рядомъ съ переводами, появившимися подъ прямымъ или косвеннымъ вліяніемъ Петра Великаго, значительное мѣсто въ литературѣ Петровской эпохи занимають произведенія чисто беллетристическія, по преимуществу переводнаго и подражательнаго характера — свѣтская повѣсть и романъ, драма, вообще стихотворство.

„Это было — говорить Пыпинъ — по преимуществу чтеніе популярное, распространенное по всѣмъ слоямъ тогдашняго грамотнаго люда, и послѣ книжности XVII вѣка было подготовленіемъ къ той болѣе серьезной литературѣ, которая возникла съ распространеніемъ правильной школы и образованія. Здѣсь, въ неумѣлыхъ самодѣльныхъ попыткахъ, мы можемъ наблюдать зачатки различныхъ направленій нашей литературы XVIII вѣка — зачатки еще грубые, впоследствии совсѣмъ забытые въ болѣе образованномъ кругу, но успѣвшіе сдѣлать свое дѣло: они развили любовь къ чтенію, вводили новые книжные вкусы, подго-

тавливали къ новымъ нравственнымъ интересамъ и даже давали проблески самобытности среди подражанія. Писатели второй половины столѣтія подсмѣивались надъ этими „славными исторіями“, которыя теперь для нѣскольکو образованныхъ людей уже устарѣли, казались грубыми и площадными; но онѣ надолго, даже до нашихъ дней, остались въ обиходѣ народнаго чтенія.

Эта литература, съ одной стороны, продолжаетъ традицію XVII вѣка — даже по внѣшности, по преимуществу оставаясь рукописной; съ другой, отражаетъ новые вкусы и въ содержаніи и въ обличьи, принимая въ старый московскій полуславянскій литературный языкъ массу новыхъ иностранныхъ словъ въ сыромъ еще не обрусѣвшемъ видѣ.

Содержаніе повѣствовательной литературы весьма разнообразно; произведенія эти переводились съ нѣмецкаго, французскаго, англійскаго, итальянскаго, польскаго; источникъ, авторъ, хронологія рѣдко опредѣляются.

На первомъ мѣстѣ стоитъ старинный рыцарскій романъ — Бова Королевичъ, Брунцвикъ, Петръ-Златые-Ключи, Мелюзина къ которымъ присоединяется новый запасъ „гисторій“ съ такими же рыцарями, принцами, королевичами — Евдонъ и Бероа, Король Ефродитъ и рыцарь Максіонъ, Францель Венціанъ, Египетскій царевичъ Полиціонъ, Гишпанскій шляхтичъ Долторнъ и т. д. Къ весьма популярнымъ романамъ XVIII вѣка относятся переводы съ нѣмецкаго: Азіатская Баниза и „Исторія о Календрѣ, цесаревичѣ греческомъ, и о Неонельдѣ, цесаревичѣ Трепизонской“.

Далѣе идутъ романы сентиментально-нравоучительнаго характера, вродѣ Гисторіи Жанетты, Добродѣтельной Сициліанки, Ипполита и Жуліи, Карла Орлеанскаго и др.

Наконецъ, переводы нѣкоторыхъ знаменитыхъ произведеній европейской литературы, вродѣ Приключеній Телемака, Погубленнаго Рая, Похвалы глупости, Илиады, Энеиды...

Опыты русской повѣсти въ XVIII вѣкѣ, пожалуй, и количественно и качественно слабѣе, чѣмъ въ XVII вѣкѣ: очевидно, ихъ подавляли переводы и образцы для подражанія. Но кое-что характерное „новое“ въ нихъ есть.

Предположительно, къ Петровской эпохѣ относятся „Гисторію

о російському матросѣ Василю Каріотському и о прекрасной королевнѣ Иракліи Флоренской земли“, „Исторію объ Александрѣ, російському дворянинѣ“ и „Исторію о російському купцѣ Іоаннѣ и прекрасной дѣвицѣ Елеонорѣ“, представляющую, повидимому, сокращенное заимствованіе изъ второй повѣсти.

Основа этихъ повѣстей — старая, авантюрная: необыкновенныя похождения небывалыхъ людей, неожиданныя встрѣчи, опасности и бѣдствія, чудесныя спасенія и т. д. Мѣсто дѣйствія — чуть не всѣ части свѣта. Но дѣйствующія лица уже съ русскими именами; среди городовъ фигурируютъ „Санктпетербурхъ“, „Кранштатъ“. Въ самомъ содержаніи — уже никакихъ признаковъ „старого“ міросозерцанія — съ демонологіей, аскетизмомъ, религіозными мотивами; напротивъ, главный нервъ этихъ „новыхъ“ повѣстей — любовь, красота. Въ формѣ изложенія слѣдуетъ отмѣтить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ попытку уложить обыкновенное повѣствованіе въ подобіе стиха, вставку рѣчей (монологовъ), писемъ, арій и пѣсенъ.

„Славныя“, „любезныя“ и „пріятныя“ гисторіи служили не разъ въ старину, какъ и нынѣ, источникомъ для драматурговъ; продолжалась и „старая“ традиція съ сюжетами, заимствованными изъ библіи, иногда съ чрезвычайно любопытнымъ приспособленіемъ къ духу времени, изъ классическихъ трагедій и комедій.

Театръ Кунста и Фирста насаждалъ у насъ репертуаръ нѣмецкой труппы Фельтена, пріобрѣтшей славу у себя на родинѣ, благодаря отступленію отъ обычныхъ придворныхъ аллегорическихъ „ученыхъ драмъ“, съ ихъ напыщенной рѣчью, отвлеченнымъ дѣйствіемъ и т. п. Репертуаръ Фельтена приближался къ народной драмѣ, народному фарсу, и предоставлялъ въ рамкахъ „общаго хода“ пьесы значительную свободу личному таланту и импровизаціи актера; стараясь угодить массѣ, актеры иногда впадали въ крайности площадного цинизма и грубыхъ продѣлокъ, напоминая старыхъ „англійскихъ комедіантовъ“. Какъ въ старыхъ „англійскихъ комедіяхъ“, и здѣсь добавочнымъ элементомъ служили танцы, аріи, фейерверки... Но у насъ этотъ репертуаръ не имѣлъ успѣха, какъ совершенно чуждый русской жизни и по содержанію и по языку, представлявшему изрядныя „дикія недѣльности“.

Ближе къ жизни былъ старый школьный театръ. Въ драматическихъ представлѣнїяхъ Московской Славяно-греко-латинской Академіи, Хирургической школы Московскаго госпиталя нельзя уже не замѣтить нѣкотораго приспособленія къ событіямъ времени: восхваляются „побѣды великаго государя“, триумфы, „апоеосисы“ Петра, торжество по случаю вѣзда Петра въ столицу, по случаю коронаціи Екатерины I. Какъ подъ старыми именами можно было чувствовать современныя явленія, показываетъ „Комедія о Есфири“. Извѣстная у насъ еще въ XVII вѣкѣ, она попадаетъ въ новый репертуаръ по сходству основы разсказа съ семейными дѣлами Петра Великаго и для оправданія его намѣреній и поступковъ. Это — „отверженіе законной супруги и царицы, избраніе иноплеменницы сначала въ наложницы, а потомъ въ жены и царицы, вѣнчаніе ея на царство и счастье царя и народа, которое принесла имъ новая царица“. Кромѣ того, любопытна вставка, которую сдѣлалъ неизвѣстный авторъ комедіи, въ видѣ сцены коронованія Есфири почти буквально изъ оффиціальнаго церемоніала коронованія Императрицы Екатерины I. Дѣлу Петра Великаго могла служить и пьеса „Дѣйствіе о князѣ Петрѣ Златыхъ Ключахъ“ не потому только, что Петръ открылъ ключами и себѣ и Россіи путь къ славѣ, побѣдѣ и благоденствію, но и потому, что здѣсь оправдываются заграничныя путешествія въ „чужія страны“.

Намѣренъ я, государь—говоритъ герой отцу своему—
о томъ васъ просити,

Чтобъ въ инныя царства отъ васъ мнѣ отбыти.

Гдѣ могу кавалерскихъ дѣлъ я обучатца

И народовъ чужихъ нравовъ насмотрятца...

Гдѣ поживши немного и къ вамъ возвращуся,—

И себѣ многу славу могу заслужити,

Такъ, что все царство будетъ меня чтити...

Подобнаго рода панегирическимъ дѣламъ служило и стихотворство Петровской эпохи, начало котораго тоже надо видѣть въ предшествующую эпоху.

И свѣтскія и духовныя лица писали разныя привѣтственныя стихотворенія по поводу Полтавской побѣды, встрѣчи не-

вѣсты царевича Алексѣя, возвращенія Петра изъ второго путешествія за границу, заключенія мира со шведами.

Были и стихотворенія съ духовными сюжетами, какъ гимны въ честь Бога и святыхъ, элегіи по поводу тѣхъ челоуѣческой жизни, переложеніе псалмовъ.

Обилень былъ отдѣлъ любовной лирики, главный предметъ которой—радости и особенно горести любви.

Не всѣ авторы стихотвореній подобнаго рода извѣстны; трудно даже точно опредѣлить эпоху, къ которой относятся многія стихотворенія. Но связь ихъ съ „новымъ“ временемъ несомнѣнна.

На первомъ мѣстѣ—женщина, уже не какъ „сосудъ дьявола“ или „гостинница бѣсовская“, а какъ украшеніе общества, предметъ галантнаго обхожденія. Она вызываетъ „страсть любовную“, „негасимый огонь, запалѣющій душу“. Идеаль любви „во вѣкъ въ ней жити: имѣть сердце едино и мысль неразлучну, союзомъ крѣпчайшимъ любовь непремѣнну“. Зарождается любовь внезапно: „въ сердце влетѣла до моего тела, все усмотрела, гнездо сотворила“. Она беретъ какъ бы въ плѣнъ влюбленнаго, заставляетъ его тосковать: „что въ свете не было, бесъ тебе уныло“, жаловаться на разлуку, на судьбу—фортуну.

Въ этой лирикѣ чувствуется и малорусско-польское вліяніе и сентиментально-нѣмецкая поэзія любовнаго характера. Со стороны языка—здѣсь и отзвуки школьнаго классицизма, и тяжелыя вычуры книжныхъ выраженій и словъ, и иностранныя слова, и силлабическій размѣръ, но уже тонизированный.

Всѣ характерныя черты переходной эпохи налицо.

Стефанъ Яворскій и Теофанъ Прокоповичъ.

Царь—воспитатель долженъ былъ, проводя реформы, объяснять ихъ смыслъ и значеніе—самъ и черезъ своихъ сотрудниковъ. И престолъ царскій, и церковная кафедра одинаково служили цѣлямъ идейной пропаганды. Главныя идеи Петра Великаго—необходимость западно-европейской „науки“ въ широкомъ смыслѣ и распространеніе „свѣтскаго“ міросозерцанія. Петръ

Великій былъ истиннымъ представителемъ просвѣщеннаго абсолютизма (хотя этотъ терминъ и вводится позже), считавшаго успѣхи въ области внѣшней политики и безусловную монархическую власть лишь орудіями для достиженія главной цѣли—развитія богатства и образованія народа. „Старина“, съ своимъ патріархальнымъ укладомъ, аскетическимъ идеаломъ, боязнью науки, не давала возможности развитія, живой личности было въ ней тѣсно, и Петръ Великій встряхнулъ застоявшуюся жизнь во всѣхъ углахъ, вывелъ новое поколѣніе на широкое поприще общечеловѣческаго просвѣщенія, на просторъ научнаго знанія. Въ этомъ—смыслъ его реформы. Абсолютистъ въ политикѣ, Петръ внесъ государственное начало и въ жизнь церкви учрежденіемъ „святѣйшаго синода“. Петръ не скрылъ своего побужденія „оградить отечество отъ мятежей и смущенія, каковыя происходятъ отъ единачнаго собственнаго правителя духовнаго. Ибо простой народъ не вѣдаетъ, како разнствуетъ власть духовная отъ самодержавной, но, удивляемый великой честію и славою высочайшаго пастыря, помышляетъ, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равносильный или и большій, и что духовный чинъ есть другое и лучшее государство... Когда же народъ увидитъ, что соборное правительство установлено монаршимъ указомъ и сенатскимъ приговоромъ, то пребудетъ въ кротости и потеряетъ надежду на помощь духовнаго чина въ бунтахъ“ (Духовный Регламентъ). Однако дальше этого не шли притязанія Петра Великаго въ церковно-религіозной области. Онъ и самъ былъ не очень строгъ въ исполненіи внѣшнихъ обрядовъ и религіозныхъ церемоній и другимъ предоставлялъ свободу „пещись о блаженствѣ души своей“. Терпимый къ иностраннымъ исповѣданіямъ, онъ и гражданамъ своимъ объявлялъ: „надъ совѣстью людей властенъ одинъ Христосъ“. Главное для Петра Великаго было въ томъ, чтобы церковь не мѣшала насажденію науки, которая составляла для него своего рода благоговѣйный культъ и отъ которой Петръ Великій ждалъ великихъ благъ. Петръ Великій самъ учился многому и другимъ внушалъ необходимость учиться: „Въ семъ единомъ умѣ его обращался, како бы кратчайшій и способнѣйшій путь изобрѣсти, чтобы завести науки и людей своихъ елико мощно скорѣе обучити“.

Чтобы расширить кругъ идей въ русскомъ обществѣ, Петръ Великій долженъ былъ воспользоваться печатью. Одинъ, несмотря даже на свою героическую энергію, онъ „облагодѣтельствовать“ Россію не могъ. Онъ нуждался въ сотрудникахъ для своего большого дѣла, все разраставшагося. Не всѣ наличные элементы, какіе могли бы служить его дѣлу, одинаково поддались его вліянію, но все даровитое и живое отозвалось на его призывъ. Прежде всего Петръ сталъ искать опоры въ представителяхъ тогдашняго духовенства, ученикахъ кіевской академіи, уже выславшей въ Москву не мало просвѣтителей. Петръ Великій хотѣлъ прежде всего воспользоваться церковной кафедрой для защиты и пропаганды своихъ стремленій и начинаній, для устнаго и публичнаго обсужденія общественныхъ и государственныхъ вопросовъ. Онъ хотѣлъ секуляризировать мысль и обратить проповѣдь въ публицистику. И онъ приглашаетъ въ Москву „къ проповѣданію способныхъ“ изъ кіевлянъ, прежде всего Стефана Яворскаго и затѣмъ Теофана Прокоповича.

Стефанъ Яворскій (1658—1722) былъ родомъ шляхтичъ, изъ польскаго мѣстечка Яворова, носилъ до принятія монашества имя Симеона. Еще въ малолѣтствѣ онъ переселился со своими родителями на Украину, близъ Нѣжина, воспитывался сперва въ Кіевской коллегіи (академіи), а потомъ въ польскихъ іезуитскихъ училищахъ за границей, гдѣ даже принялъ временно католичество. По возвращеніи въ Россію и принятіи монашества, онъ проповѣдывалъ при разныхъ церквахъ, сдѣлался учителемъ и даже префектомъ родной ему коллегіи, а затѣмъ былъ поставленъ въ игумены Пустынно-Никольскаго монастыря. Будучи въ началѣ 1700 года въ Москвѣ, Стефанъ былъ приглашенъ произнести проповѣдь на похоронахъ знатнаго боярина и сподвижника Петра фельдмаршала А. С. Шеина. Проповѣдь чрезвычайно понравилась царю своимъ содержаніемъ, живостью рѣчи и пріятнымъ голосомъ. И Стефану немедленно была предложена архіерейская кафедра въ Рязани, „не въ дальнемъ разстояніи отъ Москвы“. Несмотря на колебанія, Стефану пришлось принять предложеніе, а вскорѣ—подняться еще выше и занять мѣсто блюстителя патріаршаго престола и, наконецъ,—президента Святейшаго Синода.

Стефанъ Яворскій былъ человѣкъ ученый, начитанный, искусный проповѣдникъ—но въ схоластическомъ духѣ. Учебникъ риторики, написанный имъ по-латыни и переведенный на русскій языкъ подъ заглавіемъ „Рука риторическая, пятію частями или пятію персты укрѣпленная“—напоминаетъ латино-польскіе учебники. Построеніе проповѣдей Стефана—по всѣмъ правиламъ риторики, съ сравненіями, метафорами, символами, анекдотическими вставками, рассказами изъ зоологіи, міеологіи и т. п., но безъ органической связи, безъ живой убѣждающей мысли. Что касается содержанія, то чувствуется двойственность въ отношеніи къ Петру. Обязанный ему своей неожиданной и высокой карьерой и, можетъ быть, увлекаясь личностью Петра, Стефанъ Яворскій не жалѣетъ эпитетовъ, сравниваетъ Петра съ Христомъ, называетъ „нашимъ херувимомъ“, описываетъ полную трудовъ и опасностей жизнь царя, его неустойчивые подвиги на морѣ и на сушѣ, его любознательность, широкое образованіе и опытность, личную энергію, простоту въ обыденной жизни и т. д. Съ другой стороны, по своимъ клерикально-консервативнымъ взглядамъ, Стефанъ Яворскій не могъ быть другомъ реформъ Петра Великаго. Стефанъ былъ сторонникъ патріаршества, вообще высокой роли духовенства, врагъ протестантизма и легкаго отношенія къ обрядамъ и „старинѣ“. И вотъ, рядомъ съ панегириками, мы видимъ въ проповѣдяхъ Стефана Яворскаго довольно прозрачныя намеки и иносказанія противъ Петра и нѣкоторыхъ его дѣлъ. Такъ, въ проповѣди на день Іоанна Златоуста (13 ноября 1708) царь и вельможи изображены на пирѣ Вальтасаровомъ пьющими изъ церковныхъ сосудовъ (намекъ на отобраніе къ казнѣ церковныхъ имуществъ), въ проповѣди 17 марта 1712 года „О храненіи заповѣдей Господнихъ“ Стефанъ осуждаетъ новый законъ „о фискалахъ“ (свѣтскій контроль надъ церковными судами), въ концѣ обращается съ особой молитвой къ Св. Алексѣю „покрыть своего тезоименника (царевича Алексѣя), нашу единую надежду, въ кровѣ крыль своихъ“.

„Старое“ московское направленіе Яворскаго сильнѣе всего сказалось въ его обширномъ богословско-полемиическомъ трактатѣ „Камень вѣры“ (написанъ около 1713-14, напечатанъ въ 1728 году). Ближайшій поводъ къ написанію—дѣло лѣкаря Тверити-

нова, заразившагося кальвинской ересью отъ одного иностранца, у котораго онъ учился. Основа доказательствъ не вполне оригинальная, большею частью заимствованная у западныхъ католическихъ богослововъ. По духу своему, это сочиненіе—замаскированный протестъ противъ реформы Петра не только съ церковной, но и національной точки зрѣнія. Личное отношеніе Яворскаго къ „еретикамъ“ напоминаетъ даже не близкую старину, а начало XVI вѣка: „самимъ еретикомъ полезно есть умереть, и благодареніе имъ бываетъ, егда убиваются: елико бо множае живутъ, множае согрѣшаютъ, множайши прелести изобрѣтають, множайшихъ развращають,—тѣмъ и множайшее осужденіе и тягчайшую муку вѣчную на ся навлекають. Сія же вся смерть, праведно имъ наносимая, прекращаетъ“....

Новымъ человѣкомъ и вполне „въ духѣ петровомъ“ былъ **Ееофанъ Прокоповичъ** (1681—1736).

Любопытны уже самыя отзывы современниковъ, русскихъ и иностранцевъ, объ этомъ ближайшемъ сотрудникѣ Петра Великаго. Онъ былъ „образованнѣйшій“ (академикъ Байеръ), „въ наукѣ философіи новой и богословіи толико ученъ, что въ Руси прежде равнаго ему не было“ (Татищевъ, то же и фонъ-Гавенъ, Кингъ), „краснорѣчіемъ столь великій, что нѣкоторые ученѣйшіе люди почтили его именемъ Россійскаго Златоустаго“ (Н. И. Новиковъ). Самая біографія Ееофана Прокоповича показываетъ, какъ рано онъ почувствовалъ чисто петровскую жажду знанія, стремленіе расширить свой умственный кругозоръ. Кіевскій уроженецъ, купецъ по происхожденію, Ееофанъ (при крещеніи Елеазаръ) рано осиротѣлъ и остался на попеченіи своего дяди. Пройдя курсъ коллегіи, гдѣ дядя его былъ ректоромъ, Ееофанъ отправился для продолженія образованія въ польскія школы, временно принявъ униатство. Затѣмъ совершилъ далекое путешествіе въ Римъ для изученія богословія, поэзіи, философіи, краснорѣчія, исторіи. Возвратившись на родину и постригшись уже по православному обряду, онъ, въ скромной роли преподавателя, обнаруживаетъ свои свойства и симпатіи. Несмотря на схоластицизмъ католической науки, которую онъ изучалъ въ коллегіи св. Аѳанасія въ Римѣ, онъ вырабатываетъ въ себѣ сильный скептицизмъ, критическое отношеніе къ авторитетамъ и особенную вражду къ

схоластической рутинѣ. Если къ этому прибавить его способность къ злой и мѣткой насмѣлкѣ, то невольно вспомнятся люди эпохи реформациі. Теофанъ Прокоповичъ преподавалъ піитику, риторику, философію, богословіе—и во всѣхъ этихъ предметахъ старался стать на самостоятельный путь, внести начала естественности и здраваго смысла, очищая курсы отъ схоластическихъ измышленій и предразсудковъ, поддерживавшихся разными авторитетами, и вводя знакомство съ дѣйствительными источниками и критикой. Въ обязанности преподавателя названныхъ теоретическихъ курсовъ входило и практическое примѣненіе рекомендуемыхъ правилъ. Упражненія Теофана Прокоповича и въ этомъ родѣ весьма характерны. Въ 1705 году онъ написалъ „трагедокомедію“ подъ заглавіемъ: „Владиміръ, славянороссійскихъ странъ князь и повелитель, отъ невѣрія тьмы въ свѣтъ евангельскій приведенный Духомъ Святымъ“. Человѣкъ живой и чуткій къ современности, наблюдательный и острый, онъ не могъ идти слѣдомъ за драматургами-панегиристами, съ ихъ символическимъ и аллегорическимъ стилемъ. Въ его трагикомедіи интересны и выборъ сюжета—борьба между свѣтскою и духовною властью,—и сліяніе трагическаго и комическаго элементовъ драмы, и, наконецъ, что особенно важно, его взглядъ на духовенство, который потомъ такъ настойчиво будетъ проводить Теофанъ Прокоповичъ въ согласіи съ мыслью реформатора Петра. Духовная власть представлена жрецами (кое-гдѣ, впрочемъ, прямо называются попы и монахи). Въ именахъ этихъ жрецовъ уже обнаруживаются ихъ свойства: обжорство (Жериволь), пьянство (Піаръ), лакомство (Куроядь) и т. п. Теофанъ Прокоповичъ писалъ, по обязанности, и проповѣди, но не слѣдовалъ въ нихъ „фабрикѣ испорченнаго краснорѣчія“. „Въ развитіи основной мысли—по справедливому замѣчанію Самарина—нѣтъ натяжки; нѣтъ усилія отыскать чего-нибудь неожиданнаго, новаго и труднаго; рѣже попадаются неумѣстныя повѣствованія и цитаты; описаній, аллегорій, символическихъ образовъ и риторическихъ фигуръ гораздо менѣе; драматизма и элемента комическаго почти вовсе не встрѣчается. Наконецъ, изложеніе очищено отъ всего грубаго, рѣзкаго, оскорбительнаго“. Чувствуется правдивость тона и искренность. Изъ проповѣдей, которыя Теофанъ говорилъ еще въ Кіевѣ, болѣе

интересны двѣ, сказанныя въ присутствіи Петра Великаго: 5 Іюля 1706 г. „привѣтствительное слово“ Петру Великому, посѣтившему Кіевъ—краткое и простое, напоминавшее заслуги предковъ Петра на пользу православія и его собственные труды въ дѣлѣ правосудія и военныхъ реформъ—и 10 Іюля 1709 г. сравнительно длинное „похвальное слово“ по случаю Полтавской битвы. Теофанъ Прокоповичъ сочинялъ и стихи, смыслъ которыхъ ясенъ изъ самыхъ темъ: „По поводу суда надъ Галилеемъ“ и др., въ которыхъ онъ является поклонникомъ новой европейской науки. Въ духовенствѣ такъ могъ говорить только тотъ, кто, по представленію людей того времени, былъ зараженъ „лютерской и кальвинской“ ересью; нашлись и обвинители Теофана Прокоповича, тѣмъ болѣе, что стремленія и мудрствованія протестантскаго оттѣнка были уже не новостью въ Москвѣ XVIII в. Но они не поняли, что Теофанъ Прокоповичъ, напоминая своимъ раціонализмомъ, проповѣдью свободнаго критическаго отношенія къ наукѣ и жизни германскихъ реформаторовъ, стоялъ не на религіозной почвѣ, а на политико-общественной, борясь съ предрасудками и мракобѣсіемъ, отрицая не православіе, а старую теорію о первенствѣ духовенства въ обществѣ. Теофанъ Прокоповичъ совершалъ до нѣкоторой степени, какъ представитель духовенства, актъ самоотреченія, но тѣмъ больше онъ служилъ дѣлу Петра Великаго. Петра Великаго и Теофана Прокоповича сближала одинаковая вражда къ „папешскому духу“ въ духовенствѣ, стремленіе послѣдняго къ преобладанію. Церковь не была только чисто духовнымъ учрежденіемъ, только лишь собраніемъ вѣрующихъ; она всегда была въ то же время и гражданскимъ учрежденіемъ, съ обширной сферой юридическихъ правъ и обязанностей, обширнымъ вліяніемъ почти во всѣхъ общественныхъ и частныхъ отношеніяхъ того времени, съ богатымъ землевладѣніемъ. Наша церковь опиралась на старину и народныя массы, не только не устраниая темныхъ сторонъ народной вѣры, но какъ бы поддерживая „чудеса“ и всякія суевѣрія. Все это было не по нутру Петру Великому, который, поэтому предпочелъ „лютерскую“ тенденцію „папешской“. Теофанъ Прокоповичъ былъ съ нимъ въ согласіи и, будучи вызванъ въ Петербургъ (съ 1716 г.), на церковной кафедрѣ явился публицистомъ, горячимъ защитникомъ и истолкователемъ реформы въ западно-

европейскомъ духѣ и обличителемъ и врагомъ приверженцевъ „старинны“, особенно „богослововъ“. Изъ проповѣдей въ этомъ духѣ отмѣтимъ „на день рожденія Петра Петровича“ (28 Октября 1716 г.), къ „пріѣзду Петра Великаго изъ за-границы“ (1717 г.), „о власти и чести царской“ (6 Апрѣля 1718 г.). Въ этой послѣдней, въ противоположность Стефану Яворскому, особенно настойчиво защищается „мірская власть“. Не обходилось безъ крайностей: его отзывы о Германіи иногда страдаютъ чрезмѣрной восторженностью („Германія, яко же глаголють, первая царица есть Европы, въ ней же толь преславныя и пребогатыя суть провинціи, толь прекрѣпкіи и прекрасныи градове, толь веселыя поля и поселенія ихъ, толь частыя премудрыхъ ученій академіи, толь преизрядныя художества и остроумніи художники. Сю аще кто видить, царствъ всѣхъ знамя, странъ всѣхъ матеръ видить. Въ Германіи аще кто приходитъ, познаваетъ чинное общенароднаго правительства устроение, обычаевъ доброту, разума и бесѣды сладость, познаваетъ храбрость, науку и остроуміе“); съ другой стороны, ставъ на сторону своего правительства, онъ долженъ былъ оправдывать гоненіе и „розыскъ“ по отношенію къ царевичу Алексѣю, вступать въ компромиссы съ Бироновщиной и т. п. Положеніе Теофана Прокоповича между двухъ „становъ“ въ то время нельзя не назвать трагическимъ, и намъ понятно его горестное восклицаніе: „О главо! главо! разума упившись, куда ся преклонишь“. Но пока жилъ, онъ боролся. Лучшимъ истолкователемъ Петра Великаго относительно положенія церкви въ государствѣ явился Теофанъ Прокоповичъ въ своемъ произведеніи „Духовный Регламентъ“, написанномъ по порученію царя, для духовной коллегіи (синода).

Являясь плодомъ борьбы, этотъ памятникъ носитъ скорѣе литературный, чѣмъ законодательный характеръ: многіе его параграфы представляютъ живую и талантлиую сатиру на современное автору духовенство, предвосхитившую типы сатиръ Кантемира. „Пастыри и учителя, еще такъ недавно имѣвшіе рѣшительное вліяніе на ходъ русской жизни, представлялись теперь грубыми, безнравственными невѣждами и ханжами, проповѣдниками лжи и нелѣпости, обирающими народъ и препятствующими его просвѣщенію изъ-за удовлетворенія своихъ корыстныхъ

стремленій, по привычкѣ къ тунеядству; мало того, они представлялись главными возмутителями общественнаго и государственнаго спокойствія, мятежниками, которые ради страсти къ „скверноприбытству“ не останутся передъ бунтомъ, убійствомъ и прочими злодѣйствами“ (Морозовъ). Положительная часть заключала рядъ правоученій. Цѣль учрежденія коллегіи—лучшее достиженіе истины и справедливости; общая задача—искорененіе суевѣрій, учительство, особенно проповѣдь, надзоръ за низшимъ духовенствомъ. Въ особомъ „Прибавленіи къ регламенту“ Петръ, устами Теофана Прокоповича, далъ выходъ своему нерасположенію, недовѣрію, даже ненависти къ монахамъ, какъ тунеядцамъ, которымъ при случаѣ ничего не стоитъ сдѣлаться бунтовщиками „подъ предлогомъ блага церкви“. Распоряженія относительно монастырей и монаховъ достаточно строги. Умъ Теофана Прокоповича былъ, собственно говоря, свѣтскій, и положительныя мѣры, имъ предлагавшіяся противъ всякихъ золъ, заключались преимущественно въ распространеніи знаній—будетъ ли итти рѣчь о почитаніи иконъ, мощей, св. мѣстъ, аскетическихъ подвиговъ и добровольнаго мученичества или о болѣе сложныхъ явленіяхъ, какъ расколъ. „Дурно многіе говорятъ, что ученіе виновно есть ересей... Ученіе доброе и основательное есть всякой пользы какъ отечества, такъ и церкви, аки корень и сѣмя и основаніе“. Теофану Прокоповичу, какъ и Петру Великому, былъ свойственъ духъ вѣротерпимости—это видно и изъ указовъ Петра Великаго, подготовлявшихся Теофаномъ, и изъ проповѣдей послѣдняго объ отношеніяхъ къ иноземцамъ, о бракахъ съ иновѣрцами, о власти церкви и пр. Обсуждая реформы Петра Великаго не только церковныя, но и общегосударственныя, Теофанъ Прокоповичъ являлся истиннымъ ходатаемъ о всенародной пользѣ—объ „умаленіи народныхъ тяжестей“, „обезпеченіи своей всякому чести и имѣнія цѣлости“, о правдѣ въ судахъ („если не будетъ въ судѣхъ тлетворныя страсти и злодѣйственныхъ взятокъ“). Стоитъ прочесть надгробное слово Теофана Прокоповича Петру Великому,—этотъ общій выводъ изъ всѣхъ прежнихъ похвальныхъ словъ и проповѣдей Теофана,—чтобы почувствовать, что не одни личныя соображенія создали эту вдохновенную рѣчь, а искреннее глубокое уваженіе

къ создателю новой Россіи. „Что се есть,—восклицалъ Теофанъ—до чего мы дожили, о россияне? Что видимъ? Что дѣлаемъ? Петра Великаго погребаемъ. Виновникъ безчисленныхъ благополучій нашихъ и радостей, воскресившій аки отъ мертвыхъ Россію и воздвигшій въ толикую силу и славу, или паче рождшій и воспитавшій, прямой сый отечества отецъ... скончалъ жизнь“.

Главный результатъ дѣятельности Петра Великаго и его ближайшаго сотрудника—и по времени, и по таланту, и по энергіи—Теофана Прокоповича въ области духовной культуры—во-первыхъ, крутой переворотъ въ области церковно-религіозной и, во-вторыхъ, защита разума, и насажденіе реальныхъ знаній. Правда, въ томъ и другомъ отношеніи на первомъ планѣ были интересы государства и самого правительства, преобладали технически-утилитарный взглядъ на вещи, не было широкой идейной подкладки въ мѣропріятіяхъ, но важень былъ первый рѣшительный шагъ, который бы разбудилъ мысль. А она была разбужена въ довольно широкихъ массахъ: стоитъ лишь пересмотрѣть довольно обширную литературу проектовъ, возникшихъ въ періодъ преобразованій.

И. Т. Посошковъ. В. Н. Татищевъ.

Типичнымъ представителемъ особой „средней“ партіи сторонниковъ Петра Великаго является крестьянинъ **Посошковъ**, „простецъ и мизирный рабичищъ“, какъ онъ себя называетъ. Онъ родился ок. 1652 года въ бойкомъ селѣ Покровскомъ, недалеко отъ Москвы. Въ благочестивой оброчной крестьянской семьѣ онъ могъ познакомиться съ церковными книгами, съ грамматикой Мелетія Смотрицкаго; позже, уже вышедши въ жизнь, онъ пріобрѣлъ „самоучкой“ не мало разнообразныхъ свѣдѣній по исторіи, географіи, математикѣ; природныя склонности сказались въ занятіяхъ механикой и разными производствами. Практикъ, „купецъ“, человекъ поразительнаго трудолюбія и выносливости, Посошковъ близко узналъ и использовалъ житейскую школу; служилъ на казенной службѣ: то на монетномъ дворѣ, то на

аптекарскомъ, то на винокуренномъ заводѣ „водочнымъ мастеромъ“; имѣлъ свою торговлю и частные заказы; хлопоталъ о полотняной фабрикѣ въ Новгородѣ. По этимъ дѣламъ онъ исколесилъ Россію, приглядѣлся къ ея нуждамъ и написалъ цѣлый рядъ сочиненій и проектовъ. Въ главномъ изъ нихъ: „О скудости и богатствѣ“ была усмотрѣна „криминальная вина“. Онъ былъ взятъ подъ караулъ въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ дѣлъ и черезъ пять мѣсяцевъ тамъ же умеръ, не дождавшись суда (1 февраля 1725 года). Сочиненія Посошкова, любопытныя во многихъ отношеніяхъ, для историка литературы интересны по той критикѣ русской жизни—главнымъ образомъ невѣжества и неправосудія—которая явится темой большинства русскихъ писателей XVIII и отчасти XIX вѣка. Еще въ 1704 году онъ подводитъ итогъ старому порядку на Руси въ „Доношеніи о исправленіи всѣхъ неисправъ“: „Аще кто восхощетъ умными очима возврати на житіе наше православно-россійское и на вся поведенія и дѣла наша, то не узритъ ни во единой какой либо вещи здраваго дѣла. Въ началѣ вѣра наша благочестивая аще и правая, и яко солнце во вселенней сіяющая, паче всѣхъ развратившихся вѣрь, обаче забрала около ея нѣтъ, ниже пастырей бодрыхъ, и того ради мнози волцы, отъ пустыни приходяща, стаду Христову касаются и терзають. И аще бъ и забрала твердаго не было, а пастыри бъ были бодры и крѣпки, то бы узрѣвъ волка, грядуща до стада Христова, не допустили, и либо его поразили, или въ спясть возвратили. Днесъ же мы вси не токмо отъ самыхъ волковъ, но и отъ малейшихъ волченятъ оборонитесь не можемъ. Во всемъ духовенствѣ и иночествѣ прямого, здраваго дѣла нѣтъ. Ни во церквахъ прямого порядка не обрящещи, ниже во чтеніи и пѣніи, ниже во гражданскомъ, ниже въ посѣлянскомъ, ни въ воинскомъ, ни въ судейскомъ, ни въ купецкомъ, ни въ художномъ (ниже въ самыхъ скитающихся по улицамъ нищихъ), и не вѣмъ такового дѣла или вещи какой, еже бъ пороку въ ней не было. Нѣсть въ насъ цѣлости отъ главы и даже и до ногу, и живемъ мы всѣмъ окрестнымъ государствамъ въ смѣхъ и въ поношеніе. Вѣмѣняютъ они насъ вмѣсто мордвы, а и чють что и не правда ихъ, понеже везде у насъ худо и непорядочно“. Исходя изъ сознанія (единственно на основаніи

здравого ума) такой печальной дѣйствительности и побуждаемый как своей „презѣльной горячностью“ къ общему благу, такъ и все развивающейся дѣятельностью Петра Великаго, онъ, несмотря на преклонный возрастъ (ему уже было около 70 лѣтъ), къ тому же занятый „многосуетными“ промышленными дѣлами, работаетъ надъ „Книгой о скудости и богатствѣ“, предназначенной лично для самого государя. Здѣсь Посошковъ является первымъ смѣлымъ и самоотверженнымъ, по тогдашнимъ условіямъ жизни, общественнымъ дѣтелемъ и мыслителемъ. Самый стимулъ къ сочиненію—„общее благо“, способность, несмотря на „неученость“, подняться до высшихъ общественныхъ интересовъ—дѣлаютъ Посошкова новымъ человѣкомъ въ противоположность, на примѣръ, такимъ борцамъ XVI—XVII в.в., какъ кн. Курбскій или протопопъ Аввакумъ, защищавшимъ прежде всего классовые или религіозные интересы. Въ своей книгѣ Посошковъ говоритъ, главнымъ образомъ, о „всенародномъ обогащеніи“ и „истребленіи всякой неправды и неисправностей“. Посошковъ хорошо знаетъ русскую дѣйствительность, и его примѣры всякаго рода недостатковъ и злоупотребленій взяты непосредственно изъ жизни. Въ первой главѣ дается печальная характеристика быта нашего духовенства: невѣжество, пьянство, полная матеріальная необеспеченность; во второй—недостатки воинства: тоже необученность, распущенность, матеріальная скудость; третья глава цѣликомъ посвящена суду. Особенно велико зло правосудія: „а наши судьи нимаго людей не берегутъ, и тѣмъ небреженіемъ все царство въ скудость приводятъ“: волокита, произволъ, пристрастіе, подкупъ, и всѣ подобнаго рода „пакости“ неправого суда чинятся у насъ и давятъ людей. А людей надо беречь, особенно крестьянъ: „понеже крестьянское богатство—богатство царственное“. Не дойдя еще до мысли объ освобожденіи крестьянъ, Посошковъ однако даетъ въ седьмой и восьмой главахъ трактата яркую картину скуднаго крестьянскаго житья: „помѣщики на крестьянъ своихъ налагаютъ бремена неудобноносимыя: есть такіе безчеловѣчные дворяне, что въ работную пору не даютъ крестьянамъ единого дня, еже бы что на себя сработать, и тѣмъ крестьянство въ нищету пригоняютъ. Который крестьянинъ станетъ посытитѣ, на него и подати прибавятъ. Многіе говорятъ:

крестьянину не давай обрости, но стриги, яко овцу, до гола. И тако творя, царство пустошатъ, понеже такъ ихъ обирають, что у иного и козы не оставлятъ“. Въ четвертой главѣ Посошковъ трактуеть о кучечествѣ и торговлѣ и требуетъ „неоскуднаго“ о томъ попеченія. Въ пятой—о „художествѣ“, т. е. ремеслахъ. Въ этихъ главахъ ему приходится касаться и иностранцевъ, игравшихъ видную роль въ тогдашней торговлѣ и промышленности. Отдавъ должное ихъ предпріимчивости и умѣнью, авторъ однако остается націоналистомъ: „на ихъ мягкія лестныя басни и на всякія ихъ хвасти намъ смотрѣть не для чего; намъ надлежитъ свой умъ держать“. Примѣшивается тутъ, вѣроятно, и „вѣра“ иностранцевъ, „не добрая“ для воспитавшагося на „старинѣ“. Въ шестой главѣ Посошковъ рисуетъ обычное, но тяжелое явленіе тогдашней жизни—разбой и грабежи. Мѣры для исправленія недостатковъ, указанныхъ въ книгѣ, различны. Но главная—„истинная правда“, „невещественное богатство“. Посошковъ сознаетъ великую силу образованія, знаній, иностранныхъ языковъ, путешествія „за море“; онъ требуетъ школъ для духовенства, для военныхъ, для крестьянъ, которые, какъ „слѣпыя“, „ничего не видятъ и не разумѣютъ“. Но для него все же, какъ для „моралиста“ (въ этомъ отношеніи очень характерно для Посошкова его сочиненіе „Завѣщаніе отеческое“), главная наука „какъ жить душеполезно“. А какъ тутъ жить православному человѣку—среди почти язычества массы, расколовъ, ересей, расплотившихся приказныхъ и горожанъ, „свѣтскаго житія“ дворянства, въ которомъ нѣтъ уже ничего „евангельскаго“. Какъ человѣкъ разсуждающій, онъ врагъ фетишизма, требуетъ осмысленія обрядовъ „вѣрою и разумѣніемъ“, отъ евангельскаго чтенія—„вниманія и богомыслія“, высказывается противъ особаго поклоненія чудотворнымъ иконамъ („Богъ ни краски, ни древо, ниже художество прославляетъ“), жалуется на отсутствіе добрыхъ пастырей.. Но все это хоть и напоминаетъ отдаленно требованія европейскаго XVIII в.—„чувства“, „гуманности“, „нравственности“—все же прогрессивно въ старомъ московскомъ духѣ. Мысль тутъ еще не секуляризовалась. Менѣе убѣдительны, чѣмъ критика жизни, совѣты, Посошкова по вопросамъ общественнымъ. Въ цитированномъ выше „Доношеніи“ Посошковъ какъ будто предлагаетъ Петру Вели-

кому избрать „для исправленія Руси“ такъ сказать диктатора: „избрать на такое дѣло разумнаго и желательнаго человѣка и власть имѣющаго такую, чтобъ ему никто изъ великихъ людей противень не былъ, но и духовнаго чина на его бѣ волю слагалися“. Въ лучшемъ случаѣ, это та же „казенная дума“. Да и совѣтъ этотъ лишній для Петра Великаго. Позже, узнавъ дѣятельность Петра Великаго, Посошковъ уже не говоритъ о диктаторѣ. Нужна радикальная реформа, какой-то „новый регулъ“ взамѣнь „древнихъ уставовъ“, но какой, „какое бы прямое правосудіе устроить“—Посошковъ не знаетъ: „мой умъ не постигаетъ сего“. Чувствуя безсиліе диктатора и страха наказанія, равно какъ и безплодность нравственныхъ совѣтовъ, онъ приходитъ, можетъ быть по наитію земской старины, къ выводу: необходимо „народо-совѣтіе“, „многонародный совѣтъ“, „самый вольный голосъ народа“

Въ иной сферѣ мыслилъ, чѣмъ Посошковъ, хотя тоже возбужденный реформою Петра Великаго, В. Н. Татищевъ.

Василій Никитичъ Татищевъ, изъ стариннаго боярскаго рода, родился 19 апрѣля 1686 года, первое специальное образованіе получилъ въ московской артиллерійской и инженерной школѣ, затѣмъ нѣсколько разъ бывалъ, для научныхъ занятій и по служебнымъ дѣламъ, за границей, преимущественно въ Германіи и Швеціи. Въ молодости онъ участвовалъ въ Сѣверной войнѣ, долгое время служилъ на горныхъ заводахъ, былъ астраханскимъ губернаторомъ, конецъ жизни провелъ въ подмосковномъ имѣніи Болдинѣ. Умеръ 15 іюля 1750 года. Главнѣйшія сочиненія Татищева: „Исторія Россійская“ (5 томовъ, до начала XVIII в., съ богатыми примѣчаніями), „Разговоръ двухъ пріятелей о пользѣ наукъ и училищъ“ (въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ), „Духовная“ (наставленія сыну, тѣсно связанныя съ „Разговоромъ“).

По словамъ его біографа, К. Бестужева-Рюмина, онъ является однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ людей XVIII в., и, „уступая Ломоносову силою творческаго генія, тѣмъ не менѣе долженъ занять равное съ нимъ мѣсто въ исторіи русскаго развитія. Естествоиспытатель Ломоносовъ стремился возвести къ общему философскому единству ученіе о природѣ; историкъ и публицистъ Татищевъ стремился съ своей стороны найти общее

начало человѣческаго общежитія и человѣческой нравственности. Менѣе самостоятельный въ этомъ отношеніи (многое имъ усвоено отъ его европейскихъ учителей), онъ, однако, не теряетъ своего значенія относительно общества, среди котораго жилъ и на которое могъ и долженъ былъ имѣть дѣйствіе“. Вся ученая и литературная дѣятельность Татищева могла бы быть сгруппирована около „Разговора двухъ пріятелей о пользѣ наукъ и училищъ“, несомнѣнно, одного изъ важнѣйшихъ произведеній русской литературы XVIII в., въ которомъ, помимо ума, дарованій, многостороннихъ знаній автора, особенно цѣнно стремленіе „обнять однимъ взглядомъ всю многообразную область европейской науки, передъ которою онъ поставленъ впервые лицомъ къ лицу, уяснить себѣ ея общность и взаимную связь ея частей, и вмѣстѣ съ тѣмъ указать возможность ея перенесенія къ намъ въ Россію“. Какъ по складу своего ума и характера, такъ и по многимъ стремленіямъ, Татищевъ напоминаетъ Петра Великаго и „птенцовъ его гнѣзда“. Прежде всего, онъ тоже скептикъ и рационалистъ, въ родѣ Теофана Прокоповича, близокъ къ „вольнодумцамъ“, завзятый врагъ папистовъ и властолюбія церковнослужителей. Все, противъ чего боролся Теофанъ Прокоповичъ, какъ то: внѣшнее пониманіе религіи, приверженность къ обряду, колдовство, суевѣріе, ложныя чудеса и т. п., а также предосудительное поведеніе духовенства (корысть, любоначальіе, гордость и т. п.)—было предметомъ вражды и Татищева. Въ признаніи многихъ недостатковъ, какъ русской жизни вообще, такъ и русской церкви въ частности, Татищевъ сходилъ и съ Посошковымъ. Но была и существенная разница, объясняемая тѣмъ, что Теофанъ Прокоповичъ былъ все-таки духовное лицо, Посошковъ—крестьянинъ, а Татищевъ — дворянинъ. Менѣе зависимый по своему положенію, воспитанный на началахъ европейской науки, Татищевъ могъ быть болѣе послѣдовательнымъ въ своей враждѣ къ теократическому обскурантизму, въ отрицаніи „старины“, въ защитѣ „свѣтскаго житія“. Татищевъ старается внушить своему фиктивному собесѣднику въ „Разговорѣ“, что „естественный законъ“ человѣческой природы есть такой же „божественный законъ“, какъ и тотъ, который записанъ въ священномъ писаніи, и между ними нѣтъ и не можетъ быть противорѣчій, какія мо-

гутъ быть только между „естественнымъ“ (или тоже „божественнымъ“) и церковнымъ закономъ, — потому что этотъ есть „не божескій, а самовольный человѣческій“ наравнѣ съ „закономъ гражданскимъ“. Отсюда логически вытекаетъ, во-первыхъ, требованіе полной вѣротерпимости, и, во-вторыхъ, право свободного изслѣдованія и необходимость свѣтской науки для „знанія правилъ естественнаго закона“, т. е. того, „что человѣку полезно и нужно, и что вредно и не нужно“. Авторъ „Разговора“ предполагаетъ возраженія противъ науки, главнымъ образомъ, съ двухъ сторонъ, — религіозной и политической, — и отвѣчаетъ на нихъ рѣшительнымъ опроверженіемъ. На древнерусскія „сумнѣнія“ можно сказать, что и изъ священнаго писанія иногда измышляютъ ересь, а затѣмъ, сами святые отцы „другихъ языковъ и многіе — философіи научены были“. „И къ познанію Бога и къ пользѣ человѣка нужная философія не грѣшна; только отвращающая отъ Бога вредительна и губительна... Запрещающіе оную учить суть или самыя невѣжды, не вѣдущіе, въ чемъ истинная философія состоитъ, или злоковарные нѣкоторые церковно-служители и для утвержденія ихъ богопротивной власти и пріобрѣтенія богатствъ вымыслами, чтобы народъ былъ неученный и ни о коей истинѣ разсуждать имущій, но слѣпо бы и раболѣпно ихъ разсказамъ и повелѣніямъ вѣрили, наиболѣе же всѣхъ архіепископы римскіе въ томъ себя показали и большой трудъ къ приведенію и содержанію народовъ въ темнотѣ и суевѣріи прилагали... да и у насъ патріархи власть надъ государи искать не оставили“. На возраженіе „политическое“, якобы „въ государствѣ чѣмъ народъ простѣе, тѣмъ покорнѣе и къ правленію способнѣе, а отъ бунтовъ и смятеній безопаснѣе; и для того науки распространять за полезное не почитаютъ“, Татищевъ отвѣчаетъ, что въ Россіи, какъ и въ Турціи, бунтовала именно безграмотная „подлость“, а не цивилизуемое теперь дворянство и что для „государства“ полезнѣе умные и ученые люди. „Несмысленный и неискусный самъ себѣ вредъ и бѣды неразумнѣемъ начинаетъ и производитъ; совѣтамъ разумныхъ вѣрить неспособенъ, а глупымъ вредительнымъ совѣтамъ послѣдуетъ, да и обрѣсти умнаго друга не въ состояніи, онъ умному служителю полезное повелѣвать и опредѣлить не знаетъ.

Коль же паче трудность и вредъ происходитъ, когда глупыхъ служителей имѣть“. Наука же усиливаетъ и умъ разумаго: „разумный человѣкъ черезъ науки и искусства отъ вкоренившихся въ его умъ примѣровъ удобнѣйшую понятность, твердѣйшую память, острѣйшій смыслъ и безпогрѣшное сужденіе пріобрѣтаетъ, а черезъ то всякое благополучіе пріобрѣсти, а вредительное отвратить способенъ есть“. Отстранивъ возраженія противъ пользы науки, Татищевъ указываетъ, какія науки нужно изучать, приче́мъ дѣлитъ ихъ на пять отдѣловъ: нужныя („реченіе“, т. е. рѣчь, экономія, гигиена, нравоученіе, логика, богословіе), полезныя (грамматика, реторика, иностранныя языки, математика, исторія, географія, медицина, естественныя науки), щегольскія или увеселяющія (поэзія, музыка, танцованіе, „волтежированіе или на лошадь садиться“, знаменованіе и живопись), любопытныя или тщетныя (астроллія, фізіогномія, хиромантія алхимія) и вредительныя (всякаго рода „провѣщанія“). Но гдѣ же учиться? Дома очень трудно. Татищевъ даетъ такую картину домашняго воспитанія въ Россіи, которая потомъ не разъ вспомнится при знакомствѣ съ русской сатирой и публицистикой XVIII—XIX в. „Учителей не мало—говоритъ онъ—но многіе, за недостаткомъ искусства (по своему необразованію), принимаютъ учителей къ наученію весьма неспособныхъ,—случается, что поваровъ, лакеевъ или весьма мало умѣющихъ грамотѣ за учителей языка французскаго или нѣмецкаго, или какихъ либо неоптребныхъ волочатъ для наученія благонравію и политики принимаютъ“. Общественная школа тогдашняго времени тоже мало удовлетворяетъ Татищева: Академія Наукъ „учить мдадость“ не можетъ, за незнаніемъ академиками-иноземцами нашего языка; въ кадетскомъ корпусѣ, въ спеціальныхъ академіяхъ „не учать какъ слѣдуетъ ни божьему, ни гражданскому законамъ, ни языкамъ“; плохо преподаваніе и въ духовныхъ училищахъ. Отсюда авторомъ дѣлается выводъ о необходимости посылать за границу „къ наученію способныхъ и надежныхъ людей“ и преобразовать и увеличить существующія въ Россіи училища. Въ томъ же „Разговорѣ“ и въ особомъ сочиненіи „Экономическія записки“ характерно отношеніе Татищева къ крѣпостнымъ. „Дворянинъ“, хотя и просвѣщенный, не можетъ смотрѣть на крестьянъ иначе какъ „по-отечески“. Онъ

стоитъ за школы, больницы для крестьянъ, онъ противъ „ненасытныхъ желаній“ обогащенія помѣщиковъ, но—„шляхтичь всякій по природѣ судья надъ своими холопи и рабами и крестьяны“. Освобожденіе крестьянъ, видно, слишкомъ расходилось съ словными традиціями. Въ политическомъ отношеніи онъ былъ монархистъ. Въ сочиненіи: „Исторія російская съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, неусыпнымъ трудомъ черезъ тридцать лѣтъ собранная и описанная“, тамъ, гдѣ говорится о древнемъ правительствѣ русскомъ, Татищевъ исчисляетъ разные способы правленій (по Монтескье) и приходитъ къ признанію необходимости монархіи для Россіи, „гдѣ великія области, открытыя границы, а наипаче гдѣ народъ ученіемъ и разумомъ не просвѣщенъ, и болѣе за страхъ, нежели отъ собственнаго благонравія, въ должности содержится“. Тамъ же „наслѣдственный государь имѣетъ власть престолъ поручить, кому за благо разсудить“. Впрочемъ, полной искренности въ сужденіяхъ Татищева не могло быть: „Духовная“ Татищева показываетъ, что онъ зналъ, не мало претерпѣвъ „невинныхъ поношеній и бѣдъ“, какъ осторожно надо говорить объ „общей пользѣ“.

А. Д. Кантемиръ (1709—1744).

Біографія. Сатиры.

При Петрѣ Великомъ родился и духовно сложился, но послѣ него выступилъ на литературное поприще А. Д. Кантемиръ.

А нтіохъ Кантемиръ, младшій сынъ молдавскаго господаря кн. Дмитрія Константиновича и Кассандры Кантакузенъ, происходившей изъ рода Византійскихъ императоровъ, родился въ Константинополѣ 10 сентября 1709 года, но уже на третьемъ году, послѣ неудачнаго Прутскаго похода Петра Великаго, былъ перевезенъ своимъ отцомъ въ Россію. Отецъ Кантемира былъ недюжинный чело-вѣкъ, отлично образованный, оставившій послѣ себя рядъ трудовъ историческаго и философскаго содержанія, и притомъ чрезвычайно дѣятельный, сумѣвшій быть во многомъ полезнымъ Петру Великому. Въ духѣ своего державнаго покровителя, онъ завѣ-

щаль наслѣдство тому изъ сыновей, кто окажетъ болѣе успѣховъ въ наукахъ. Къ сожалѣнію, это завѣщаніе сдѣлалось яблокомъ раздора между братьями и, по проискамъ одного изъ нихъ, Антіохъ, наиболѣе достойный, „въ умѣ и наукахъ отъ всѣхъ лучшій“, ничего не получилъ. Первымъ учителемъ Кантемира былъ греческій священникъ, обучившій его языкамъ греческому, латинскому, итальянскому; съ семи лѣтъ онъ уже перешелъ подъ руководство окончившаго курсъ Московской Духовной Академіи Ивана Ильинскаго, не чуждаго и литературной дѣятельности. Можно думать, что, подъ его вліяніемъ по преимуществу, у Кантемира сложился старый книжный колоритъ рѣчи и явилось пристрастіе къ силлабическому стиху. Продолжать свое образованіе Кантемиръ думалъ за границей, но въ Петербургѣ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти Петра Великаго, открыла свои дѣйствія Академія Наукъ, и онъ могъ дома пользоваться руководствомъ ученыхъ нѣмцевъ. Онъ слушалъ не безъ пользы, по собственному его сознанию, Бернулли—по математикѣ, Бильфингера—физикѣ, Байера—исторіи и Гросса—философіи. Отличаясь чертою характера „всегда собою недовольнымъ быть“, Кантемиръ продолжалъ занятія и по завершеніи школьныхъ лѣтъ. Своему знатному происхожденію и образованію, а также открытой борьбѣ противъ замысловъ Верховнаго Совѣта ограничить самодержавіе—онъ обязанъ назначеніемъ въ концѣ 1731 года на постъ резидента въ Лондонъ, а въ 1738 году—въ Парижъ, гдѣ и умеръ, на тридцать пятомъ году жизни, въ 1744 году. Пребываніе за границей дало возможность Кантемиру, вдали отъ политическихъ козней и интригъ, характеризующихъ тогдашній политическій строй Россіи, отдаться своимъ любимымъ кабинетнымъ занятіямъ. Въ краткій срокъ своей жизни онъ однако развилъ въ довольно широкихъ размѣрахъ свою литературную дѣятельность. Какъ дипломатъ онъ, несмотря на многія неблагоприятныя условія, сумѣлъ выполнить съ достоинствомъ данныя ему порученія, проявилъ не мало инициативы и въ своихъ „реляціяхъ“ обнаружилъ отличное знаніе страны, проникательность въ оцѣнкѣ политическихъ условій и широкій взглядъ.

По своей натурѣ, Кантемиръ не былъ ни политическимъ борцомъ, ни поэтомъ: мало было темперамента, преобладалъ раз-

судокъ, склонность къ отвлеченности. Да и время для настоящей поэзіи еще не наступило. Надо было пока защищать просвѣщеніе, укрѣплять дѣло Петра Великаго. И Кантемиръ проявилъ мужественную настойчивость въ защитѣ европейской науки на русской почвѣ, сходясь вполнѣ въ этомъ отношеніи съ своимъ старшимъ современникомъ Теофаномъ Прокоповичемъ: у нихъ одинъ духъ, однѣ темы, иногда даже одинаковыя выраженія.

Литературная заслуга Кантемира основана преимущественно на его девяти сатирахъ, хотя онъ прибѣгалъ и къ другимъ литературнымъ формамъ (переложенія псалмовъ, оды, басни, посланія, эпиграммы, даже опыты поэмы), оставилъ рядъ переводовъ (изъ Анакреона, Горация, „таблица Кевика философа“, Фонтенеля „Разговоры о множествѣ міровъ“—книга признавая, благодаря своему естественнонаучному характеру, „противной вѣрѣ и нравственности“ и др.), и интересовался теоріей русскаго стиха („о сложеніи стиховъ русскихъ“). Задачу сатиры Кантемиръ опредѣлялъ такъ: „Сатиру назвать можно такимъ сочиненіемъ, которое, забавнымъ слогомъ осмѣивая злонавіе, старается исправлять нравы человѣческіе; поэтому она въ намѣреніи своемъ со всякимъ другимъ нравоучительнымъ сочиненіемъ сходна, но слогъ ея, будучи простъ и веселый, читается охотнѣе, а обличеніе ея тѣмъ удачливѣе, что мы посмѣянія больше всякаго другого наказанія боимся“. Со стороны формы Кантемиръ такъ характеризовалъ свою сатиру:

Что далъ Гораций, занялъ у француза.

О коль собою бѣдна моя муза!

Да вѣрно ума хоть предѣлы узки,

Что взялъ по-польски, заплатилъ по-русски.

Французъ, у котораго онъ занялъ, былъ авторъ литературнаго кодекса тогдашняго классицизма Буало—это было новое уже расширенное вліяніе западно-европейской литературы; подъ польскимъ заимствованіемъ разумѣется силлабическій стихъ. Кантемиръ сознавалъ недостатки этого стиха, считалъ даже необходимымъ перестроить его, тонизировалъ даже до нѣкоторой степени свои вирши при вторичной ихъ передѣлкѣ, но послѣдняго шага не сдѣлалъ и остался на полдорогѣ между „старымъ“

и „новымъ“. Зато содержаніе его сатиръ было уже новое, отражавшее современную ему русскую жизнь съ новой „европейской“ точки зрѣнія.

Лучшей сатирой Кантемира считается первая, подъ двоякимъ заглавіемъ: „На хулящихъ ученіе“ (указаніе содержанія ея) и „Къ уму своему“ (форма). Въ ней выведены разные типы враговъ просвѣщенія:

Критонъ „съ четками въ рукахъ“, ханжа, вздыхающій о доброй старинѣ и сѣтующій, что „дѣти наши къ церкви соблазну біблію честь стали, толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину, мало вѣры подавая священному чину“; далѣе—невѣжественный дворянинъ Сильванъ, недовольный тѣмъ, что науки не даютъ матеріальной прибыли; веселый гуляка и кутила Лука подпѣваетъ, что „наука содружество людей разрушаетъ“; Медоръ, нарождающійся типъ щеголя, перенявшаго однѣ только внѣшнія стороны европейской цивилизаціи: „Медоръ тужить, что черзчуръ бумаги исходитъ на письмо, на печать книгъ; и ему приходится, что не въ чемъ ужъ завертѣть завитыя кудри. Не смѣнитъ на Сенеку онъ фунтъ доброй пудры“. Однимъ словомъ, во всѣхъ классахъ общества пренебреженіе къ наукъ: „наука ободрана, въ лоскутахъ обшита; изо всѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита“ и т. п. Отсюда глубокая грусть сатирика, ибо невѣжество „всѣхъ золь матеръ“. Любопытна характеристика безыменныхъ типовъ цѣлыхъ общественныхъ положеній въ той же сатирѣ. „Епископомъ хочешь быть—уберися въ рясу, сверхъ той тѣло съ гордостью риза полосата пусть прикроетъ, повѣсь цѣпь на шею отъ злата, клобукомъ покрой голову, брюхо бороною, клюку пышно повели везти передъ тобою, въ каретѣ раздувшись, когда сердце съ гнѣву трещить, всѣхъ благословлять нудь праву и лѣву“. Или, „хочешь ли судьею стать—вздѣнь перукъ съ узлами, брани того, кто просить съ пустыми руками, твердо сердце бѣдныхъ пусть слезы презираетъ, спи на стулѣ, когда дьякъ выписку читаетъ. Если жъ кто вспомнить тебѣ граждански уставы иль естественный законъ, иль народныя права, плюнь ему въ рожу; скажи, что вретъ околесну; налагая на судей ту тяжесть неспосну, что подычимъ должно лѣзть на бумажны горы, а судѣ довольно знать крѣпить приговоры“.

То же невѣжество „смѣло полки водить“. „Воинъ ропшетъ, что своимъ полкомъ не владѣеть, когда уже имя свое подписать умѣетъ“. Все это типы, изображеніемъ которыхъ занимались какъ до Кантемира, такъ особенно послѣ него; Критонъ и Медоръ особенно близки къ русской дѣйствительности. Разныхъ вопросовъ современности касается Кантемиръ и въ слѣдующихъ своихъ сатирахъ. Вторая сатира написана „на зависть и гордость дворянъ злонравныхъ“, чтобы, какъ самъ Кантемиръ объясняетъ, „обличить тѣхъ дворянъ, которые, будучи лишены всякаго благопріятія, однимъ благородіемъ тщеславятся и, сверхъ того, завидуютъ всякому благополучію другихъ, кои чрезъ свои труды изъ низшаго въ знатное достоинство происходятъ“. Порою эти обличенія звучатъ очень смѣло и предвѣщаютъ борьбу за равенство и свободу, которой ознаменуется вторая половина вѣка. „Та жъ и въ свободныхъ и въ холопахъ течетъ кровь, та же плоть, тѣ жъ кости“ — доводъ журналовъ Новикова противъ „дворянъ злонравныхъ“. Третья сатира Кантемира посвящена Теофану Прокоповичу, „которому сила высшей мудрости свои тайны всѣ открыла“, и даетъ типы разныхъ страстей и пороковъ человѣческихъ: скупости, мотовства, любопытства, лицемерія и ханжества, лести и угодничества, тщеславія, пьянства, гордости, зависти и т. п. Четвертая сатира характерна признаніемъ автора:

Стихи, что чтецовъ всѣхъ на смѣхъ побѣждаютъ,
Часто слезъ издателю причины бываютъ.
Знаю, что правду пишу и именъ не значу,
Смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцахъ о злонравныхъ плачу.

Это именно тотъ элементъ жалости къ людямъ, который отъ себя вносили русскіе писатели въ чужую форму, тѣ же „горячія искры вѣчной могучей любви“, на которыя указываетъ Гоголь „въ глубинѣ холоднаго смѣха“, то же свойство „озирать жизнь сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы“. Близко задѣваетъ дѣйствительность своего времени пятая сатира, особенно гдѣ рѣчь идетъ о временщикахъ: „Болваномъ Макаръ вчерась казался народу, годенъ лишь дрова рубить или таскать воду; никто оцупать не могъ въ немъ ума хоть кроху, углемъ чернымъ всякъ пятналъ совѣсть его плоху. Улыбнулося

тому жъ счастье Макару, и сегодня временщикъ: ужъ онъ всё въ пару честнымъ, знатнымъ, искуснымъ людямъ становится, всякъ уму наперерывъ чудну въ немъ дивится, сколь пользы отъ него царство ждать имѣть. Зависть мучить между тѣмъ многихъ, коимъ мнится себѣ то пристойнѣе мѣсто, и трудится не одинъ Макара сбить съ чужого мѣста... Макарь скоро поскользнулся на льду скользкомъ; день его свѣтлый столь ми- нулся спѣшно, сколь спѣшно насталъ". Среди обличеній не- трудно уловить въ сатирахъ Кантемира и положительный идеаль. Въ шестой сатирѣ онъ проводитъ идеаль „довольства малымъ", по образцу Горация и совершенно въ духѣ собственной жизни: истинно блаженный тотъ, кто можетъ „отъ шуму отдаленъ, прочее все время провожать межъ мертвыми греки и латины, изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины". Тотъ же идеаль „золотой середины" изображенъ и въ восьмой сатирѣ. Въ седьмой сатирѣ Кантемиръ говоритъ о необходимости новаго воспитанія для новыхъ людей, у которыхъ общіе интересы должны быть выше личныхъ; заботясь о „добрыхъ нравахъ", онъ не меньше обра- щаетъ вниманія и на науку, чѣмъ нѣсколько отличается отъ дѣятелей екатерининской поры. Провести этотъ идеаль въ жизнь могъ, по мнѣнію Кантемира (какъ раньше Теофана, а позже— Ломоносова), монархъ въ родѣ Петра Великаго. Въ честь послѣдняго Кантемиръ началъ было даже писать „Петриду". Свой личный идеаль, какъ писателя, Кантемиръ опредѣляетъ такъ: чистая совѣсть, безпристрастіе, безкорыстіе, изученіе правъ, умѣнье отличить вредъ отъ пользы и притомъ „писать осторожно", ибо, „когда стихи пишу, мню, что кровь пушаю". На вопросъ, обращенный къ писателю, кто его судьей поставилъ, сатирикъ гордо отвѣчаетъ: „все, что я пишу, пишу по должности гражданина"—совершенно новое признаніе въ русской жизни.

Классицизмъ.

Успѣхи просвѣщенія въ елизаветинское время. „Классицизмъ“ и его представители на Западѣ и въ Россіи.

Хотя Теофанъ Прокоповичъ, а затѣмъ Кантемиръ, потомъ и Ломоносовъ писали хвалебныя оды въ честь русскихъ царей и царицъ, ожидая отъ нихъ покровительства просвѣщенію, но всѣ наши правители между Петромъ I и Екатериною II немного сдѣлали для просвѣщенія и въ частности для литературы. Процессъ „европеизованія“ нашего, однако, совершался, до нѣкоторой степени безсознательно, а потому и разногласно и медленно, но совершался, конечно, преимущественно въ средѣ дворянской. Въ елизаветинскомъ поколѣніи уже замѣтны успѣхи „людовскости“, общежитія, науки, литературы. Развивается постепенно и самая форма поэтического творчества. Въ ней много еще фальшивыхъ аккордовъ, но „она же приготовила кадры для воспріятія народныхъ и общественныхъ элементовъ, которые сдѣлали нашу поэзію русской“ (Веселовскій).

Нѣмецкое вліяніе смѣняется французскимъ, грубость нравовъ и возрѣвній понемногу смягчается, отдѣльныя лица усваиваютъ европейскую утонченность обращенія, привыкаютъ къ удобствамъ культурной жизни, увлекаются западными идеями, проникаются болѣе широкими и безкорыстными идеалами. Въ петровское время преобладало утилитарно-техническое обученіе; теперь обращаютъ вниманіе на воспитаніе. Проявляется интересъ къ литературѣ, наставницъ нравовъ. Образцомъ служить французская литература. Ея форма и отчасти содержаніе условны. Но это было неизбѣжной ступенью къ реализму и, наконецъ, отвѣчало требованіямъ извѣстной соціальной среды. Будетъ время, когда литература сдѣлается общественной потребностью и силой, пока же она куль-

тивируетъ утонченныя удовольствія сердца. Отвѣчая спросу, увеличивается литература романовъ, повѣстей, любовныхъ пѣсень и пр. Елизавета Петровна даетъ Академіи Наукъ изустный указъ—„стараться переводить и печатать на русскомъ языкѣ книги гражданскія различнаго содержанія, въ которыхъ бы польза и забава соединены были съ пристойнымъ къ свѣтскому житію нравоученіемъ“. Давалъ богатую пищу воображенію, содѣйствовалъ развитію чувствительности и театръ. При Петрѣ Великомъ не удалось ему упрочиться. Позже посѣщеніе театра становится моднымъ, привычнымъ, даже потребностью. Процвѣтаетъ особенно трагедія, наиболѣе дѣйствующая на чувство; въ рамкахъ ложнаго классицизма, драматурги изображаютъ любовную интригу, осложненную невѣроятными препятствіями. Елизаветинскій театръ тоже вѣха въ исторіи нашей драмы по пути къ бытовой пьесѣ, комедіи типовъ и обличительной. Нельзя пропустить въ исторіи нашего общественнаго развитія и періодической печати эпохи Елизаветы Петровны. Здѣсь слѣдуетъ прежде всего признать заслуги Академіи Наукъ, которая, несмотря на всѣ препятствія, положила начало научной дѣятельности въ Россіи, побудила къ книжному издательству (примѣръ впоследствии для Новикова и Голикова), заботилась о переводахъ съ иностраннаго, наконецъ, подала примѣръ публицистической и журнальной дѣятельности. Въ изданіяхъ Миллера („С.-Петербургскія Вѣдомости“, „Примѣчанія“ къ нимъ, „Ежемѣсячныя сочиненія“) уже отражаются интересы времени: и „польза“ (распространеніе научныхъ познаній) и „увеселеніе“ (нравоучительныя притчи, сны, повѣсти, оригинальныя и переводныя, но „безъ персональных указаній“). Пробивалась уже и сатирическая струя, но первоначально скованная аллегорической формой. Молодежь, обучавшаяся въ сухопутномъ шляхетскомъ корпусѣ и въ качествѣ добровольцевъ сотрудничавшая въ журналахъ Миллера, стала издавать свой журналъ. Ея „добрыя намѣренія“ и „невинныя упражненія“, конечно, не встрѣчали препятствій, но таково ужъ было время, что сознаніе невольно чертило сатиру. Въ журналѣ кадетъ: „Праздное время, на пользу употребленное“ рядомъ съ темами отвлеченно-этическими („разсужденіе о нравоученіи и натурѣ человѣческой суть наилучшіе способы для приведенія ума нашего къ совершенству

и для снисканія точнаго понятія о себѣ самомъ, слѣдовательно, и для освобожденія нашихъ душъ отъ пороковъ и невѣжества и предразсужденій, которымъ они подвержены“) встрѣчаются вопросы, съ которыми мы познакомимся изъ сатирическихъ журналовъ екатерининскаго времени: о дозволеніи сатиры, характеристика дворянина и т. п. Еще болѣе мѣста удѣлено сатирѣ въ журналѣ Сумарокова „Трудолюбивая Пчела“: обличая взяточничество, крючкотворство, модныхъ петиметровъ, онъ еще ближе становится къ русской дѣйствительности (см. „Епистола къ несправедливымъ судьямъ“, „о думномъ дьякѣ, который съ меня взялъ пятьдесятъ рублей“, „къ подьячему, писцу или писарю, то-есть къ такому человѣку, который пишетъ не зная того, что онъ пишетъ“, „О копистахъ“ и др.). Передъ самымъ вступленіемъ на престолъ Екатерины II издавался журналъ Хераскова: „Полезное увеселеніе“— съ серьезной нравственной тенденціей. Много отвлеченнаго, безпредметнаго, но зато и болѣе идеальнаго, чѣмъ въ петровскую эпоху. Отличительная черта литературы елизаветинской поры—ограниченные предѣлы ея распространенія. „Публики“ еще почти нѣтъ, а есть литературные „кружки“. Чтобы обогатить содержаніемъ науки и литературы національную жизнь, нуженъ былъ трудъ многихъ поколѣній. Хорошо и то, если елизаветинское поколѣніе не было бесплоднымъ. Этимъ оно обязано двумъ такимъ писателямъ, какъ Ломоносовъ и Сумароковъ: въ ихъ дѣятельности уже видно сознательное отношеніе къ просвѣщенію и къ жизни Европы и къ нуждамъ Россіи. По характеру своей литературной дѣятельности, они „классики“.

Классицизмъ, какъ увлеченіе греко-римскою древностію, ведетъ свое начало съ эпохи Возрожденія; какъ литературная школа, онъ получаетъ свое развитіе съ половины XVI вѣка во Франціи: появляется рядъ „поэтикъ“, основанныхъ на сочиненіяхъ Аристотеля, Горация; при этомъ мнѣнія ихъ, не всегда правильно понимаемыя, часто совершенно произвольно истолковываются и дополняются собственными идеями. Въ основѣ этого направленія лежало, несомнѣнно, стремленіе служить красотѣ, возбуждать благородные помыслы, соединяя черты идеальныя съ изображеніемъ обыкновенной жизни, реформировать языкъ, формы и понятія литературы. Но при этомъ французы внесли слишкомъ

много разсудочности, свойственной ихъ природѣ, регламентаціи и аристократизма, характерныхъ для политико-соціального строя Франціи XVI и XVII вѣка. Поэтическая теорія также состояла изъ „правилъ“, извлеченныхъ изъ античныхъ писателей и приспособленныхъ къ салонной и торжественно-придворной обстановкѣ. Все было и въ поэзи такъ „чинно“, какъ въ жизни. И такъ же искусственно, холодно, сухо, „безчувственно“. Разсудочность парализовала творчество и фантазію. Самыя страсти служатъ предметомъ сознанія, разсужденія. Краснорѣчіе замѣняло лиризмъ. Все частное и субъективное устраняется. Темы и идеи носятъ „общій“ характеръ.

Буало (1636—1711), суммировавшій требованія классицизма въ своей поэмѣ: „Поэтическое искусство“, отправляется отъ разума, а не отъ воображенія. „Любите — говоритъ онъ — разумъ и пусть ваши сочиненія всегда заимствуютъ отъ него одного и свой блескъ, и свою цѣну“. Разумъ создаетъ красоту какъ нѣчто постоянное, тождественное съ истиной. Истина же — природа. Древніе были великіе мастера наблюдать и передавать природу въ совершенныхъ формахъ. Поэтому у нихъ нужно учиться, имъ подражать. Буало рѣзко разграничиваетъ роды и виды поэзи и устанавливаетъ по отношенію къ каждому изъ нихъ формальныя требованія, какъ будто можетъ быть только одинъ типъ эпопей, одинъ типъ трагедій и т. д.

Уже римляне исказили духъ греческой поэзи, лишивъ греческую мифологію ея прямого смысла, взявъ ее лишь какъ образъ, внеся отвлеченность въ художественное творчество, придавъ ему утилитарное значеніе—увеселять и вмѣстѣ назидать читателя. Еще дальше пошли французы, у которыхъ подражаніе переходило иногда въ механическое, безъидейное копированіе, гдѣ, вопреки природѣ и душѣ древнихъ, у нихъ берутъ одно внѣшнее, относителное и мѣстное. Поэтому-то французскій классицизмъ получилъ названіе „ложнаго“.

Правила поэмы выводились изъ „Иліады“ Гомера и „Энеиды“ Вергилія. Но опредѣленіе поэмы было своеобразно, какъ „героическій романъ“ въ стихахъ, чудесный, аллегорическій и моральный.

Въ одѣ образцами служили Пиндаръ, пѣвшій, подѣ акком-

паниментъ лиры, о великихъ событіяхъ и герояхъ, и Гораций. Подражатели, исходя изъ принципа, что прекрасное состоитъ въ симметріи, въ правильномъ расположеніи частей, дѣлили оду на части. Они тоже настраивали воображаемую „лиру“ для „пѣнія“, призывали „боговъ“, въ которыхъ не вѣрили. Отъ оды требовали еще „паэоса“, паренія къ небесамъ, стремительности, „прекраснаго безпорядка“, который сказывается въ воззваніяхъ: что я вижу? что слышу? — и въ неожиданныхъ отступленіяхъ.

Вѣнцомъ творчества, какъ и Аристотелю, классикамъ казалась трагедія, которую они строго отдѣлили отъ комедіи. Изъ словъ Аристотеля о томъ, что дѣйствіе „велико“, сколь можно, и вмѣстѣ съ тѣмъ „легко обозримо“, вывели принципъ единства дѣйствія, сузившаго содержаніе пьесы и превратившаго ее въ подготовку катастрофы: такимъ образомъ, психологическій интересъ драмы понизился. Замѣчаніе Аристотеля, что дѣйствіе совершается въ „одинъ круговоротъ солнца или немного болѣе“, повело къ утвержденію единства времени и логически вытекавшаго изъ него единства мѣста. Къ этому нужно присоединить и единство языка, изысканнаго, декламаціоннаго, на которомъ говорятъ всѣ герои и героини „классическихъ“ трагедій. Буало требовалъ „пышности, благородства, изящества, привлекательности, украшеній“ стиля. Это такъ отвѣчало высокому происхожденію героевъ трагедіи и ея задачѣ — доставлять удовольствіе. Стѣснительныя „единства“ заставляли авторовъ вводить въ пьесы вѣстниковъ, которые рассказывали о томъ, что произошло въ другомъ мѣстѣ, наперсниковъ и наперсницъ — повѣренныхъ сердечныхъ тайнъ главныхъ героевъ трагедіи. Содержаніе трагедіи составляли „великіе сюжеты“. Борьба происходила въ сердцахъ героевъ: все было устремлено къ развертыванію общечеловѣческихъ характеровъ, страстей и чувствъ. Но часто подъ маской древности скрывалось французское великосвѣтское общество XVII вѣка. Очень ясно было и морализированіе автора.

Въ комедіи образцами служили менѣе Аристофанъ, а болѣе — римляне Плавтъ и Теренцій. Въ формѣ ея соблюдались тѣ же единства, что и въ трагедіи. Цѣль — по преимуществу „заставлять смѣяться почтенныхъ людей“ (т. е. дворъ и отчасти

городъ). Дѣйствующія лица берутся изъ низшихъ классовъ. Преобладаютъ „общіе“ типы. Вводятся резонеры.

Корнель, Расинъ, Мольеръ, благодаря ихъ генію, сумѣли и при такихъ условіяхъ создать великія произведенія. Ихъ подражатели обнаружили ярче всѣ недостатки „школы“ и подготовили ея паденіе въ XVIII вѣкѣ.

Изъ Франціи классицизмъ распространился и въ другихъ странахъ; съ опозданіемъ пришелъ онъ и въ русскую литературу, уже отчасти подготовленную для воспріятія европейскихъ идей юго-западнымъ вліяніемъ и петровской реформой.

Внесеніе классицизма въ Россію слѣдуетъ разсматривать исторически, какъ необходимый моментъ въ развитіи нашихъ литературныхъ формъ, но оно не лишено было и положительныхъ элементовъ, въ видѣ общечеловѣческихъ, образовательныхъ идей, которыя, черезъ подражанія и передѣлки, переходили въ сознаніе русскаго общества; классицизмъ вносилъ извѣстный эстетическій принципъ въ творчество, формировалъ его, способствовалъ развитію поэтическаго стиля въ Россіи; наконецъ, чужія и чуждыя намъ „формы“ не помѣшали все-таки наиболѣе даровитымъ писателямъ оставаться самими собою и вносить живое содержаніе въ литературу: такова особенно наша сатира и комедія.

Теоретикомъ классицизма въ Россіи явился неудачный поэтъ, но выдающійся ученый XVIII вѣка Василій Кирилловичъ **Тредьяковскій** (1703—1769), о которомъ Новиковъ въ „Опытѣ историческаго словаря о руссійскихъ писателяхъ“ говоритъ: „Сей мужъ былъ великаго разума, многого ученія, обширнаго знанія и безпримѣрнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, итальянскомъ и своемъ природномъ языкѣ,—также въ философіи, богословіи, краснорѣчьи и другихъ наукахъ. Полезными своими трудами приобрѣлъ безсмертную славу, и первый въ Россіи сочинилъ правила новаго руссійскаго стихосложенія... Не обинуясь сказать можно, что онъ первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству,—при чемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворецъ и первый, приложившій толико труда и прилежанія въ переводѣ на руссійскій языкъ преподлезныхъ книгъ“. Такимъ образомъ,

Тредьяковскій, отражая переходный моментъ въ русской литературѣ, со всей его хаотичностью, является ближайшимъ предшественникомъ и сотрудникомъ Ломоносова, несмотря на все ихъ взаимное нерасположеніе другъ къ другу. Происходилъ онъ изъ семьи бѣднаго церковнаго служителя въ Астрахани; учился, безъ призора, чему пришлось, какъ-то попалъ въ кругъ капуцинскихъ монаховъ, занимавшихся миссіонерствомъ среди астраханскихъ инородцевъ; захотѣлъ учиться, побывать „за моремъ“; почти какъ Ломоносовъ съ обозомъ, добрался Тредьяковскій до Москвы и поступилъ въ Славяно-греко-латинскую Академію и здѣсь же попробовалъ впервые писать стихи и даже трагедіи; не удовлетворившись этой школой, онъ ее оставилъ и переехалъ въ Голландію, гдѣ его пріютилъ русскій посланникъ Головинъ, далъ возможность изучить французскій языкъ и снабдилъ рекомендательнымъ письмомъ къ русскому послу въ Парижъ Куракину. Явившись „пѣшъ, за крайнюю уже своею бѣдностью“ въ Парижъ, Тредьяковскій поселился въ посольскомъ домѣ, записался въ студенты и сталъ слушать лекціи чуть не всѣхъ профессоровъ, свѣтскихъ и духовныхъ, по математикѣ и богословію, философіи и словесности и пр. Французскій языкъ онъ усвоилъ отлично; приобрѣлъ манеры парижанина; общая атмосфера умственного и освободительнаго возбужденія наканунѣ расцвѣта энциклопедизма дала толчекъ и его мечтамъ: хотѣлось сдѣлать что-нибудь большое и для русской литературы. Онъ пишетъ стихи въ различныхъ родахъ лирики, вырабатываетъ новую теорію стихосложенія, переводитъ канонъ классицизма „L'art poétique“ Буало. Переводъ старинной книги Поля Тальмана „Взда въ островъ любви“ (1730) сдѣлала Тредьяковского „литературной извѣстностью“. Самое содержаніе книги, нѣчто въ родѣ романа, съ описаніемъ различныхъ степеней любви къ женщинѣ, безъ которой „нѣту никакой сладости“, не могло не казаться новостью для общества, еще помниваго правила Домостроя; еще важнѣе былъ языкъ перевода, которому Тредьяковскій въ предисловіи ставилъ такіа цѣли: „На меня, прошу васъ покорно, не извольте прогнѣваться, буде вы еще глубокословныя держитесь словенщизны,—что я оную не славенскимъ языкомъ перевелъ, но почти самымъ простымъ рус-

скимъ словомъ, то есть каковымъ мы между собою говоримъ. Сіе я учинилъ слѣдующихъ ради причинъ. Первая: языкъ славенскій у насъ есть языкъ церковной, а сія книга мірская. Другая: языкъ славенскій въ нынѣшнемъ вѣкѣ у насъ очень темень, и многіе его наши читая не разумѣютъ; а сія книга есть сладкія любви, того ради всѣмъ должна быть вразумительна. Третія, которая вамъ покажется, можетъ быть, самая легкая, но которая у меня идетъ за самую важную, то есть, что языкъ славенскій нынѣ жестокъ моимъ ушамъ слышится, хотя прежде сего не только я имъ писывалъ, но и разговаривалъ со всѣми. Ежели вамъ, доброжелательный читателю, покажется, что я еще здѣсь въ свойство нашего природнаго языка не умѣтилъ, то хотя могу только похвалиться,—что все мое хотѣніе имѣлъ, дабы то учинить“. Съ такими реформаторскими стремленіями по отношенію къ „чисткѣ“ нашего литературнаго языка, еще до филологическихъ трудовъ Ломоносова, возвращался въ Россію Тредьяковскій. Онъ не искалъ никакой службы, кромѣ литературы и науки, но тогда эта служба, какъ мы видѣли изъ сатиръ Кантемира, была одна изъ труднѣйшихъ, не только благодаря невѣжеству общества, но и еще болѣе—необходимости унижаться передъ всѣми, кто посильнѣе. Въ Тредьяковскомъ не было большой силы моральнаго отпора, и онъ иногда слишкомъ покорно переносилъ надъ собою разнаго рода издѣвательства и допускалъ въ своихъ сочиненіяхъ самую грубую лесть, въ чемъ, однако, больше повиненъ „вѣкъ“. Вначалѣ Тредьяковскій поступилъ на службу въ Академію, съ жалованьемъ въ 360 руб. въ годъ и обязанностью „вычищать языкъ русскій пишучи какъ стихами, такъ и не стихами; давать лекціи, ежели отъ него потребовано будетъ; окончить грамматику, которую онъ началъ, и трудиться совокупно съ прочими надъ дикціонаріемъ русскимъ; переводить съ французскаго на русскій языкъ все, что ему дастся“. Все это и дѣлалъ Тредьяковскій и, кромѣ того, сочинялъ оды на разные торжественные случаи, составлялъ надписи и „изъясненія“ къ разнымъ аллегорическимъ изображеніямъ по случаю иллюминацій или фейерверковъ и т. п. Черезъ 15 лѣтъ службы Тредьяковского повысили въ профессору „какъ латинскія, такъ и русскія элоквенціи“. Въ этой роли онъ и оказалъ

особыя услуги русской литературѣ, если не какъ геній новаторъ, то какъ трудолюбивый и свѣдущій компиляторъ и распространитель болѣе новаго и свѣжаго. Новѣйшія изслѣдованія нѣсколько ограничиваютъ тотъ отзывъ Новикова, который приведенъ выше. Его воззрѣнія на поэзію напоминаютъ школьныя латинскіе учебники піитики, расхвалившіеся изъ юго-западной школы по всей Россіи, какъ современные ему, такъ и старшіе; съ другой стороны—его эстетическія сужденія основаны на сочиненіяхъ Буало, Горація, Брюмоа, Рапена, Роллена, а также Цицерона и Аристотеля; открытіемъ же тоническаго стиха онъ въ значительной степени обязанъ двумъ почтеннымъ дѣятелямъ въ той же области, нѣмцамъ по происхожденію и воспитанію, пастору Глюку (†1705) и магистру Паусу (†1735), переведшимъ на русскій языкъ размѣромъ подлинника болѣе ста евангелическо-лютеранскихъ религіозныхъ пѣсень и сочинявшимъ тоническіе стихи на русскомъ языкѣ, по образцу нѣмецкаго тоническаго стиха, съ богатымъ разнообразіемъ размѣровъ и строфъ. Особенно заслуживаютъ упоминанія слѣдующія сочиненія Тредьяковского: 1) „Новый и краткій способъ къ сложенію русскійскихъ стиховъ“ (1735, потомъ въ значительно переработанномъ видѣ, послѣ трудовъ Ломоносова, въ 1752 г.).—Здѣсь онъ критикуетъ „старые стихи наши“—или „дикіе“, по образцу греческой и латинской версификаціи, какъ у Мелетія Смотрицкаго, или „не прямые стихи“, а „риемованную прозу“ силлабическихъ виршъ, заимствованныхъ у поляковъ—и предлагаетъ „новый способъ“ русскаго стихосложенія, къ которому онъ будто бы пришелъ благодаря „поэзіи нашего простого народа“ (на самомъ дѣлѣ силлабическое стихосложеніе начало уже у насъ тонизироваться) и который основывается на удареніи („тонѣ“), на „звонахъ“ и „силѣ“; 2) „О древнемъ, среднемъ и новомъ стихосложеніи русскіи“—своего рода исторія русской поэзіи съ древнихъ временъ (до XVI вѣка—господство народныхъ пѣсень) черезъ средній періодъ „силлабическихъ стиховъ“ (XVI—XVIII в.) и до новѣйшихъ временъ, которыя онъ считаетъ съ своего „новаго способа“ 1735 года; 3) „Разговоръ объ ортографіи“, которую онъ предлагаетъ перестроить по живому словопроизношенію и современному выговору; 4) цѣлый рядъ сочиненій о различныхъ фор-

махъ поэзіи, въ духѣ французскаго „классицизма“ („мнѣніе о началѣ поэзіи и стиховъ вообще“, „разсужденіе объ одѣ вообще“, „предъясненіе объ ироической пѣмѣ“, „о комедіи“ и пр.). Важно для XVIII вѣка различіе поэзіи и стихотворства. „Иное быть—говорить онъ—пѣтомъ, а иное стихи слагать“. Въ поэзіи онъ видитъ творчество, „подражаніе подобіемъ вещей возможныхъ, истинныхъ образу“. Вымыселъ долженъ быть по разуму, т. е. какъ вещь могла быть. Особенно онъ рекомендуетъ заботиться о языкѣ, о его „благородствѣ“, чтобы онъ былъ не смѣлъ „на манеръ деревенскій“: этого не допускалъ чопорный классицизмъ, отражавшій условности и приличія салоновъ. Подобно Буало, Тредьяковскій всюду указываетъ на древніе образцы: Омира, „превеликаго пѣту“, Вергилія — въ эпосѣ; Пиндара и Горация—въ одахъ, Эсхила, Софокла, Еврипида—въ трагедіи, Аристофана—въ комедіи и т. д. Особенно цѣнить онъ нравственно-поучительный тонъ поэзіи древней и новой; назидательную цѣль онъ видѣлъ и въ переведенныхъ имъ большихъ сочиненіяхъ Фенелона („Телемахіда“) и Барклая („Агренида“). „Правила“ поэзіи, столь усердно разрабатывавшіяся Тредьяковскимъ, онъ не умѣлъ примѣнить къ собственнымъ поэтическимъ сочиненіямъ: его упражненія во всѣхъ родахъ поэзіи были очень неудачны и показываютъ на отсутствіе художественнаго вкуса и природнаго поэтическаго таланта. Остается одно стремленіе „умѣтить въ свойство русскаго языка“—немаловажное въ раннемъ періодѣ образованія нашей изящной словесности, когда стихъ и фраза были еще не организованы, не имѣли художественной структуры.

М. В. Ломоносовъ (1711—1765).

Биографія. Характеристика. „Разсужденіе о пользѣ книгъ церковныхъ въ
россійскомъ языкѣ“. Оды.

Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ родился около 1711 года (болѣе точная дата не установлена) въ деревнѣ Денисовкѣ, Куростровской волости, Холмогорскаго уѣзда, Архангельской губерніи. Отецъ его, Василій Дорофеевъ, „промыселъ имѣлъ на морѣ по Мурманскому берегу и въ другихъ приморскихъ мѣстахъ для лову рыбы трески и палтосины на своихъ судахъ, изъ коихъ одно время имѣлъ немалой величины гуккоръ съ корабельною оснасткою. Онъ всегда имѣлъ въ томъ рыбномъ промыслѣ счастье, а собою былъ простосовѣстенъ и къ сиротамъ податливъ, а съ сосѣдями обходителенъ, только грамотѣ не ученъ“. Мать Ломоносова, первая жена Василія Дорофеева, была дочь дьякона изъ очень стариннаго въ томъ краѣ селенія Матигоръ. Съ раннихъ лѣтъ Ломоносовъ ѣздилъ съ своимъ отцомъ, каждое лѣто и каждую осень, на рыбныя ловли въ Бѣлое и Сѣверное море даже до Колы, а иногда даже и въ Сѣверный океанъ до 70 градусовъ широты. Зимой онъ учился, сперва, вѣроятно, у матери, а потомъ у крестьянина той же волости Ивана Шубного, по церковнымъ книгамъ, и черезъ два года уже оказался лучшимъ чтецомъ въ приходской церкви. Первыми недуховными книгами Ломоносова, которыя онъ потомъ называлъ вратами своей учености, были: грамматика Смотрицкаго и ариметика Магницкаго—основа книжной мудрости еще до-петровской Руси. Эти книги онъ почти вытвердилъ наизусть. На тринадцатомъ году молодой Ломоносовъ чуть не сдѣлался раскольникъ-безпоповцемъ; по слухамъ, „держался онаго два года, но скоро позналъ, что заблуждаетъ“.

7 декабря 1730 года, согласно официальнымъ даннымъ, „отпущенъ Михайло Васильевъ сынъ Ломоносовъ къ Москвѣ и къ морю до сентября мѣсяца предбудущаго 731 года, а порукою по немъ въ платежѣ подушныхъ денегъ Иванъ Баневъ росписался“. Въ дорогѣ онъ провелъ около мѣсяца, испытавъ не мало

приключеній: нѣкоторое время отправлялъ псаломническую должность въ Антоніевомъ Сійскомъ монастырѣ, въ ста верстахъ отъ Холмогоръ; до Москвы добрался съ рыбнымъ обозомъ; первую ночь въ Москвѣ проспалъ „въ общевняхъ (саняхъ) у рыбнаго ряду“. Черезъ земляка онъ познакомился съ однимъ монахомъ Заиконоспасскаго монастыря и пристроился къ ученію въ навигацкую школу, а потомъ перешелъ и въ Славяно-греко-латинскую Академію. О времени своего ученія въ Москвѣ Ломоносовъ такъ рассказывалъ: „Обучаясь въ спасскихъ школахъ, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лѣта почти неопредолѣнную силу имѣли. Съ одной стороны, недовольство отца... Съ другой стороны, несказанная бѣдность, имѣя одинъ алтынъ въ день жалованья, нельзя было имѣть на пропитаніе въ день больше какъ на денежку хлѣба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ и наукъ не оставилъ“. По окончаніи курса Ломоносову представлялась возможность получить мѣсто священника, но въ это время, по предложенію начальника Академіи Наукъ барона Корфа, сенатъ распорядился „изъ учениковъ, кои есть въ Москвѣ въ спасскомъ училищномъ монастырѣ, выбрать въ наукахъ достойнѣйшихъ двадцать человѣкъ и выслать въ Санкт-петербургъ въ Академію Наукъ“. Въ число двѣнадцати избранныхъ „остроумія, по мнѣнію архимандрита, не послѣдняго“, попалъ и Ломоносовъ. Но уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ прибытія московскихъ семинаристовъ въ Петербургъ, трое изъ нихъ—Рейзеръ, Виноградовъ и Ломоносовъ—были отправлены въ Марбургъ для обученія химіи и горному дѣлу, а „притомъ учиться и естественной исторіи, физикѣ, геометріи и тригонометріи, механикѣ, гидравликѣ и гидротехникѣ“. Наблюденіе за ихъ занятіями взялъ на себя знаменитый философъ Христіанъ Вольфъ, оказавшій уже важныя услуги русской Академіи при ея основаніи. Изъ его донесеній видно, что стипендіаты Академіи не только „гуляли“ и дѣлали долги, но и учились: Ломоносовъ уже говорилъ по-нѣмецки, „выказалъ большую охоту и желаніе учиться“ и „сдѣлалъ успѣхи“. Къ этой эпохѣ относится нѣсколько его ученыхъ разсужденій и переводъ одной оды Фенелона тониче-

скимъ размѣромъ. Изъ Марбурга Ломоносовъ съ товарищами выѣхалъ въ Фрейбергъ, подѣ руководствомъ Генкеля, извѣстнаго въ то время специалиста по металлургіи, минералогіи и химіи. Занятія и здѣсь шли успѣшно; кромѣ естественныхъ наукъ, Ломоносовъ занимался поэзіей, и, подѣ вліяніемъ Гюнтера, написалъ „Оду на взятіе Хотина“ (1739), по своему ямбическому размѣру и языку, открывавшую новые пути. Эта ода является первой удачной попыткой примѣненія тонического стихосложенія къ русскимъ стихамъ. Однако распущенное поведеніе Ломоносова продолжалось и вызвало строгости Генкеля. Ломоносовъ не выдержалъ и бѣжалъ въ 1740 году въ Марбургъ; здѣсь онъ, безъ вѣдома Академіи, обвѣнчался съ дочерью бывшаго члена городской думы и церковнаго старшины Елизаветой-Христиной Цильхъ. Изъ Марбурга Ломоносовъ отправился во Франкфуртъ, потомъ водою въ Роттердамъ и Гагу, затѣмъ въ Амстердамъ и обратно въ Германію. „Коликую опасность и нужду я претерпѣлъ въ пути, пишетъ Ломоносовъ въ письмѣ къ Шумахеру, мнѣ самому страшно даже вспомнить... Въ настоящее время (ноябрь 1740 года) я живу инкогнито въ Марбургѣ у своихъ пріятелей и упражняюсь въ алгебрѣ, намѣреваясь оную къ теоретической химіи и физикѣ примѣнить. Утѣшаю себя пока тѣмъ, что мнѣ удалось въ знаменитыхъ городахъ побывать, поговорить съ нѣкоторыми искусными химиками, осмотрѣть ихъ лабораторіи и взглянуть на рудники въ Гессенѣ и Зигенѣ“. 8 іюня 1741 года Ломоносовъ возвратился въ Петербургъ, но больше полгода не получалъ оффиціальнаго назначенія, исполняя отдѣльные порученія Академіи (приведеніе въ порядокъ минералогическаго кабинета, переводы и т. п.) и составляя оды на торжественные случаи. Въ 1742 году онъ былъ опредѣленъ адъюнктомъ физическаго класса, а въ 1745 году— профессоромъ химіи. Начинается періодъ усиленныхъ научныхъ занятій Ломоносова по разнымъ отдѣламъ естествознанія, особенно химіи. Знаменитый Эйлеръ далъ такой отзывъ о его диссертацияхъ: онѣ „не токмо хороши, но и весьма превосходны, ибо онъ пишетъ о матеріяхъ физическихъ и химическихъ весьма нужныхъ, которыя понынѣ не знали и истолковать не могли самые остроумные люди, что онъ учинилъ съ такимъ успѣхомъ, что я совершенно увѣренъ въ справедливости его изъясненій... Желать

должно, чтобы и другія академіи въ состояніи были произвести такія откровенія, какія показали Ломоносовъ“. Онъ занимается, кромѣ того, сочиненіями „грамматическими, историческими, стихотворческими“; читаетъ лекціи, говоритъ публичныя рѣчи, составляетъ проекты о мѣрахъ къ развитію русскаго просвѣщенія (основаніе московскаго университета, устройство гимназій при академіи и пр.).

Русскою исторіей Ломоносовъ занялся по внушенію со стороны Шувалова и императрицы Елизаветы, но, начавъ заниматься, увлекся предметомъ. При жизни онъ успѣлъ издать „Краткой россійской лѣтописецъ съ родословіемъ“—сжатая, мѣстами весьма удачная, характеристика русскихъ князей—и „Родословіе россійскихъ государей“; послѣ его смерти появилась въ печати приготовленная имъ первая часть „Древней россійской исторіи“ (отъ начала россійскаго народа до кончины Ярослава). На исторію Ломоносовъ смотрѣлъ, какъ позже Карамзинъ, съ дидактической точки зрѣнія („Она даетъ государямъ примѣры правленія, подданнымъ—повиновенія, воинамъ мужества, судіямъ правосудія, младымъ старыхъ разумъ, престарѣлымъ сугубую твердость въ совѣтахъ, каждому незлобивое увеселеніе съ несказанною пользою соединенное“...); въ прошломъ русскаго народа онъ старался отмѣтить „величество“ и „славные“ примѣры.

Не малый интересъ представляютъ письма Ломоносова и записки его мыслей, „простирающихся къ приращенію общей пользы“: о размноженіи и сохраненіи россійскаго народа, о истребленіи праздности, о исправленіи нравовъ и о большемъ народа просвѣщеніи, о исправленіи земледѣлія, о лучшихъ пользахъ купечества, о лучшей государственной экономіи, о сохраненіи военнаго искусства во время долговременнаго мира и т. д. Главнымъ дѣломъ Ломоносовъ полагаетъ первый изъ названныхъ вопросовъ: „сохраненіе и размноженіе россійскаго народа, въ чемъ состоитъ величество, могущество и богатство всего государства, а не въ обширности тщетной безъ обитателей. Божественное дѣло и милосердыя и челоуѣколюбивыя наша монархини кроткаго сердца достойное дѣло избавлять подданныхъ отъ смерти, хотя бы иныя по законамъ и достойны были. Сіе помилованіе есть явное и прямо зависящее отъ ея материнскія высочайшія

воли и повелѣнія. Но много есть человекоубиства и самоубиства, народъ умаляющаго, коего непосредственно указами, безъ исправленія или совершеннаго истребленія нѣкоторыхъ обычаевъ и еще нѣкоторыхъ подъ именемъ узаконеній вкоренившихся, истребить невозможно“. И далѣе Ломоносовъ говорить о необходимости установленія болѣе равныхъ браковъ, разрѣшеніе четвертаго и пятаго брака, брака для вдовыхъ священниковъ, ограниченія монашества, устройства воспитательныхъ домовъ, распространенія медицинскихъ знаній, борьбы съ вредными суевѣріями народа, облегченія крестьянской тяготы, поощренія иммиграціи иностранцевъ и т. п. Многія мѣры Екатерины II какъ будто исполнены по плану Ломоносова. „Я бы охотно,—говоритъ онъ въ письмѣ къ Теплову,—молчалъ, и жилъ въ покоѣ, да боюсь наказанія отъ правосудія и всемогущаго Промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученіи, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествѣ, что мнѣ всего дороже. За общую пользу, а особливо за утвержденіе наукъ въ отечествѣ, и противъ отца своего родного возстать за грѣхъ не ставлю. Я къ сему себя посвятилъ, чтобы до гроба моего съ непріятелями наукъ россійскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ: стоялъ за нихъ съ молодости, на старость не покину“. Подъ этими непріятелями наукъ россійскихъ Ломоносовъ разумѣлъ, главнымъ образомъ, нѣмцевъ, засѣвшихъ въ академической канцеляріи и, несмотря на „скудность въ наукахъ“, захватившихъ въ свои руки управленіе и хозяйственными и учеными дѣлами Академіи (Шумахеръ, Таубертъ и др.). Между Ломоносовымъ и „нѣмцами“ происходили иногда бурныя сцены, ему приходилось даже подвергаться за это наказанію, но онъ не унимался. Были у Ломоносова, впрочемъ, столкновенія и съ русскими — съ Тредьяковскимъ, Сумароковымъ, которыхъ онъ высмѣивалъ за ихъ общественные и литературные недостатки. Однако и друзья и враги не могли не признать великихъ научныхъ и поэтическихъ заслугъ Ломоносова и на угрозы отставкой онъ увѣренно отвѣчалъ: „скорѣе можно отставить отъ меня академію, чѣмъ меня отъ академіи“. Въ концѣ жизни Ломоносовъ былъ избранъ въ почетные члены стокгольм-

ской и болонской академій. Умеръ онъ 4 апрѣля 1765 года; по воспоминанію его товарища, онъ „смерть встрѣтилъ съ духомъ истиннаго философа; сказалъ: жалѣю только, что покидаю недовершеннымъ то, что задумалъ я для пользы отечества, для приращенія наукъ и возстановленія упавшихъ дѣлъ академическихъ“. Погребенъ онъ былъ въ Александро-Невской Лаврѣ, „при огромномъ стеченіи народа“.

Въ натурѣ Ломоносова много петровскаго: умъ, смѣтливость, трудолюбіе, безграничная преданность наукѣ и интересамъ Россіи. Но есть и разница: для него „наука была уже не одной технической выучкой, не отрывочнымъ специальнымъ знаніемъ, беззаботнымъ о логическомъ развитіи своихъ основаній, а, напротивъ, знаніемъ, которое освѣщалось философскою мыслью и становилось поэтому цѣлымъ міровоззрѣніемъ“. Въ программѣ лекцій по физикѣ онъ говоритъ: „кто знаетъ свойства и смѣшеніе малѣйшихъ частей, составляющихъ чувствительныя тѣла, изслѣдовалъ расположеніе органовъ и движенія законы, натуру видитъ какъ нѣкоторую художницу, упражняющуюся передъ нимъ безъ закрытія въ своемъ искусствѣ“. Въ „словѣ о пользѣ химіи“ онъ про ученаго говоритъ: „представляя себѣ великое пространство, хитрое строеніе и красоту всея твари, съ нѣкоторымъ священнымъ ужасомъ и благоговѣнною любовію почитаетъ Создателя безконечную премудрость и силу“. Человѣкъ религіозный по природѣ, онъ однако раздѣлялъ область вѣры и науки. Именно въ этомъ смыслѣ онъ первый вносилъ въ умственную жизнь русскаго общества и въ русскую литературу великое благотворное начало, которое одно могло стать основой дальнѣйшаго здраваго развитія и въ той же области знанія и въ области самой поэзіи — „начало сознательной работы мысли, которая уже тѣмъ самымъ становилась любовью къ просвѣщенію и стремленіемъ служить этимъ просвѣщеніемъ своему обществу и народу“. Ломоносовъ боготворилъ Петра Великаго именно за то, что „Петръ Великій открылъ для русскаго народа ту область науки, съ помощью которой человѣкъ только и можетъ достигнуть высоты своего умственного и нравственного достоинства. Это возвышенное, и единое истинное, представленіе о наукѣ въ первый разъ было высказано на

русскомъ языкѣ Ломоносовымъ, и въ этомъ была основная господствующая черта новаго міровоззрѣнія, которое должно было стать содержаніемъ новаго періода умственной жизни русскаго общества: съ этимъ наступалъ послѣдній конецъ нашихъ среднихъ вѣковъ“ (Пыпинъ). Для Ломоносова наука была выше художественной литературы, но тѣмъ не менѣе заслуги его по русскому языку и словесности очень значительны.

Важнѣйшимъ изъ теоретическихъ трудовъ Ломоносова по русскому языку, объясняющихъ намъ самую его литературную дѣятельность, было разсужденіе „О пользѣ книгъ церковныхъ въ російскомъ языкѣ“. Наблюдая въ русской литературной рѣчи множество мѣстъ „невразумительныхъ“, вслѣдствіе включенія въ церковно-славянскій переводъ съ греческаго „свойствъ греческихъ славянскому языку странныхъ“, а, съ другой стороны, появленіе „дикихъ и странныхъ словъ“ изъ чужихъ языковъ, Ломоносовъ предлагаетъ теорію „чистаго російскаго слова“, состоящаго въ соединеніи языка церковно-славянскаго съ простонароднымъ (московскаго нарѣчія) російскимъ. Онъ весьма цѣнитъ церковно-славянскій языкъ, которымъ „мы можемъ умножать довольство російскаго языка“—и въ этомъ отношеніи слѣдуетъ еще старой традиціи, разрушенной лишь впоследствии Карамзинымъ,—но онъ уже признаетъ извѣстныя права и за языкомъ русскимъ. Исходя изъ различія „реченій“—словъ російскаго языка: 1) общеупотребительныхъ въ церковно-славянскомъ и русскомъ (Богъ, слава, рука, почитаю), 2) книжныхъ по преимуществу, исключая весьма обветшалыхъ и неупотребительныхъ,—(отверзаю, Господень, насажденный), 3) простонародныхъ, исключая „презрѣнныхъ, подлыхъ словъ“,—(ручей, говорю, который, пока, лишь), Ломоносовъ выводитъ и три „штиля“: 1) высокій (для героическихъ поэмъ, одъ, прозаичныхъ рѣчей о важныхъ матеріяхъ), 2) средній (для театральныхъ представлений, стихотворныхъ дружескихъ писемъ, эклогъ, элегій, описаній дѣлъ достопамятныхъ и ученій благородныхъ), 3) низкій (для комедій, увеселительныхъ эпиграммъ, пѣсенъ, прозаическихъ дружескихъ писемъ, описаній обыкновенныхъ дѣлъ). Ученіе о стиляхъ, разработанное еще въ старыхъ реторикахъ, черезъ Ломоносова внѣдрилось надолго въ русскую поэзію.

Рядомъ съ этимъ разсужденіемъ Ломоносова стоитъ его „Краткое руководство къ риторикѣ“—сочиненіе не оригинальное, но важное, потому что написано по-русски (прежнія руководства писались по-латыни) и заключаетъ рядъ новыхъ примѣровъ.

Для теоріи нашего стихосложенія имѣетъ значеніе „Письмо о правилахъ руссійскаго стихотворства“ Ломоносова, подкрѣпляющее доводы Тредьяковскаго въ пользу тоническаго стихосложенія новыми образцами.

„Руссійская грамматика Михаила Ломоносова“ является и началомъ научной разработки русскаго языка. „Русскіе, по словамъ академика Грота, вправѣ гордиться появленіемъ у себя въ срединѣ XVIII вѣка такой грамматики, которая не только выдерживаетъ сравненіе съ однородными трудами за то же время у другихъ народовъ, давно опередившихъ Россію на поприщѣ науки, но и обнаруживаетъ въ авторѣ удивительное пониманіе началъ языковѣдѣнія“. Такъ, Ломоносовъ различалъ уже буквы отъ звуковъ, опредѣлялъ происхожденіе звуковъ анатомо-фізіологическое и акустическое, говорилъ о трехъ нарѣчіяхъ русскаго языка и т. п. Зависимость его отъ старинной „грамматики“ Смотрицкаго сказывалась еще въ терминахъ, правилахъ правописанія и пр.

Поэтическое творчество Ломоносова сказалось преимущественно въ одахъ (11 духовныхъ, 19 похвальныхъ), но онъ упражнялся и въ другихъ родахъ поэзіи (начало героической поэмы: „Петръ Великій“, идиллія „Полидоръ“, легкія стихотворенія, экспромты, эпиграммы, сатира „Гимнъ бородѣ“, надписи на разныя иллюминаціи и т. п., двѣ трагедіи: „Тамира и Селимъ“ и „Демофонтъ“, дидактическое произведеніе, по образцу сочиненія Лукреція „о естествѣ вещей“: „Письмо о пользѣ стекла“ къ Ив. Ив. Шувалову).

Въ духовныхъ одахъ Ломоносовъ отражаетъ одну стихію своей и вообще русской природы—религіозное чувство: имъ проникнуты и „переложенія псалмовъ“, и выбранныя мѣста изъ книги Іова и особенно оды: „Утреннее размышленіе о Божіемъ величествѣ“ и „Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ, по случаю сѣвернаго сіянія“. Восторгъ религіозный здѣсь соединяется

съ поэтическимъ чувствомъ природы, которую онъ въ дѣтствѣ такъ близко наблюдалъ, а потомъ всю жизнь изучалъ, причемъ, въ его представленіи, это изученіе природы только укрѣпляло вѣру въ Бога. Въ „Утреннемъ размысленіи“ поэтъ открываетъ „дѣла Божія“ и предлагаетъ по нимъ представить, „каковъ Зизидитель самъ“. Изобразивъ рядъ грозныхъ величественныхъ явленій природы, онъ говоритъ, обращаясь къ Божеству:

Сія ужасная громада
Какъ искра предъ Тобой одна.

Въ „Вечернемъ размысленіи“ представлено сѣверное сіяніе:

Лицо свое скрываетъ день:
Поля покрыла темна ночь,
Взошла на горы мрачна тѣнь;
Лучи отъ насъ склонились прочь.
Открылась бездна, звѣздъ полна;
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ дна.

Среди этого чудеснаго явленія поэтъ теряется „мысльми утомленъ“. Его мучитъ вопросъ: что тамъ въ этихъ звѣздахъ? Онъ знаетъ отвѣты ученыхъ,

..... которыхъ быстрый зракъ
Пронзаетъ въ книгу вѣчныхъ правъ,
Которымъ малый вещи знакъ
Являетъ естества уставъ.

Но они „полны сомнѣній“. И поэтъ логически заключаетъ:

Скажите жъ, коль пространенъ свѣтъ?
И что малѣйшихъ далѣ звѣздъ?
Невѣдомъ тварей вамъ конецъ:
Скажите жъ, коль великъ Творецъ!

Изъ похвальныхъ одъ Ломоносова наиболѣе характерной по формѣ и содержанію является восьмая его ода „На пресвѣтлый и все-

радостный праздник восшествія на Всероссійскій Престолъ Ея Величества Государины Императрицы Елизаветы Петровны“ (1747). Ода начинается изображеніемъ мира, „возлюбленной тишины“, и его добрыхъ слѣдствій для земледѣлія („вокругъ тебя цвѣты пестрѣютъ и класы на поляхъ желтѣютъ“) и торговли („сокровищъ полны корабли дерзаютъ въ море за тобою“). Съ этой тишиной поэтъ сравниваетъ самое Императрицу, душа которой „зефира тише и зракъ прекраснѣе рая“. Далѣе онъ говоритъ о той радости, съ которою было встрѣчено воцареніе Елизаветы, и гиперболически представляетъ достоинства послѣдней, возводя ее на степень божества. Согласно обычному приему Ломоносова, онъ переходитъ къ сравненію настоящаго съ прошедшимъ. Искусственно приподнятымъ обращеніемъ къ вселенной онъ „гласить велики имена“ и прежде всего Петра Великаго:

Ужасный чудными дѣлами
Зиждитель міра искони
Своими положилъ судьбами
Себя прославить въ наши дни;
Послалъ въ Россію человѣка,
Каковъ неслыханъ былъ отъ вѣка.

Перечисляются его дѣла, причемъ поэтъ прибѣгаетъ къ олицетворенію и оживленію: на сцену являются Марсъ, Нептунъ, смущенная Нева; „божественны науки черезъ горы, рѣки и моря, въ Россію простирали руки“. Намекается на основаніе Академіи Наукъ, но открыть ее помѣшала кончина великаго царя. Поэтъ неожиданно („Но ахъ, жестокая судьбина!“) переходитъ къ изображенію смерти Петра и общей печали:

И музы воплемъ провождали
Въ небесну дверь пресвѣтлый духъ.

Отрадою является супруга его: если бы она дольше жила, то, навѣрное, „Секвана (парижская академія) постыдилась съ своимъ искусствомъ передъ Невою (петербургской академіей)“. Послѣдующія царствованія пройдены молчаніемъ. Горестный Парнасъ прояснѣлъ снова со вступленіемъ на престолъ Елизаветы.

Великая Петрова Дщерь
Щедроты отчи превышаетъ,
Довольство Музъ усугубляетъ
И къ счастью отверзаетъ дверь.

Счастье народа Ломоносовъ видѣлъ всегда въ просвѣщеніи, а для его развитія нуженъ миръ. Вотъ почему Ломоносовъ „славу мира“ ставитъ выше „славы войны“. Въ рядѣ строфъ авторъ показываетъ, сколько работы предстоитъ наукѣ въ Россіи и какое благо она можетъ принести странѣ. Высокія горы, широкія поля, большія рѣки, непроходимые лѣса скрываютъ въ себѣ богатства. Требуются только „руки, утвержденныя искусствомъ“. Здѣсь авторъ обращается къ другой своей излюбленной темѣ — необходимости привлеченія русскихъ людей къ наукѣ. Русское національное самолюбіе не мало страдало при преемникахъ Петра Великаго. Новое царствованіе положило, казалось, конецъ торжеству нѣмецкой партіи. Наступали болѣе благопріятныя времена для русскихъ людей. И Ломоносовъ патріотически восклицаетъ:

О вы, которыхъ ожидаетъ
Отечество отъ нѣдръ своихъ,
И видѣтъ таковыхъ желаетъ,
Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте нынѣ ободренны
Раченьемъ вашимъ показать,
Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать.

Затѣмъ слѣдующая строфа, начинающаяся словами:

Науки юношей питаютъ...

заимствована изъ рѣчей Цицерона („pro Archia poeta“). Оканчивается ода снова обращеніемъ къ Елизаветѣ, прославленіемъ мира и пожеланіемъ многая лѣта.

По своей формѣ, эта ода отвѣчаетъ всеѣмъ требованіямъ „классицизма“: „лира восхищенна“, „пѣніе похвалъ“, образы изъ классической мифологіи, разные риторическіе эффекты и преувеличенія, дѣленіе на части, со вступленіемъ и заключеніемъ, лирическій беспорядокъ и неожиданныя восклицанія, долженствовавшія показать, что поэтъ не можетъ совладать съ своимъ чувствомъ. Но при этомъ, сильный, звучный и гармоничный стихъ, поэтическіе образы безпредѣльной Россіи, картины природы. Если классическая форма, которую къ намъ переносилъ Ломоносовъ съ Запада, и была „ложная“, то самый стихъ былъ его большою заслугой въ исторіи русской литературы: недаромъ нѣкоторые съ Ломоносова начинаютъ „новый“ періодъ.

По своему содержанію, эта ода отражаетъ главную страсть великой души Ломоносова — любовь къ наукѣ и къ Россіи. Этими чувствами объясняется и отношеніе его къ Петру Великому и къ Елизаветѣ. Если „щедроты“ послѣдней для науки и не были еще велики, то, можетъ быть, своими похвалами, иногда чрезмѣрными, онъ надѣялся вызвать ея заботы о томъ, что необходимо всего было для Россіи.

А. П. Сумароковъ (1718—1777).

Биографія. Литературная дѣятельность.

Александръ Петровичъ Сумароковъ, сынъ представителя старой боярской фамиліи, крестника и искренняго сторонника Петра Великаго, родился въ 1718 году въ Финляндіи, близъ Вильманстранда. Первое образованіе онъ получилъ дома, подъ наблюденіемъ просвѣщеннаго отца и приглашеннаго имъ иностранца Зейкена. 14 лѣтъ его отдали въ Сухопутный Шляхетный Корпусъ, только что устроенный Минихомъ по прусскому образцу. Здѣсь Сумароковъ познакомился съ иностранными языками, съ нѣкоторыми науками, отчасти съ французскою литературою; въ досужные часы перелагалъ псалмы, писалъ, по образцу французскихъ поэтовъ и нашего Тредьяковскаго, любовныя пѣсни и оды

и читаль ихъ на особыхъ литературныхъ собраніяхъ воспитанниковъ корпуса, изъ которыхъ впоследствии сложилось „общество любителей російской словесности“. Нѣкоторыя пѣсни Сумарокова имѣли такой успѣхъ, что были переложены на ноты и распѣвались „знатными дамами и господами“. Къ этому же времени относятся и первые драматическіе опыты Сумарокова, подѣ впечатлѣніемъ театральныхъ представленій при дворѣ. По окончаніи корпуса, Сумароковъ поступилъ въ военную службу сперва при канцеляріи гр. Миниха, а затѣмъ у гр. Головкина и гр. Разумовскаго, приобрѣлъ много знакомствъ въ „свѣтѣ“, но, дослужившись до бригадирскаго чина, вышелъ въ отставку и отдался всецѣло литературнымъ занятіямъ. Талантъ Сумарокова былъ разносторонній, но не глубокій. Самолюбіе у него было большое, отсюда и раздражительность противъ соперниковъ, нетерпимость и „обида“, которыя, по своей слабости, онъ заливалъ виномъ. Умеръ онъ въ 1777 году.

Съ именемъ Сумарокова соединяется основаніе русскаго театра, за что его и называли въ свое время „отцомъ російскаго театра“, русская трагедія, по французскому образцу Расина и Вольтера, и сатира во всевозможныхъ формахъ.

Въ царствованіе Елизаветы отдѣльнаго театра для русскихъ представленій не было: пьесы ставились при дворѣ, въ кадетскомъ корпусѣ. Первый отдѣльный театръ появился въ Ярославлѣ, по инициативѣ купеческой молодежи, во главѣ съ Волковымъ. Про эти представленія узнали въ столицѣ, вытребовали лучшихъ актеровъ—самого Волкова, Дмитревскаго, Шумскаго и Попова—помѣстили ихъ, для обученія иностраннымъ языкамъ и словесности, въ Кадетскій Корпусъ, а затѣмъ въ 1756 году былъ открытъ въ Петербургѣ постоянный русскій театръ. Директоромъ его былъ назначенъ Сумароковъ. Въ его обязанности входило—наблюдать за актерами, ставить пьесы и сочинять ихъ. Въ теченіе пяти лѣтъ Сумароковъ усердно трудился въ новомъ дѣлѣ. Онъ старался возвысить званіе актеровъ, бывшее тогда еще въ презрѣніи, и выхлопоталъ для нихъ право носить шпагу—дворянское отличіе; онъ слѣдилъ за развитіемъ талантовъ и всячески имъ содѣйствовалъ; сочинялъ трагедіи и комедіи.

По формѣ, драматическія произведенія Сумарокова, особенно

трагедіи, принадлежатъ къ т. н. „пожноклассической“ школѣ: тѣ же пять дѣйствій, подраздѣленныхъ на множество явленій, строгое соблюденіе трехъ единствъ, эпическіе рассказы вѣстниковъ и лирическія изліянія наперсниковъ и наперсницъ, заимствование сюжета непременно изъ героическихъ временъ, причемъ, однако, мысли и чувства отзываютъ современностью автора, сосредоточеніе всего дѣйствія на одной господствующей страсти и, наконецъ,—высокій слогъ.

Лучшими трагедіями Сумарокова у современниковъ считались „Хоревъ“, „Синавъ и Труворъ“, „Семира“ (изъ временъ Олега), „Дмитрій Самозванецъ“ и „Мстиславъ“. Лишенная исторической правды и психологической занимательности, эти блѣдныя снимки съ чужихъ образцовъ нравились однако идеализаціей характеровъ и страстей, торжественностью монологовъ, внѣшними эффектами и сентенціями о любви къ отечеству, о царскомъ долгѣ, объ общественныхъ интересахъ, о пользѣ наукъ, о значеніи добродѣтели и т. п.; все это было, конечно, „общимъ мѣстомъ“, но гдѣ преобладали личные интересы, тамъ такая проповѣдь не была излишней. Для образца трагедій „россійскаго Расина“ достаточно познакомиться съ содержаніемъ первой трагедіи Сумарокова—„Хоревомъ“. Дѣйствіе происходитъ въ Кіевѣ, въ баснословныя времена правленія Кія „князя россійскаго“. Въ первомъ дѣйствіи уже опредѣляются положенія дѣйствующихъ лицъ. Оснельда, дочь прежняго „князя Кіева града Завлоха“, плѣнница Кія, узнаетъ отъ мамки—наперсницы, что къ городу подступилъ Завлохъ и

носитя молва по здѣшнему народу,
Что Кій, страшася бѣдствъ, даетъ тебѣ свободу.

Оснельда признается, что она и хотѣла бы идти къ отцу, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ей трудно разстаться съ Хоревомъ, братомъ Кія, милымъ ея сердцу. „Онъ Кію братъ, увы... а мнѣ, Астрада, милъ“... Приходитъ Хоревъ, и изъ его рѣчей мы узнаемъ о такомъ же раздвоеніи чувства: онъ долженъ идти на врага и не можетъ этого сдѣлать, потому что любить дочь этого врага. Второе дѣйствіе занято разговоромъ Кія съ бояриномъ Сталверхомъ, который, раскрывъ тайну любви Оснельды и Хорева, предостерегаетъ

князя насчетъ вѣрности Хорева. Послѣдній еще болѣе укрѣпляетъ въ душѣ Кіа подозрительность своими совѣтами прекратить войну. Въ третьемъ дѣйствіи Оснельда получаетъ отъ отца письмо, съ запрещеніемъ любить Хорева. Въ отчаяніи она хочетъ лишиться себя жизни, но ее удерживаетъ мамка. О содержаніи письма узнаетъ Хоревъ. Онъ тоже испытываетъ муки любви, но долгъ побѣждаетъ—онъ идетъ въ бой. Въ четвертомъ дѣйствіи коварный Сталверхъ снова нашептываетъ Кію объ измѣнѣ Оснельды; тотъ вѣритъ и заключаетъ Оснельду въ темницу и велитъ подать ей кубокъ съ ядомъ. Въ пятомъ дѣйствіи рѣшается судьба всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Хоревъ побѣдилъ Завлоха и тѣмъ доказалъ свою невинность. Кіи приказываетъ освободить Оснельду, но посланный застаётъ ее уже мертвой. Сталверхъ, увидя свои замыслы открытыми, кончаетъ самоубійствомъ. Хоревъ, лишившись Оснельды, послѣдовалъ за ней и закололся.

Комедіи Сумарокова могутъ быть названы скорѣе сатирой: въ нихъ нѣтъ художественныхъ „типовъ“, есть только обличительныя рѣчи и замѣчанія дѣйствующихъ лицъ, въ родѣ: „Вѣмъ, Господи, яко плутъ и бездушенъ есмь, и не имѣю ни къ Тебѣ, ни къ ближнему ни малѣйшія любви“ и т. п. Лучшими комедіями Сумарокова считаются „Опекунь“ и „Лихоимецъ“—и тѣ по формѣ и сюжету близко подходятъ къ комедіямъ Мольера: главное лицо въ первой комедіи Чужехватъ списанъ съ Тартюфа, а „скарденный лихоимецъ“ Кащей близко напоминаетъ Гарпагона (комедія Мольера „Скупой“). Цѣль комедій, по опредѣленію Сумарокова, „издѣвкой править нравъ, смѣшнить и пользоваться прямой ея уставъ“. Осмѣиваются злоупотребленія, причемъ особенно достается „крапивному сѣмени“, „хамову отродью“, какъ онъ называлъ подьячихъ и судей, за ихъ лицепріятіе, взяточничество, казнокрадство; изображается невѣжество—старое и новое („модницы и франты“); высказываются иногда очень либеральныя мысли и объ отношеніи сословій и о „несносной дворянской гордости“. Изъ другихъ формъ сатиры Сумарокова можно назвать его пѣсни и басни. Рисуя въ стихахъ для одного хора (къ превратному свѣту) заморскіе порядки, авторъ подчеркиваетъ: „съ крестьянъ тамъ кожи не сдираютъ, деревень на карты тамъ не

ставять“, хотя настоящаго протеста противъ крѣпостного права у него нѣтъ. Басни Сумарокова не отличаются художественными достоинствами, но даютъ картину „правовъ“; изображая отсутствіе правды, ябедничество, казнокрадство, невѣжество, грубость и болѣе частныя явленія.

Значеніе Сумарокова заключается въ болѣе живомъ языкѣ, особенно въ комедіи и сатирѣ, и въ тѣхъ идеалахъ, которые выработались на западѣ, были перенесены имъ на русскую почву и стали основой воспитанія для слѣдующаго поколѣнія писателей.

Екатерининская эпоха.

Европейское просвѣщеніе XVIII в. и его представители. „Вольтерьянство“ въ Россіи.

Непосредственное общеніе Россіи съ Западной Европой, получившее такой толчокъ при Петрѣ Великомъ, не только не прекратилось съ его смертію, но, несмотря на разныя неблагопріятныя условія, продолжало развиваться, обогащая и оплодотворяя русскую литературу освободительными идеями и тѣмъ содѣйствуя перевоспитанію общественному.

Западная Европа переживала въ то время одну изъ рѣдкихъ въ исторіи человѣчества эпохъ по богатству мыслей во всѣхъ областяхъ человѣческаго знанія и жизни. „Просвѣщеніе“ XVIII вѣка служило какъ бы расширеннымъ продолженіемъ „Эпохи Возрожденія“. Та же необыкновенная разносторонность умовъ, горячій энтузіазмъ въ борьбѣ съ застоявшейся мыслью, стремленіе къ свободѣ. Новое умственное движеніе, возникши въ Англіи, гдѣ для этого было болѣе благопріятныхъ условій, нашло всюду въ Европѣ болѣе или менѣе готовую почву для своего развитія. Но особая заслуга въ развитіи и распространеніи „просвѣщенія“ остается за Франціей. Англичане стояли на слишкомъ еще отвлеченной высотѣ, недоступной массамъ. Французы, благодаря подвижности своей натуры, воспримчивости, особымъ условіямъ своей культуры, напимѣръ, свѣтскости, любви къ краснорѣчію и т. п., явились главными посредниками въ международномъ идейномъ общеніи. Пусть, какъ говорятъ нѣкоторые историки, мало оригинальности во французской „философіи“ XVIII вѣка, нѣтъ твердыхъ научныхъ основъ, а самые-де представители этой философіи—мелкія и слабыя натуры, безъ творческаго гения, открывающаго новые законы, безъ глубокой любви къ истинѣ,

заставляющей непрерывно и сосредоточенно мыслить, наконецъ, безъ того нравственнаго героизма, который исключаетъ тщеславіе, неискренность, корыстолюбіе, распущенность и т. п. Пусть все это и многое другое будетъ справедливо, все-таки заслуга французскихъ философовъ-просвѣтителей неизмѣрима въ пробужденіи интереса къ общественнымъ вопросамъ и къ улучшенію всѣхъ сторонъ жизни. Нельзя винить ихъ за то, что они носятъ черты всѣхъ проповѣдниковъ извѣстной идеи. Они вѣрятъ въ разумъ, долженствующій охватить, разсудить и устроить міръ; они часто не знаютъ мѣры въ отрицаніи, какъ раньше, можетъ быть, не знали мѣры въ преклоненіи передъ извѣстными порядками; они повторяются и вполне сознательно: „буду повторяться—говоритъ Вольтеръ—пока міръ не исправится“; наконецъ, они не для себя прежде всего читаютъ, размышляютъ, пишутъ, а для общества, для блага человѣчества. Философія превращается въ своего рода патріотическую проповѣдь. Вначалѣ эта проповѣдь была невиннымъ салоннымъ разговоромъ. „Все казалось тогда такимъ невиннымъ въ этой философіи, которая оставалась замкнутою въ сферѣ чистыхъ умозрѣній и въ самыхъ смѣлыхъ своихъ выходкахъ никогда не искала ничего другого, кромѣ мирнаго упражненія ума“ (Морелле). Но по мѣрѣ распространенія разными путями (книга, театръ и т. д.) все въ низшіе и низшіе слои населенія, гдѣ иго „старога режима“ реально чувствовалось, эта философія пріобрѣтала боевой характеръ и, формулировавъ народныя стремленія, явилась предвѣстницей великой революціи.

Первые и самые тяжелые удары выпали на долю религіи. Теологическая точка зрѣнія, изгонявшая природу и дѣйствительность, была объявлена несостоятельной. Всѣ болѣе или менѣе видные вожди XVIII вѣка занимаются физикой и естествознаніемъ и въ человѣческой исторіи видятъ такую же естественную вещь, какъ и во всякой другой. Не могло не возмущать „разумъ“ философовъ XVIII вѣка и то обстоятельство, что католическая церковь все еще продолжала играть могущественную роль въ свѣтскихъ дѣлахъ. Всякая положительная религія была объявлена суевѣріемъ. Духовенство вызывало ненависть и насмѣшки. Взамѣнъ прежней церкви болѣе послѣдовательные поставили

разумъ и природу (матеріалисты, атеисты); другіе избрали „простую и разумную религію“—деизмъ, съ чистымъ обожаніемъ Верховнаго Существа, которое гдѣ-то внѣ міра и надъ міромъ и не вмѣшивается въ человѣческія дѣла; третьи дѣлали еще уступки преданію, признавая, изъ соображеній нравственнаго характера, какое-то потустороннее возмездіе.

Одновременно съ требованіями реформы религіи и церкви, измѣнялись и взгляды на нравственность и семейныя отношенія, на самое воспитаніе подрастающихъ поколѣній. Въ этой области философами XVIII вѣка высказано особенно много гуманныхъ идей, не утратившихъ своего значенія и въ настоящее время. Человѣкъ, его природа—мѣра вещей. Онъ самъ творецъ собственного достоинства. Отсюда—защита личной и общественной свободы, равноправіе половъ, уваженіе къ низшимъ классамъ, бѣднякамъ и несчастнымъ. Предметъ воспитанія—„человѣкъ“ съ его разнообразными способностями; путь—упрощенное наглядное обученіе, ближе къ природѣ, съ возможно большимъ предоставленіемъ воспитываемому самостоятельности и самодѣятельности.

Настала очередь и за реформой государства: во второй половинѣ XVIII вѣка во Франціи всѣ занялись политикой, салоны превратились въ маленькіе генеральные штаты, у всѣхъ на языкѣ: свобода и равенство, восхваленіе древнихъ республикъ, проповѣдь новыхъ общественныхъ порядковъ, основанныхъ на договорѣ короля съ націей, на справедливости, законахъ, на развитіи мирныхъ подвиговъ; и при этомъ жестокая критика всякихъ злоупотребленій. „Сломайте плотины—созданія тираніи и рутины—и освобожденная природа пойдетъ снова своей прямой и здоровой походкой, и человѣкъ окажется, безъ всякихъ усилий съ его стороны, не только счастливымъ, но и добродѣтельнымъ“, говорили „философы“. Такимъ образомъ, всѣ прежніе авторитеты—религіи, нравственности и обычаевъ, государства—были низвержены господствующей философіей вѣка и на мѣсто ихъ водворились новые принципы: разума, человѣческой природы и естественныхъ правъ. „Итакъ—говоритъ Кондорсе—наступить, наконецъ, такой моментъ, когда солнце освѣтитъ на землѣ лишь свободныхъ людей, не признающихъ надъ собой никакихъ другихъ повелителей, кромѣ собственного разума“.

Деспотизмъ резонирующаго разума требовалъ уничтоженія всѣхъ преданій, измѣненія всѣхъ порядковъ. вмѣсто настоящаго изслѣдованія дѣйствительности, была разрушительная атака противъ нея. Вотъ почему было мало конкретнаго и реальнаго въ просвѣтительной философіи XVIII вѣка, много „общаго“, космополитическаго. Этотъ недостатокъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ весьма благопріятнымъ для распространенія французскихъ идей въ другихъ странахъ Европы. Кромѣ того, указанное обстоятельство достаточно объясняетъ отсутствіе настоящей художественности въ литературѣ XVIII вѣка: въ лирикѣ нѣтъ поэтическаго чувства, въ драмѣ — психологической глубины; всюду разсужденіе и дидактика. Нѣкоторое исключеніе представляютъ комедіи Бомарше и романы, благодаря большей гибкости и свободѣ формы этого рода творчества.

Болѣе полное и яркое выраженіе идей XVIII вѣка во Франціи мы находимъ у Вольтера, Монтескье, Дидро и Руссо.

Вольтеръ — общепризнанный вождь вѣка, занимающій центральное мѣсто среди проповѣдниковъ новой мысли, великій насмѣшникъ, отъ проницательнаго взгляда котораго не могло укрыться ничего ложнаго. Одинаково удивительны его многосторонность, плодотворность и „ловкость“ въ популяризаціи разума. Зато и вліяніе Вольтера въ свое время неизмѣримо: онъ, дѣйствительно, былъ барометромъ общественнаго настроенія въ Европѣ и правилъ умами. Въ прозѣ и поэзіи, въ драмахъ и романахъ, въ историческихъ сочиненіяхъ и памфлетахъ, въ своей перепискѣ и другихъ видахъ творчества Вольтеръ, не стѣсняясь повтореніемъ, ведетъ борьбу съ суевѣріями и ложными предразсудками. Въ „Эдипѣ“ онъ обнаруживаетъ интриги жрецовъ; въ „Генріадѣ“ — вредъ религіозныхъ войнъ, религіознаго фанатизма католическихъ монаховъ; въ „Магометѣ“ — деспотизмъ, соединяющій въ однѣхъ рукахъ свѣтскую и духовную власть и для этого убивающій у людей свободную мысль и сознаніе личнаго достоинства; въ „Гebraхъ“ разграничиваетъ тронъ и алтарь, государство и вѣру; въ „Скиахъ“ прославляетъ простоту религіознаго культа; всюду — подъ покровомъ иностранныхъ культовъ — преслѣдуются недостатки римской церкви въ ея прошломъ и настоящемъ, вредное вліяніе духовенства на государей, кровавые

подвиги инквизиціи, іезуитскій орденъ и зло монастырей. Въ романахъ и повѣстяхъ, какъ и въ драмахъ, Вольтеръ стремится осмѣять какой-нибудь изъ господствующихъ недостатковъ и прославить разумъ, этотъ единственный свѣточъ его жизни. Вольтеръ слишкомъ хорошо видитъ всѣ несообразности и нелѣпости жизни, всю условность „культуры“, неправды церкви, государства, международныхъ отношеній (войны), чтобы „прикрашивать“ жизнь. Онъ пишетъ „Кандида“, въ которомъ столько же насмѣшки, сколько и отчаянія, безвыходности для разума, не находящаго счастья на землѣ: мотивъ для XVIII вѣка не исключительный. Можно впередъ угадать, что и историческія сочиненія Вольтера будутъ скорѣе „лѣтописью преступленій и бѣдствій“, чѣмъ свидѣтельствомъ прогресса въ человѣчествѣ. „Письма“ Вольтера приучали мыслить—и не въ однѣхъ только отвлеченныхъ сферахъ. Чтобы вполне оцѣнить Вольтера, нужно имѣть въ виду, что Вольтеръ упростилъ и популяризовалъ величайшія открытія и гипотезы цѣннаго въ научномъ отношеніи вѣка и обнаружилъ множество положительныхъ и даже техническихъ свѣдѣній.

Если Вольтеръ подрывалъ авторитетъ католической вѣры, то Монтескье нанесъ серьезный ударъ, въ сознаніи общества, старому деспотически-монархическому режиму, приведшему Францію къ войнѣ, голоду, тяжелымъ налогамъ и прочимъ бѣдствіямъ. Монтескье былъ юристомъ эпохи и въ своихъ сочиненіяхъ старался разъяснить сущность, условія и гарантіи государственнаго строя въ Англіи, введеніе котораго считалъ необходимымъ и во Франціи. Тонкій умъ Монтескье сказался и въ „Персидскихъ письмахъ“ (письма двухъ персіанъ на родину о своихъ впечатлѣніяхъ въ Парижѣ), представляющихъ сатиру на французское правительство и администрацію, какъ и на другія стороны французской жизни; и въ „Размышленіяхъ о величіи и упадкѣ римлянъ“—гдѣ Монтескье намѣренно подчеркиваетъ любовь римлянъ къ свободѣ, труду, ихъ патріотизмъ и дисциплину; и въ „Духѣ законовъ“. Въ послѣднемъ сочиненіи сосредоточено все умственное богатство Монтескье. Нѣтъ здѣсь, можетъ быть, строгой философской систематичности, но масса „политическихъ“ мыслей, по своей глубинѣ и мѣткости, сдѣлала эту книгу

настолюною для правителей, какъ самодержавныхъ, такъ и демократическихъ.

Дидро и его главные сотрудники по „Энциклопедіи“ (энциклопедисты) представляютъ уже слѣдующее за Вольтеромъ и Монтескье поколѣніе борцовъ за разумъ противъ наслѣдственныхъ предразсудковъ,—поколѣніе, которое, „какъ горячая печь, не печетъ, а сжигаетъ все, что въ нее поставятъ“. Дидро, по характеристикѣ Тэна, „вулканъ въ непрерывномъ изверженіи и переполненный черезъ край идеями всякаго порядка и всякаго рода“. Въ романахъ, драмахъ, опытахъ, комментаріяхъ и особенно въ бесѣдѣ, о которой трудно и представить по печатнымъ произведеніямъ, Дидро съ головокружительной, фейерверочной быстротой развиваетъ самыя смѣлыя идеи вѣка—атеизмъ; отрицаніе отвлеченной морали, взятой внѣ интересовъ общества; матеріализмъ, опирающійся на опытъ и наблюденія естественныхъ наукъ; и притомъ—живое сочувствіе человѣку, желаніе работать для его блага. Дидро училъ, что „человѣческая природа хороша, что міръ Божій прекрасенъ и что зло лежитъ внѣ человѣческой природы и Божьяго міра, что зло есть послѣдствіе дурного образованія и дурныхъ учреждений“.

Дидро былъ душою „Энциклопедіи“ (Dictionnaire Encyclopédique), этой „грозной машины, воздвигнутой противъ духа, вѣрованій и учреждений прошлаго“; былъ душою общества, которое, по обвинительному акту, „составилось съ цѣлью поддерживать матеріализмъ, разрушать религію, внушать независимость и питать развращенность нравовъ“. „Старому режиму“ была опасна „Энциклопедія“, въ цѣломъ рядъ статей обнаружившая злоупотребленія всякаго рода: тираническую колоніальную систему управленія и гнусную торговлю невольниками, безразсудство, разорительность и безчеловѣчіе господствовавшей системы налоговъ, продажный судъ и жестокое уголовное законодательство, феодальныя привилегіи и пр. пр.

Руссо—„женевскій гражданинъ“, идеализировавшій швейцарскую свободу и кое-что унаслѣдовавшій отъ фанатизма Кальвина; „полупомѣшанный мудрецъ“, по выраженію Карлейля,—опрокинулъ міръ съ противоположной матеріалистамъ точки зрѣнія. Онъ исходитъ изъ впечатлѣній личной жизни, требованій

своего сердца. Наравнѣ съ разумомъ заявляетъ свои права чувство, это главное оружіе Руссо противъ современнаго состоянія религіи, воспитанія, обычаевъ, государственныхъ порядковъ. Ученіе Руссо увлекаетъ лиризмомъ изложенія, искренняго и съ темпераментомъ; смѣлыми нападками на плоды человѣческой „культуры“; радикализмомъ политико-соціального построения. Основная мысль Руссо: „природа создала человѣка счастливымъ и добрымъ, но общество развращаетъ его и дѣлаетъ несчастнымъ“, „общество и природа „относятся какъ зло къ добру“, „надо вернуться къ природѣ“, „вернуть человѣку доброту, свободу и счастье первобытнаго человѣка“. Давъ жестокою критику общества и неравенства, какъ основного зла, Руссо сдѣлалъ попытку теоретическаго построения новаго міра: „Эмиль“ сталъ евангеліемъ воспитанія, „Общественный договоръ“—основой новѣйшей демократіи. Руссо утвердилъ права природы и естественныхъ условій жизни въ дѣлѣ воспитанія противъ искусственности и безпредметности схоластическаго образованія. Возродивъ такимъ образомъ человѣка, Руссо вводитъ его въ семью, не въ „модную“ семью, а гдѣ есть дѣйствительно сердечный союзъ всѣхъ ея членовъ. Наконецъ, онъ дѣлаетъ человѣка и семьянина гражданиномъ свободнаго государства, направляемаго общей волей, безъ всякихъ посредниковъ, единственно на основаніи договора. Отсюда требованіе равенства, всеобщаго голосованія, борьба съ собственностью и другія черты послѣдующаго социализма. Было въ ученіи Руссо много утопическаго и несостоятельнаго (особенно въ ученіи о государствѣ), противорѣчиваго и недостаточно продуманнаго (напримѣръ, проповѣдь самодѣятельности въ воспитаніи рядомъ съ продолжительной опекой воспитателя Эмиля и пассивностью послѣдняго), даже нелѣпаго (извѣстно изреченіе Руссо: „человѣкъ, который размышляетъ, существо развращенное“), но, въ конечномъ счетѣ—движеніе, вызванное Руссо въ литературѣ и обществѣ, какъ и другими философами XVIII вѣка, несмотря на всѣ ихъ недостатки, было плодотворно для человѣчества, и распространеніе этихъ идей въ Россіи было больше добромъ, нежели зломъ.

Доказательствъ увлеченія въ Россіи французскими философами XVIII вѣка можно бы привести не мало. Княгиня Дашкова въ „запискахъ“ говоритъ, что до 15-ти лѣтняго возраста она

уже прочла сочиненія Бейля, Вольтера, Монтескье, Гельвеція, что книгу послѣдняго „О духѣ“ она прочитала два раза, чтобы глубже вникнуть въ смыслъ ея философіи. Также охотно читаль „Вольтеровы насмѣшки“, „Руссовы опроверженія“, „Систему природы“ Гольбаха и И. В. Лопухинъ. Русскіе вельможи, бывая за границей, посѣщали французскихъ философовъ (А. М. Бѣлосельскій у Вольтера) или предлагали имъ свои помѣстья въ Россіи (графы Орловы, Григорій и Владиміръ, К. Г. Разумовскій). Понятно, какъ увлекалась новыми идеями русская молодежь, учившаяся за границей (Ушаковъ, Радищевъ, Кутузовъ и другіе „лейпцигскіе студенты“). Дома читали французскихъ философовъ въ оригиналахъ (въ рѣдкой дворянской библіотекѣ не было французскихъ книгъ) и въ переводахъ. Тамбовскій помѣщикъ Рахманиновъ переводилъ и печаталъ сочиненія Вольтера въ своей типографіи; директоръ казанской гимназіи Вревкинъ собирался переводить „Энциклопедію“; переводческой дѣятельностью занимались Харламовъ, Башиловъ, Тузовъ, Козельскій. Въ силу безотчетнаго увлеченія, иногда не знали, что переводить, и на ряду съ крупнымъ пускали въ обращеніе ничтожное и случайное. Кромѣ переводовъ пѣликомъ, изъ французскихъ писателей дѣлались извлеченія и сборники подъ заглавіемъ: „Духъ Вольтера“, „Духъ Руссо“, „Духъ Гельвеція“. На мысляхъ французскихъ философовъ воспитывались даже кадеты; онѣ были предметомъ разговоровъ и разсужденій въ обществѣ; по Монтескье читали лекціи въ Московскомъ университетѣ; наконецъ, отраженіе идей вѣка мы находимъ въ нашей литературѣ; даже писатели такъ называемаго національно-самобытнаго направленія идутъ путемъ обрусенія иноземныхъ образцовъ философіи и литературы. Мотивы увлеченія русскихъ европейскими идеями и результаты его такъ изображаются историкомъ Соловьевымъ: „Въ однихъ вліяніе прочитаннаго не было сильно; знакомство съ литературою служило имъ для внѣшнихъ только цѣлей, для наведенія лоска; обычное въ переходныя времена двувѣріе, поклоненіе новымъ богамъ, безъ покинутія старыхъ, видимъ и здѣсь; въ другихъ, отрицательное направленіе модной французской литературы поколебало религіозныя и нравственныя убѣжденія; въ третьихъ, произошла борьба, окончив-

шаяся рано или поздно торжествомъ религіозныхъ убѣжденій; четвертые съ наслажденіемъ читали блестящія остроуміемъ произведенія отрицательной литературы, не слѣпо имъ вѣрили, но находили много правды и успокаивались тѣмъ, что отрицалось не свое, а чужое, нападки сыпались на католицизмъ, католическое духовенство. Наконецъ, какъ обыкновенно бываетъ, при господствѣ извѣстнаго направленія, переходящемъ большею частію въ деспотизмъ и употребляющемъ своего рода терроръ, мало находится людей, которые бы прямо высказали свои убѣжденія, свое неодобреніе господствующему направленію, неодобреніе тому или другому его представителю; такъ и въ Россіи въ описываемое время люди и несочувствующие, напримѣръ, Гельвецію, съ уваженіемъ отзывались о его книгѣ; не хотѣлось явиться обскурантомъ, казалось, что, давши неодобрительный отзывъ о знаменитой книгѣ, тѣмъ самымъ дѣлають выходку вообще противъ просвѣщенія“. Больше всего у насъ увлекались Вольтеромъ (его сочиненія даже списывались въ рукописи), благодаря его способности говорить обо всемъ и легко и остроумно. Для тогдашняго русскаго общества, при его малой просвѣщенности, больше всего подходила популярная философія, произносящая часто свои рѣшенія а priori. Привлекала въ немъ наше дворянство, занятое удовольствіями и забавами, и значительная приправа непристойности. О практическихъ результатахъ извѣстнаго ученія думали мало и, несмотря на призывъ философовъ „все уничтожить и вновь сдѣлать“, продолжало господствовать рабство народныхъ массъ, невѣжество и злоупотребленія. Между идеями и дѣйствительностью было безмѣрное разстояніе и его не спѣшили заполнять, а когда нѣкоторые поставили вопросъ болѣе рѣзко, большинство объявило „реакцію“. Подобнаго рода „вольнодумство“ общества (рѣчь идетъ не объ отдѣльных лицахъ) не безъ основанія называется „вольтеріанствомъ“. Это не настоящій атеизмъ, матеріализмъ, политическій радикализмъ, а легкое насмѣшливое отношеніе ко всѣмъ самымъ тревожнымъ и существеннымъ вопросамъ человѣческой природы, нравственности и общественной жизни. Нѣкоторая польза, впрочемъ, была и отъ этого „вольтеріанства“: стали менѣе нетерпимы въ религіи, менѣе легковѣрны въ наукѣ и менѣе довѣрчивы въ политикѣ.

Литературная дѣятельность Императрицы Екатерины II.

Наказъ, педагогическіе труды, сказки, публицистика, комедіи.

Выдающуюся роль въ распространеніи европейскаго просвѣщенія въ Россіи второй половины XVIII вѣка сыграла императрица Екатерина II какъ по своему положенію, такъ и по таланту.

Французскіе философы XVIII вѣка много надѣялись на властителей въ распространеніи просвѣщенія. „Философія,—говорилъ Д. 'Аламберъ,—избѣгая блеска и парада, имѣетъ полное право на уваженіе людей, какъ ихъ просвѣтительница. Простота и скромность запрещаютъ ей цѣнить самое себя: пусть эту услугу окажутъ ей, или, вѣрнѣе, цѣлому свѣту властители народовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что разумъ, несмотря на всѣ препятствія, восторжествуетъ рано или поздно: обязанность царственного покровительства—ускорить моментъ торжества. Величайшее счастье народа состоитъ въ томъ, чтобы тѣ, которые имъ управляютъ, пребывали въ согласіи съ тѣми, которые его просвѣщаютъ“. Екатерина II отчасти въ законодательной и особенно въ литературной дѣятельности старалась быть въ согласіи съ философами, и если не все выходило у нея такъ, какъ ей совѣтовали, вина лежитъ въ условіяхъ русской жизни и въ личномъ характерѣ императрицы-философки. „Господинъ Дидро, — признается сама Екатерина,—я съ большимъ удовольствіемъ слушала все, что вы говорили мнѣ по внушенію вашего блестящаго ума; но со всѣми вашими великими началами, которыя я понимаю отлично, хорошо писать книги, а плохо дѣйствовать. Во всѣхъ своихъ планахъ преобразованій вы забываете различіе нашихъ положеній. Вы имѣете дѣло съ бумагой, которая все терпитъ: она гладка, послушна вамъ и не представляетъ препятствій ни воображенію, ни перу вашему; между тѣмъ какъ я, бѣдная императрица, имѣю дѣло съ людьми, которые чувствительнѣе и щекотливѣе бумаги“. Эти слова были сказаны Екатериной, когда она уже начинала разочаровываться въ практическомъ приложеніи философскихъ идей; позже она еще дальше пойдетъ и станетъ прямо во вра-

жадебное отношеніе къ освободительному движенію; но въ началѣ царствованія она „не лишена чувства восхищенія произведеніями генія“, „сочиненія Вольтера пріучаютъ ее мыслить“, она, какъ дочь своего вѣка, зачитывается философами: „книга Монтескье, — говоритъ она, — мой молитвенникъ“. У нея „республиканская душа“ или „душа Брута съ чарами Клеопатры“ (по выраженію Дидро). „Свобода—душа всѣхъ вещей. Безъ тебя все мертво“ — заноситъ она въ свои записки. Несмотря на то, что точка зрѣнія Екатерины II мѣнялась, она всю жизнь интересовалась европейской мыслью, вела дѣятельную переписку съ философами, приглашала ихъ въ Россію, оказывала имъ немалую матеріальную поддержку и, какъ казалось въ началѣ, искренне хотѣла примѣнить результаты философской и политической мысли XVIII вѣка къ устройству русской жизни, сдѣлавъ, конечно, какъ пчела, извѣстный выборъ.

Литературная дѣятельность Екатерины служить тому доказательствомъ: въ ней императрица видитъ часть своей государственной службы. „Ея разсудокъ и человѣколюбіе“ отражаются прежде всего въ Наказѣ, который представляетъ нѣчто среднее между памятникомъ чисто литературнымъ и законодательнымъ. Онъ былъ составленъ въ руководство комиссіи, учрежденной въ 1766 году для созданія новаго уложенія. Правда, въ этомъ Наказѣ она „обобрала“ Монтескье (почти половина статей Наказа является переводомъ изъ „Духа законовъ“), Беккариа („о преступленіяхъ и наказаніяхъ“), Вольтера и прочихъ философовъ (въ общемъ, изъ числа 507 статей, содержащихся въ первыхъ 20 главахъ, заимствовано 407; а по объему заимствовано не менѣе четырехъ пятыхъ); этому изложенію вѣры императрицы недостаетъ единства общей идеи, ясности отдѣльныхъ положеній, что заставляетъ предполагать въ императрицѣ нѣкоторую двойственность; тѣмъ не менѣе, Наказъ вводилъ въ общественное сознаніе (не въ практику еще) цѣлый рядъ гуманныхъ идей и взглядовъ передовыхъ людей того времени. Какъ бы девизомъ новаго строя является человѣколюбіе. „Всякъ долженъ самому себѣ сказать: я человѣкъ; ничего, чему подвержено человѣчество, я чуждымъ себя не почитаю“. „Человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, владѣлецъ или земледѣлатель, руководѣльникъ или торго-

вещь, праздный хлѣбоядца или прилежаніемъ и раченіемъ своимъ подающій къ тому способы, управляющій или управляемый—все есть человѣкъ“. „Несчастливо то правленіе, въ которомъ принуждены устанавливать жестокіе законы“. „Приложить должно болѣе старанія къ тому, чтобы вселить узаконеніями добрые нравы въ гражданъ, нежели привести духъ ихъ въ уныніе казнями“. „Искусство научаетъ насъ, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ кроткія наказанія, сердца гражданъ оными столько же поражаются, какъ въ другихъ мѣстахъ жестокими“. „Петръ I узаконилъ въ 1722 году, чтобы безумные и подданныхъ своихъ мучащіе были подъ смотрѣніемъ опекуновъ. Въ первой статьѣ сего указа чинится исполненіе, а послѣдняя для чего безъ дѣйства осталася, неизвѣстно“. Гуманность подсказывала и осужденіе рабства какъ учрежденія, и уничтоженіе жестокихъ и нелѣпыхъ пытокъ, и провозглашеніе свободы слова (различіе преступныхъ дѣйствій отъ словъ) и свободы совѣсти. „Въ толь великомъ государствѣ, распространяющемъ свое владѣніе надъ толь многими разными народами, весьма бы вредный для спокойствія и безопасности своихъ гражданъ былъ порокъ—запрещеніе или недозволеніе ихъ различныхъ вѣръ“. „И нѣтъ подлинно иного средства кромѣ разумнаго, иныхъ законовъ дозволенія, православною нашею вѣрою и политикою не отвергаемаго, которымъ бы можно всѣхъ сихъ заблудшихъ овецъ паки привести къ истинному вѣрныхъ стаду“. „Гоненіе человѣческіе умы раздражаетъ, а дозволеніе вѣрить по своему закону умягчаетъ и самыя жестоковѣйныя сердца, и отводитъ ихъ отъ заматерѣлаго упорства, утушая споры ихъ, противные тишинѣ государства и соединенію гражданъ“. Признавъ драгоцѣннѣйшія права личности, императрица хотѣла установить и отношенія между властью и населеніемъ на живомъ началѣ взаимнаго довѣрія, а общій порядокъ—на закономѣрномъ повиновеніи. „Государственная вольность въ гражданахъ есть спокойствіе духа, происходящее отъ мнѣнія, что всякъ изъ нихъ собственною наслаждается безопасностью; а чтобы люди имѣли сію вольность, едлежитъ быть закону такому, чтобы одинъ гражданинъ не могъ бояться другого, а боялись бы всѣ однихъ законовъ“. Общая задача монархіи—народное благо и главное—распространеніе просвѣщенія и приведеніе въ совершенство воспитанія. Въ „Наказѣ“ есть цѣлая

глава, специально посвященная вопросу о воспитаніи, которымъ въ XVIII вѣкѣ были заняты не только у насъ, но и за границей. „Правила воспитанія суть первыя основанія, приуготовляющія насъ быть гражданами“. „Должно вселять въ юношество страхъ Божій, утверждать сердце ихъ въ похвальныхъ склонностяхъ и приучать ихъ къ основательнымъ и приличествующимъ состоянію ихъ правиламъ; возбуждати въ нихъ охоту къ трудолюбію и чтобы они страшилися праздности, какъ источника всякаго зла и заблужденія, научати пристойному въ дѣлахъ ихъ и разговорахъ поведенію, учтивости, благопристойности, соболѣзнованію о бѣдныхъ, несчастливыхъ и отвращенію отъ всякихъ продерзостей; обучать ихъ домостроительству во всѣхъ онаго подробностяхъ и сколько въ ономъ есть полезнаго; отвращать ихъ отъ мотовства; особливо же вкореняти въ нихъ собственную склонность къ опрятности и чистотѣ, какъ на самихъ себѣ, такъ и на принадлежащихъ къ нимъ: однимъ словомъ, всѣмъ тѣмъ добродѣтелямъ и качествамъ, кои принадлежатъ къ доброму воспитанію, которыми въ свое время могутъ они быть прямыми гражданами, полезными общества членами и служить оному украшеніемъ“. Вопросъ о воспитаніи, важный и основной, не оставлялъ Екатерину II и послѣ изданія Наказа.

Какъ въ философіи и политикѣ, такъ и въ своихъ педагогическихъ взглядахъ Екатерина II шла за Западомъ и проводила идеи Монтеня, Локка, Руссо, Базедова и другихъ. Практическому профессиональному образованію въ духѣ Петра Великаго теперь противопоставляется новое воспитаніе, которое должно было создать новую породу людей. Для этого устраиваются „воспитательныя училища для обоего пола дѣтей“, Бецкому поручается составленіе всякихъ докладовъ и проектов („Докладъ императрицѣ о воспитаніи юношества обоего пола“, „Проектъ или планъ воспитательнаго дома въ Москвѣ“), выписываются учителя изъ за границы (Янковичъ де Миріево), наконецъ, сама императрица, кромѣ приведенной выше статьи изъ Наказа, пишетъ, съ частной цѣлью (для руководства при воспитаніи внуковъ), но общаго характера, „Инструкцію“ Н. И. Салтыкову. Задача воспитанія кратко формулируется: „здоровое тѣло и умонаклоненіе къ добру“. Для перваго нужны—простота, умѣренность во всемъ (одежда, пища,

сонъ, движенія), трудъ; „умонаклоненіе къ добру“ заключается въ развитіи нравственныхъ качествъ—доброе сердце, тихій нравъ, учтивость въ обхожденіи, снисхожденіе ко всѣмъ людямъ... „чтобы вкоренялась въ душахъ справедливость, которая состоитъ въ томъ, чтобы не дѣлать законами запрещеннаго, въ любви къ истинѣ, въ щедрости, въ воздержаніи, въ умѣ, основанномъ на размышленіи, въ здоровомъ о вещахъ понятіи и разсужденіи, совокупленномъ съ трудолюбіемъ“. Такое „умонаклоненіе къ добру“, согласно съ идеями вѣка, ставится выше знанія: сперва нужно вкоренить „добродѣтели и добронравіе“, а „прочее прійдетъ ко времени“; „качество разума не занимаетъ первой степени въ достоинствахъ человѣческихъ; оно украшаетъ оныя, а не составляетъ“. Что касается способа выдренія добра, то „хвалы, даваемые хорошему поведенію, хулы и пренебреженіе хулы достойному, суть тѣ способы, коими поощряется хорошее и отвращается дурное поведеніе. Въ награжденіи добрыхъ дѣлъ представить дѣтямъ надлежитъ честь, доброе имя и славу, а за дурныя дѣла стыдъ и поношеніе. Никакое наказаніе обыкновенно дѣтямъ полезно быть не можетъ, буде не соединено со стыдомъ, что учили дурно“.

Для популяризаціи своихъ идей Екатерина II прибѣгала и къ художественной формѣ—аллегорической сказки, сатиры, драмы, и другихъ къ тому же поощряла своимъ покровительствомъ, указами о вольныхъ типографіяхъ, образованіемъ „комиссіи для перевода съ иностранныхъ языковъ на русскій“ и т. п. Въ сказкѣ о царевичѣ Хлорѣ разсказывается, какъ Хлоръ, сынъ одного Кіевского царя, жившаго еще до временъ Кіа, отличавшійся рѣдкимъ умомъ и другими дарованіями, былъ похищенъ какимъ-то Киргизскимъ ханомъ и принужденъ былъ для него отыскать „розу безъ шиповъ“. Царевичъ получаетъ тайно помощь отъ Фелицы, дочери хана, выданной замужъ за Брюзгу—султана: она даетъ ему рядъ наставленій, какъ избѣгать „людей весьма пріятнаго обхожденія, кои стараться будутъ уговорить итти съ ними, насажутъ веселій множество и что они провождаютъ время въ безчисленныхъ забавахъ,—не вѣрь имъ, лгутъ, веселія ихъ мнимыя и сопряжены со множествомъ скукъ“; предупреждаетъ она и противъ „льстивыхъ людей, кои всячески бу-

дуть стараться пріятными разговорами отвести отъ истиннаго пути“; въ руководители ему Фелица даетъ Разсудокъ, въ который такъ вѣрили представители эпохи просвѣщенія. Аллегорія сказки раскрывается въ ней же самой: „сей цвѣтокъ не что иное значить, какъ добродѣтель; иные думаютъ достигнуть косыми дорогами, но никто не достигнетъ окомъ прямою дорогою; счастливъ же тотъ, который чистосердечно твердостію преодолѣетъ всѣ трудности того пути“.

Сказка „о Февеѣ, красномъ солнышкѣ“ въ живой картинѣ изображаетъ идеальное воспитаніе. „Его не пеленали, не кутали, не баюкали, не качали никакъ и никогда... Какъ минуло ему шесть недѣль, принесли большой коверъ съ цвѣтными разводами; коверъ былъ въ сажени двѣ длинника и столько же поперечника; постлали коверъ на землю въ опочивальнѣ дѣтской, и какъ дитя проснулося, положили царское дитя на землю на тотъ коверъ на бочекъ на правый, дитя же повернулося на брюшко тотчасъ; всякой день нѣсколько разъ дѣлали то же, помаленьку повадился упираться ручками и ножками, и вскорѣ всталъ на ноги, ходилъ прежде года по стѣнкѣ, а потомъ по горницѣ. Начали дитя забавлять игрушками отборными, которыя давали ему познанія всего того, что его окружало на свѣтѣ семъ и его понятію дѣтскому сходственно было“. Съ семи лѣтъ къ Февею былъ приставленъ дядька, который старался развить въ немъ физическую силу различными упражненіями (онъ умѣлъ ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ лука и ружья, метать въ цѣль копьемъ и пр.), а умъ—чтеніемъ. „Сердце царевичъ имѣлъ доброе: былъ жалостливъ, щедръ, послушливъ, благодаренъ, почителенъ къ родителямъ и приставникамъ своимъ; онъ былъ учтивъ, привѣтливъ и съ доброхотствомъ ко всѣмъ людямъ, не спорливъ, не упрямъ, не боязливъ, повиновался всегда и вездѣ истинѣ и здравому разсудку, любилъ говорить и слушать правду, лжи же гнушался; даже и въ шуткахъ не употреблялъ“. Особенно Февей не любилъ „ласкательствъ“ (лести), ибо помнилъ, что онъ такой же человѣкъ, какъ и другіе. Когда ему исполнилось пятнадцать лѣтъ, онъ задумалъ предпринять путешествіе, чтобы „видѣть глазами, что въ книгахъ печатаютъ“. Въ концѣ сказки говорится: „годъ спустя, царевичъ женился, жениась нажилъ

дѣтокъ, весьма похожихъ на него, погода нѣсколько лѣтъ ѣздилъ еще въ разные мѣста и земли, возвратился домой. Февей и весь родъ жилъ до глубокой старости; нынѣ славенъ въ народѣ томъ, гдѣ онъ былъ“.

Въ предыдущихъ сочиненіяхъ Екатерина II изобразила свои положительные идеалы. Отношеніе къ жизни, существовавшей въ дѣйствительности, проявилось въ ея сатирическихъ произведеніяхъ. При большомъ умѣ и наблюдательности, Екатерина однако не обладала широкимъ литературнымъ дарованіемъ и, если все-таки занимаетъ почетное мѣсто въ исторіи литературы, то,—главнымъ образомъ, благодаря тому воздѣйствію, которое она могла имѣть, по самому положенію своему, на другихъ авторовъ, на развитіе литературныхъ взглядовъ и вкусовъ.

Къ сатирическимъ произведеніямъ Екатерины II относятся, во 1-хъ, небольшія статьи въ журналахъ „Всякая Всячина“ (1769 г., въ 1770 г. альманахъ „Барышекъ Всякой Всячины“) и „Собесѣдникъ любителей Россійскаго слова“ (1783 г. подъ заглавіемъ „Были и небылицы“); во 2-хъ, комедіи, изъ которыхъ лучшими она сама считала „О время“ (1772) и „Именины госпожи Ворчалкиной“ (1772).

Идеалъ Екатерины II, какъ писательницы, опредѣляется нѣкоторыми пунктами ея „Завѣщанія“ въ „Быляхъ и Небылицахъ“ „скуки не вплетать нигдѣ, наипаче же умничаньемъ безвременнымъ“, „веселое всего лучше; улыбателное же предпочесть плачевнымъ дѣйствіямъ“, „гдѣ индѣ коснется до нравоученія, тутъ оныя смѣшивать наипаче съ пріятными оборотами, кои бы отвращали скуку“, „глубокомысліе окутать ясностью, а полномысліе легкостью слога, дабы всѣмъ сносными учиниться“, „стихотворческія изображенія и воображенія не употреблять, дабы не входить въ чужія межи“. Цѣль изданія „Всякой Всячины“, въ которой несомнѣнное участіе принимала императрица,—„показать, первое, что люди иногда могутъ быть приведены къ тому, чтобы смѣяться самимъ себѣ; второе—открыть дорогу тѣмъ, кои умнѣ меня, давать людямъ наставленія, забавляя ихъ; и третье—говорить русскимъ о русскихъ и не представлять имъ умоначертаній, кои оныя не знаютъ“. Главными предметами ея обличенія были злоупотребленія въ сферѣ дѣйствующаго законода-

тельства и преимущественно—грубость нравовъ и невѣжество. Еще невиннѣе была сатира Екатерины II въ „Быляхъ и Небылицахъ“, откуда намѣренно было изгнано все, „что не въ улыбабельномъ духѣ и не по вкусу прародителя моего, либо скуку возбудить могущее и плачь разогрѣвающія драмы“. Содержаніе, по выраженію самой Екатерины, взято „изъ обширнаго моря естества“, „что въ людяхъ водится“. Словами „словоохотнаго дѣдушки“, „веселаго и проказливаго“ двоюроднаго брата и др. осмѣиваются самолюбіе, чванство, тщеславіе и безвкусное щегольство, пристрастіе къ французскимъ нравамъ и языку и проч. Любопытной чертой нѣкоторыхъ разсказовъ „Былей и Небылицъ“ является сравненіе прошлаго и настоящаго, при чемъ устами „Дѣдушки“ указывается на благотѣльные реформы воспитанія, суда, на большую свободу мысли и т. п.

Предметъ изображенія комедій Екатерины II—бытовые черты русской жизни, бывшія темой и для всѣхъ русскихъ сатириковъ, начиная съ Кантемира.

Интрига пьесъ не отвѣчала замыслу „сатирическому“ и существеннаго значенія не имѣетъ. Весь интересъ въ характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ и ихъ разговорахъ. Вотъ главные пороки русскаго общества въ лицѣ дѣйствующихъ лицъ комедій „О время“ — Ханжахина, своей скупостью, ханжествомъ, пристрастіемъ къ старинѣ, дурнымъ отношеніемъ къ дворовымъ людямъ, напоминающая и Критона Кантемировой сатиры и Простакону изъ комедіи Фонвизина; Чудихина, не менѣе суевѣрная, которая постоянно носить съ собою въ узелкахъ четверговую соль, росной ладанъ и разные корешки, на которыхъ нашептано, а также вмѣшивается въ чужія семейныя дѣла; Вѣстникова, „взбалмочная вѣстовщица“ и модница. Положительная мораль комедій: вредъ суевѣрій, необходимость образованія и для женщины, защита правительственныхъ начинаній, при чемъ честолюбивая императрица не упускаетъ случая и противопоставить свое прежнимъ временамъ: „въ прежнія времена за болтанье дорого плачивали: притупляли язычекъ, чтобъ меньше онъ пустого бредилъ, а нынѣ благодарить вамъ Бога надобно, что уничтожаютъ этакія бредни“. Но при этомъ любопытно и добавленіе: „Разумно бы и съ нашей стороны было, если бы мы сами себя

отъ глупостей, а паче отъ несбыточныхъ затѣй и новостей воздерживали“. Къ чему можетъ привести забвеніе этого правила, показываютъ комедіи: „Недоразумѣнія“ и „Разстроенная семья осторожками и подозрѣніями“. Въ связи съ названной комедіей „О время“ стоитъ комедія: „Именины Г-жи Ворчалкиной“. Героиня какъ бы дополняетъ родственные ей типы комедіи „О время“; ея дочь — образецъ русской *precieuse ridicule*, жеманница и модница, любительница баловъ и театровъ; изъ мужскихъ типовъ выдѣляются — Фирлифюшковъ, фатъ и враль, имѣющій нѣчто общее и съ Иванушкой Фонвизина и Репетилковымъ Грибобѣдовъ; Геркуловъ и Спесовъ, которые чванятся происхожденіемъ, а не имѣютъ той „чести“ дворянской, чтобы не мотать; есть и благородные резонеры. Нѣкоторыя комедіи Екатерины („Шаманъ сибирскій“, „Обманщикъ“, „Обольщенный“) написаны потому, что, какъ она сама признается въ письмѣ къ Гримму, слѣдовало хорошенько потормозить духовидцевъ (т. е. масоновъ), которые начинаютъ подымать носъ. Она не видѣла или не хотѣла видѣть хорошихъ сторонъ нашего масонства и осмѣяла шарлатанство, невѣжество и фантазерство „иныхъ“ масоновъ.

Щербатовъ. Болтинъ.

Благотворные результаты литературной дѣятельности императрицы Екатерины II, какъ и ея политическихъ реформъ, могли сказаться, главнымъ образомъ, на томъ классѣ, который монополизировалъ новую культуру, — на дворянствѣ. Оно получало права и привилегіи, его просвѣщали, въ немъ, порицая недостатки, воспитывали особую честь. Можно прослѣдить документально, насколько внимательной оказалась императрица къ тѣмъ потребностямъ, которыя высказало дворянство въ наказахъ депутатамъ „Комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія“. Дворянство называетъ себя опорой престола, стремится къ объединенію въ корпорацію, проситъ подтвердить старыя привилегіи и даровать новыя льготы. Дворяне должны быть освобождены отъ тѣлесныхъ наказаній, отличены въ военной службѣ, они имѣютъ исключительное право владѣть землями и крестьянами,

для них нужны измѣненія въ судопроизводствѣ, учрежденіе банковъ, правила о межеваніи, открытіе училищъ и проч. Екатерина II, несомнѣнно, стремится къ тому же закрѣпленію сословій, даруя лицу права его «состоянія», пока оно въ этомъ состояніи находится, и содѣйствуя развитію хозяйственныхъ занятій, отличавшихъ сословія. Считая за дворянами привилегіей служить во славу самодержавнаго правленія и хозяйничать въ своихъ имѣніяхъ, она даруетъ имъ особую грамоту, способствуетъ организаціи дворянскаго самоуправления и принимаетъ рядъ мѣръ для поднятія экономическаго благосостоянія сословія. Воспитаніе и въ школахъ и путемъ литературы казалось Екатеринѣ II не малымъ средствомъ для той же цѣли — политической формировки русскаго общества. Она не ошиблась. Толчокъ, данный ею русской мысли, возбудилъ общественное самосознаніе, сказавшееся и въ публицистикѣ, и въ художественной литературѣ.

Литературно-публицистическая дѣятельность Щербатова (1733—1790) была вызвана какъ знакомствомъ съ умственнымъ движеніемъ на Западѣ, такъ и общимъ оживленіемъ русской жизни при Екатеринѣ II: явились новыя служебныя обязанности, запрашивались мнѣнія, требовались проекты. Въ области религіи прежняя нетерпимость и исключительность церкви шла въ разрѣзъ съ интересами самого правительства, поэтому уже съ Петра Великаго идетъ борьба съ суевѣріями, формализмомъ обрядовъ, притязаніями церкви на свѣтскую власть. Щербатовъ въ этомъ отношеніи послѣдователь Вольтера и исповѣдуетъ чистый деизмъ, не связывающій нравственную природу человѣка догматами и обрядами. Преслѣдуя и въ религіи государственные интересы („нынѣ царствующая императрица, послѣдовательница новой филозофіи, конечно, знаетъ, до коихъ мѣстъ власть духовная должна простираться, и изъ предѣловъ ее не выпуститъ“), Щербатовъ не противъ тѣхъ ограниченій и излишнихъ повинностей, которыя наложены на раскольниковъ, ибо раскольники „несумнительно опасны для правительства“. Въ вопросахъ политическихъ Щербатовъ склоненъ къ тому типу политической организаціи, которую Монтескье называетъ „монархіей безъ деспотичества“. Для блага народа, по мысли Щербатова, нужно самовластіе, но основанное

на правосудіи, законности. Охранять законы долженъ „совѣтъ именитѣйшихъ людей“ нѣчто въ родѣ сената. Щербатовъ отвергаетъ „химеру равности состояній“ и старается всячески обосновать дворянскую тенденцію, такъ что заслуживаетъ отъ историка эпитетъ „суроваго и страстнаго критика русской жизни екатерининской поры съ точки зрѣнія дворянскихъ интересовъ“ (Мякотинъ). Щербатовъ считаетъ благородство дворянъ потомственнымъ, ихъ значеніе для государства великимъ и потому требуетъ отъ правительства такихъ привилегій для дворянства, корпоративныхъ и имущественныхъ, что не удовлетворяется и жалованной грамотой 1785 года, критикуя въ ней и обязанность дворянина служить съ низшихъ чиновъ, и характеръ дворянскихъ собраний, и нѣкоторое смѣшеніе сословій и т. п. Соотвѣтственно увеличенію льготъ дворянскихъ, Щербатовъ уменьшилъ бы права другихъ сословій: городской классъ не долженъ имѣть чиновъ, владѣть крестьянами, выбирать столько судей, сколько намѣчено въ грамотѣ городамъ; крестьяне должны быть подъ крѣпостной опекой дворянства, хотя послѣднее не должно убивать и пытатъ ихъ, продавать въ розницу, истощать. Принадлежа къ умѣреннымъ либераламъ своего времени, Щербатовъ не могъ идеализировать тогдашняго дворянства и въ сочиненіяхъ „О поврежденіи нравовъ въ Россіи“, „Письмо къ вельможамъ, правителямъ государства“ въ самомъ заглавіи высказалъ свою мысль и показалъ, къ кому она относится. Среди вельможъ „исчезла твердость, справедливость, благородство, умѣренность, родство, дружба, пріятство, привязанность къ Божію и гражданскому закону и любовь къ отечеству; а мѣста сіи начинали занимать: презрѣніе божественныхъ и человѣческихъ должностей, зависть, честолюбіе, серебролюбіе, пышность, уклонность, раболѣпство и лесть, чѣмъ каждый мнилъ свое состояніе сдѣлать и удовольствоваться свои хотѣніи“. Не менѣе достается вельможамъ, какъ правителямъ, которые, при безмѣрной власти, тайнѣ своихъ дѣйствій и крайнемъ малоуміи и корыстолюбіи, только вредны, а не полезны народу. Положительные совѣты „возвышаться добродѣтелями“, „направлять теченіе вещей къ лучшему благоустройству“, „принять духъ благородный, духъ твердости и любви отечества“ и т. п. напоминаютъ тѣ правоученія, съ которыми обращалась къ дворянству и императрица.

Въ стремленіяхъ „многопонимавшей и многодумавшей“ Екаторины II можно найти зародыши идей, получившихъ большую определенность и обоснованность у ея современниковъ. Къ числу ихъ надо отнести интересъ къ русской исторіи и попытки созданія національной теоріи, наподобіе позднѣйшаго славянофильства.

Такимъ „родоначальникомъ славянофильства“ является Болтинъ (1735—1792), отлично знакомый съ западной наукой, пережившій увлеченіе Бейлемъ, Вольтеромъ, Монтескье, Руссо, съ большой эрудиціей въ русской исторіи и большимъ здравымъ смысломъ. Онъ написалъ „Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка“ (1788 г.) и „Критическія примѣчанія“ на исторію Щербатова. „Слѣдя за Леклеркомъ, Болтинъ всецѣло изучилъ русскую исторію съ тѣмъ, чтобы защитить ее, произнести надъ нею благопріятный приговоръ; слѣдовательно, книга Болтина есть первый трудъ по русской исторіи, въ которомъ проведена одна основная мысль, въ которомъ есть одинъ общій взглядъ на цѣлый ходъ исторіи; у него перваго видимъ попытку смотрѣть на исторію какъ на науку народнаго самосознанія, отыскать живую связь между прошедшимъ и настоящимъ, задать вопросъ объ отношеніи старины къ новому, уяснить ходъ русской исторіи, не похожей ни на какія другія“ (Соловьевъ). Не сходя съ почвы строгой фактичности, Болтинъ сопоставляетъ русскую исторію съ исторіей другихъ народовъ и съ полнымъ убѣжденіемъ говоритъ: „Вы (европейцы) называете насъ варварами, но вотъ вамъ примѣры изъ собственной вашей исторіи и быта, что прозвище это пристало вамъ гораздо болѣе, нежели намъ. Несмотря на то, мы не обзываемъ васъ варварами. Не давайте же и намъ несвойственнаго намъ имени и не отрицайте той очевидной истины, что мы и вы, и русскій народъ и его западные братья, одинаково способны къ умственному и политическому развитію; и вы и мы — европейцы по крови и по духу“. Но, конечно, чтобы насъ уважали другіе, мы сами должны уважать свое достоинство и перестать быть рабами другихъ, особенно французовъ. „Въ смѣлыхъ и правдивыхъ укорахъ,—говоритъ Сухомлиновъ,—выходившихъ изъ круга людей, подобныхъ Новикову и Болтину, слышится не слѣпая ненависть къ иностранцамъ, а горячая любовь къ Россіи и сознаніе духовныхъ силъ русскаго народа. Не

говорите съ чужого голоса, а работайте собственною мыслью; дорожите своимъ нравственнымъ достоинствомъ, и не жертвуйте имъ изъ подражанія западнымъ образцамъ,—вотъ сущность проповѣди Новикова и Болтина, обращенной ими къ современному русскому обществу. И Новиковъ, и Болтинъ, осуждая и осмѣивая слѣпое и жалкое подчиненіе чужеземному игу, ратовали за умственную и нравственную самостоятельность русскаго народа, за сохраненіе въ немъ добрыхъ началъ, потеря которыхъ была бы для него полнымъ несчастьемъ. Дорожа лучшими преданіями народной жизни, они не могли помириться съ ихъ утратою и истребленіемъ подъ наплывомъ иностранныхъ обычаевъ, безсознательно усваиваемыхъ нашимъ обществомъ“. „Съ тѣхъ поръ,—говоритъ Болтинъ въ одномъ изъ Примѣчаній,—какъ юношество свое стали мы посылать въ чужіе края и воспитаніе ихъ ввѣрять чужестранцамъ, нравы наши совсѣмъ перемѣнились; съ мнимымъ просвѣщеніемъ насадились въ сердцахъ нашихъ новыя предубѣжденія, новыя страсти, слабости, прихоти, кои предкамъ нашимъ были неизвѣстны: погасла въ насъ любовь къ отечеству, истребилася привязанность къ отеческой вѣрѣ, обычаямъ и пр.; итакъ, мы старое позабыли, а новаго не переняли, и, ставъ непохожими на себя, не сдѣлались тѣмъ, чѣмъ быть желали. Сіе все произошло отъ торопливости и нетерпѣнія; захотѣли сдѣлать то въ нѣсколько лѣтъ, на что потребны вѣки; начали строить зданіе нашего просвѣщенія на песокъ, не сдѣлавъ прежде надлежащаго ему основанія“. И въ основномъ воззрѣніи на необходимость „постепенности“ въ реформахъ, и въ осужденіи нравовъ высшаго общества, и далѣе въ признаніи религіи большой государственной силой, а единодержавія лучшей формой государственнаго правленія—Болтинъ сходится со Щербатовымъ и съ еще болѣе раннимъ предшественникомъ—Татищевымъ. Въ отношеніи къ крестьянскому вопросу, непрерывно обсуждавшемуся въ литературѣ второй половины XVIII вѣка, подъ давленіемъ ли Запада или самихъ фактовъ русской жизни, Болтинъ якобы повторяетъ слова Руссо: „прежде должно учинить свободными души рабовъ, а потомъ уже тѣла... дабы учинить ихъ достойными вольности (сего великаго и божественнаго дара) и способными къ снесенію ея“.

Русскій романъ и повѣсть XVIII вѣка.

Переходя отъ публицистики императрицы, напоминающей своего рода манифесты, и отъ теоретическихъ разсужденій историковъ Щербатова и Болтина къ явленіямъ, болѣе подходящимъ подъ опредѣленіе „литературы“ (романы и повѣсти, журнальная сатира, комедіи, оды и др.), мы встрѣтимся въ сущности съ тѣми же темами, но въ иной, быть можетъ, формѣ и не всегда въ томъ же освѣщеніи.

Въ XVIII вѣкѣ въ Россіи романъ былъ главнѣйшимъ литературнымъ родомъ, наиболѣе любимымъ и самымъ популярнымъ. Историкъ русскаго романа и повѣсти XVIII вѣка (В. В. Сиповскій) опредѣляетъ общее число романовъ, считая каждое изданіе, 1175, въ томъ числѣ 159 оригинальныхъ, остальные—переводные; сколько же надо бы прибавить къ этому числу романовъ въ оригиналахъ на французскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ языкахъ. Время наибольшаго распространенія романовъ въ русскомъ обществѣ — первая половина царствованія Екатерины II, когда ея просвѣтительная дѣятельность такъ возбуждающе дѣйствовала на жизнеспособность русскаго общества; съ 90 годовъ идетъ замѣтный упадокъ романа да и вообще книги въ Россіи, не безъ вліянія цензуры. Строго говоря, перерыва въ исторіи романа на Руси не было и ее нельзя начинать съ XVIII вѣка, но въ это время измѣнился характеръ романа. Тогда какъ романъ такъ называемый авантюрный спустился въ низшіе слои общества, усилилось значеніе романа психологическаго. Имъ настолько увлекались, что въ журналахъ „Живописецъ“ и „Трутенъ“ стали посмѣиваться надъ новой литературной модой. Были романы худые и хорошіе, но воспитательное значеніе ихъ неоспоримо: они пріохочивали къ чтенію, на основаніи ихъ читатели строили свое міросозерцаніе, развивали свои политическія, философскія и нравственныя убѣжденія. Отъ романовъ многіе, какъ, напримѣръ, свидѣтельствуетъ Болотовъ, переходили и къ серьезному чтенію. Интересны самыя предисловія переводчиковъ и авторовъ романовъ съ 1751 — 1800 г.г., обнаруживающія несо-

мѣнный ростъ общественнаго сознанія. Прежде всего, переводчики держатся простой русской рѣчи, „простоты слога“, „простого и нехитросплетеннаго слога“, „какимъ мы межъ собой говоримъ“, и такимъ образомъ указываютъ болѣе правильный путь для развитія русской литературной рѣчи, чѣмъ то сдѣлалъ Карамзинъ. Цѣль переводовъ, — „желаніе услужить современникамъ“, „служить обществу посильнымъ трудомъ“, „быть въ пользу или утѣшеніе“. Восхваляется характеръ новыхъ романовъ, въ противоположность прежнимъ (авантюрнымъ), „въ которыхъ нѣтъ ничего кромѣ роскошныхъ приключеній и соблазнительныхъ описаній“. Въ новыхъ романахъ дается изображеніе „бытія вещественнаго“, того, что „въ самомъ дѣлѣ возможнымъ быть кажется“, того „сколь великое беретъ участіе внѣшній механизмъ тѣла въ перемѣнахъ внутреннихъ способностей“. (вотъ какъ матеріалистическія ученія могли проникать къ намъ въ XVIII вѣкѣ); „изображаются въ немъ нравы человѣческіе, ихъ добродѣтели и немощи; показываются отъ разныхъ пороковъ разныя бѣдствія въ примѣрахъ, то причиняющихъ ужасъ, то соболѣзнованіе и слезы извлекающихъ; и между цѣпью наистройнѣйшимъ порядкомъ совоккупленныхъ приключеній наставленія къ добродѣтели полагаются“. Есть книги, написанныя „для подражателей добродѣтели вольности и благополучія рода человѣческаго“ и мѣтѣющія еще выше: „злоупотребленія самодержавной власти и нѣкіе доводы, къ укрощенію сего страшнаго рода правленія служащіе, кажутся лучше всего быть приличными къ изображенію государя восточныхъ странъ“. Конечно, много похвалъ отъ переводчиковъ Вольтеру за „острыя мысли, тонкую критику и разумныя наставленія“. Послѣ сказаннаго неудивительно, что и въ оригинальныхъ русскихъ романахъ и повѣстяхъ XVIII вѣка будутъ проводиться тѣ же философскія и политическія идеи, что и на Западѣ, хотя не съ такой яркостью и силой. Въ повѣсти „Жизнь нѣкотораго мужа“ (1870 г.) мы встрѣчаемъ жестокіе нападки на узость, нетерпимость и тупость человѣка до-петровской Руси, раскольника-начетчика, исполненнаго суевѣрій, ведущаго борьбу за осьмиконечный крестъ, усы, бороду и т. п. Въ другихъ повѣстяхъ прославляется разумъ человѣческій („необходимо все изслѣдовать, ничему не вѣрить, все освѣщать свѣтомъ знанія“),

„уставы природы“, которые выше „уставовъ человѣческихъ“, и тутъ же рядомъ раздаются голоса разочарованія и даже отчаянія, заставляющаго идеализировать смерть. Такое безотрадное настроеніе изображаетъ, напримѣръ, Дмитріевъ-Мамоновъ въ „Дворянинъ-философъ“ (1769 г.). Міръ кажется ему созданнымъ изъ прихоти. Человѣкъ, мнящій себя перломъ созданія, въ сущности ничтоженъ. Чернь, трудящаяся безъ сознанія, ведущая войну, рабствующая у немногихъ, достойна презрѣнія; съ другой стороны—корысть, самолюбіе, обманъ... Можно бы уйти въ деревню, по совѣту Руссо. Но и тамъ „жизнь—суета, жизнь—сонъ“ (Чулковъ „Русскія сказки“, Эминъ „Непостоянная фортуна“ и др.). „Благополучіе человѣка не что иное, какъ мечта и привидѣніе“ (Чулковъ „Пересмѣшникъ“). Часто, какъ на спасеніе, авторы указываютъ на смерть. „Вольтерьянство“, впрочемъ, встрѣчало и оппозицію. Очень часто Парижъ въ русскихъ романахъ является то Вавилономъ, то Сибарисомъ, то островомъ Анаэи; русскій „вольтерьянецъ“ представляется развратителемъ молодежи, такъ, напримѣръ, Развратинъ въ романѣ Измайлова „Евгеній“ привыкъ считать за смѣшныя предразсудки и нелѣпыя мнѣнія — богопочитаніе, честность и добродѣтели, кои отличаютъ человѣка отъ животнаго: они были въ его глазахъ химерою, свойствами, приличными однимъ простолюдинамъ; тотъ же Развратинъ указываетъ, что любовь къ родителямъ смѣшна: „если они дали тебѣ жизнь, — говоритъ онъ, — то не съ намѣреніемъ“.

Изъ вдохновителей нашихъ романистовъ въ политическомъ отношеніи первое мѣсто принадлежитъ Фенелону, романъ котораго „Приключенія Телемака, сына Улиссова“, былъ извѣстенъ въ оригиналѣ и распространился въ 9 изданіяхъ и 5 переводахъ, и не только печатно, но и въ рукописяхъ. Фенелонъ изображаетъ всѣ отрицательныя стороны самовласти, называя его „бичомъ“, „злодѣемъ“, „тираномъ“, посылая его „въ адъ“, нападаетъ на помощниковъ царя, придворныхъ, „все расхищающихъ“, „льстецовъ“, „лицемѣровъ“ и противопоставляетъ идеаль добраго царя, любящаго народъ и защищающаго его, устанавливающаго хорошіе законы и свободу слова, врага смертной казни и т. д. Къ числу особенно ревностныхъ проводниковъ идей Фенелона отно-

сится Херасковъ, бывший въ 1778 г. кураторомъ Московскаго университета и много сдѣлавшій для просвѣщенія и литературы русской во второй половинѣ XVIII вѣка. Въ романахъ „Нума“ „Кадмъ и Гармонія“, „Полидоръ“—исторія либерализма не одного только Хераскова, но и многихъ людей XVIII вѣка. Въ „Нумѣ“ (1768 г.) Херасковъ изображаетъ добродѣтельнаго и мудраго монарха, казнитъ злоупотребленія судей, правителей и вельможъ, нападаетъ на войну, славить законъ и просвѣщеніе; въ „Кадмѣ и Гармоніи“ (1786 г.) Херасковъ попрежнему лелѣетъ идеалъ царя — мудраго отца и друга народа, онъ врагъ войны, врагъ рабства („невольниковъ имѣти не хочу, но, пріемля отъ васъ оныхъ, разрѣшу ихъ узы и учиню ихъ сотрудниками токмо моими, рабъ не долженъ принадлежать мудролюбцу, и права челоувѣчества не дозволяютъ намъ лишать свободы нашихъ ближнихъ“), но уже есть и слѣды масонства; въ „Полидорѣ“ (1794 г.) „вольность“ уже не обольщаетъ (стоитъ вспомнить Карамзина: „ахъ, щастливые времена! вы, видно, для однихъ сказокъ“), но неизмѣнны условія счастья — правосудіе и просвѣщеніе. Другой романъ, примыкающій къ Фенелонову, Ө. Эмина: „Приключенія Өемистокла“. Авторъ тоже исходитъ изъ критики неустройства государства, вслѣдствіе безобразнаго веденія дѣлъ, мздоимства, покровительства богатымъ, и противопоставляетъ идеальный порядокъ, при которомъ нѣтъ благородныхъ, великъ хлѣбопашецъ, процвѣтаетъ торговля. Не находя въ дѣйствительности матеріала для идеальнаго строя, авторы часто рисуютъ утопическое государство „добрыхъ дикарей“ (П. Львовъ), „дулѣбовъ“ (Чулковъ), „вольныхъ зельтовъ“, у которыхъ законы основаны на правахъ „естественныхъ“ („Нѣкая Россіанка“), и т. п.

Недовольство настоящимъ и желаніе лучшаго характерны не для однихъ романовъ и повѣстей. Эти настроенія проникаютъ всюду.

Сатирическіе журналы. Н. И. Новиковъ.

Сатирическимъ направлениемъ особенно проникнуты литературные журналы 1769—1774 гг. Ихъ много было въ это время, до 20, и каждый изъ нихъ существовалъ недолго, потому что авторы-издатели часто мѣняли, для разнообразія, названія—маски своихъ журналовъ. Такъ, Новиковъ послѣдовательно издавалъ: „Трутень“ (1769—1770 г.г.), „Живописецъ“ (1772—1773 г.г.), „Кошелекъ“ (1774 г.). Русская журналистика, возникшая нѣкогда по почину немногихъ (академикъ Миллеръ, Сумароковъ) и для „избранныхъ“, во время Екатерины II, какъ свидѣтельствуется современникъ, „попала на вкусъ мѣщанъ, простыхъ людей, которые не знаютъ иностранныхъ языковъ“. Она получила широкое распространение благодаря доступности темы—освѣщеніе подлинной дѣйствительности русской жизни—и ясности цѣли, которую преслѣдовалъ этотъ родъ литературы: защита слабыхъ противъ сильныхъ, „подлыхъ“ противъ „благородныхъ“. Тогдашній читатель не бѣжалъ дидактики, а скорѣе искалъ ее, желая уяснить себѣ добро и зло и другіе вопросы нравственности и жизни. Русскій критикъ 60-хъ годовъ XIX вѣка Добролюбовъ былъ недоволенъ сатирическими журналами за сто лѣтъ назадъ, потому что много было „словъ“, „легкаго описанія“, „чувства“, желанія итти слѣдомъ за правительствомъ и его реформами, а не впереди; сатира-де нападала не на зло, а на злоупотребленія, не хотѣла видѣть связи всѣхъ частныхъ беззаконій съ общимъ механизмомъ тогдашней организациі государства и отъ ничтожнѣйшихъ улучшеній ожидала громаднхъ слѣдствій; оттого, по мнѣнію критика, такая бесплодность и безсиліе этой литературы и вмѣсто ожидавшихся результатовъ — „тайная экспедиція, уничтоженіе вольныхъ типографій, пытки, крѣпостное право, иностранные учителя, бумажныя деньги, рекрутскіе наборы, безработица, взяточничество“. Критикъ правъ, говоря о разладѣ между литературою и жизнью; правъ, указывая на главное зло — „отсутствіе общей силы закона“, но онъ не правъ, обвиняя въ безсиліи литературу; она тутъ не виновата. Ея лучшіе представители всегда отстаивали высокій нравственный и общественный идеалъ и дали примѣры

достойной независимости убѣжденій. Въ частности въ сатирическихъ журналахъ, особенно Новиковскихъ, „многія блюда приготовлены очень солоно и для нѣжныхъ вкусовъ благородныхъ невѣжды горьковато“. Починъ въ журналистикѣ названнаго времени сдѣлала сама императрица „Всякой Всячиной“ по образцу, англійскаго „Спектатора“, но какъ далеко ушли отъ нея другіе авторы по тону и направленію! „Всякая Всячина“ объявила за правило „не цѣлить на особъ, но единственно на пороки“ и при этомъ: „не называть слабостей пороками, хранить во всякомъ случаѣ чело-вѣколюбіе и не думать, чтобъ людей совершенныхъ найти можно было, и для того просить Бога, чтобъ намъ далъ духъ кротости и снисхожденія“. Иныхъ воззрѣній другіе журналы: „Я того мнѣнія,—говоритъ Правдолюбовъ въ „Трутиѣ“,—что слабости чело-вѣческія достойны сожалѣнія, однакожъ не похвалъ, и никогда того не думаю, чтобы на сей разъ не покривила своею мыслью и душою госпожа ваша прабабка („Всякая Всячина“), давъ знать, что похвальнѣе снисходить порокамъ, нежели исправлять оныя“. Про ту же „Всякую Всячину“ „Смѣсь“ говорила: „Бабушка въ добрый часъ намѣряется исправлять пороки, а въ блажной даетъ имъ послабленіе (или она уже выжила изъ ума). Она говоритъ, что подъячихъ искушаютъ, и для того они берутъ взятки; а это такъ на правду походить, какъ то, что чортъ искушаетъ людей и велитъ имъ дѣлать злое“, а „Адская Почта“, защищая прямоту, говоритъ: „Ругательства нигдѣ не годятся, но прямо описывать пороки и называть вора воромъ, разбойника разбойникомъ, кажется, дѣло справедливое“. Не въ одномъ тонѣ, но и въ направленіи журнальной сатиры можно замѣтить прогрессъ въ смыслѣ яркости красокъ и строгости требованій отъ жизни, сравнительно съ сатирой Кантемира, Сумарокова, Екатерины II. Теперь уже не скрываются отрицательныя стороны крѣпостного права, и все настойчивѣе раздаются голоса въ защиту поработ-щеннаго народа, требованія улучшенія крестьянскаго быта, огра-ниченія помѣщичьей власти. Въ „Копіяхъ съ отписокъ кре-стьянъ къ помѣщику“ и „Копіи съ помѣщичьяго указа крестьянамъ“, помѣщенныхъ въ „Трутиѣ“, мы находимъ изображеніе такихъ жестокостей и „нещаднаго“ выколачиванья съ крестьянъ недоимки, что правъ авторъ предисловія къ этимъ „Копіямъ“: „вы

изъ того усмотрѣть можете, какъ худые помѣщики надъ крестьянами данную власть употребляютъ во зло, и что такіе господа едва ли достойны быть рабами у рабовъ своихъ, а не господами". А въ „Отрывкѣ изъ путешествія въ ***, И. Т.", помѣщенномъ въ „Живописцѣ“, изображены такія картины, которыя напоминаютъ уже „Путешествіе“ Радищева, хотя послѣднее написано почти черезъ 20 лѣтъ послѣ „Отрывка“. „Бѣдность и рабство повсюду встрѣчались со мною въ образѣ крестьянъ. Непаханныя поля, худой урожай хлѣба возвѣщали мнѣ, какое помѣщики тѣхъ мѣстъ о земледѣліи прилагали раченіе. Маленькія покрытыя соломой хижины изъ тонкаго заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшія адоньи хлѣба, весьма малое число лошадей и рогатаго скота подтверждали, сколь велики недостатки тѣхъ бѣдныхъ тварей, которыя богатство и величество цѣлаго государства составлять должны. Не пропускалъ я ни одного селенія, чтобы не разспрашивать о причинахъ бѣдности крестьянской. И слушая ихъ отвѣты, къ великому огорченію, всегда находилъ, что помѣщики ихъ сами тому были виною. О человѣчество! тебя не знаютъ въ сихъ поселеніяхъ. О господство! ты тиранствуешь надъ подобными себѣ человѣками. О блаженная добродѣтель, любовь къ ближнему! ты употребляешься во зло: глупые помѣщики сихъ бѣдныхъ рабовъ изъясняютъ тебя болѣе къ лошадямъ и собакамъ, а не къ человѣкамъ. Съ великимъ содроганіемъ чувствительнаго сердца, начинаю я описывать нѣкоторыя села, деревни и помѣщиковъ ихъ. Удалитесь отъ меня ласкательство и пристрастіе, низкія свойства подлыхъ душъ: истина перомъ моимъ руководствуетъ". Эта истина о деревнѣ „Разоренной“, о страданіяхъ и плачѣ дѣтей, вопіетъ къ человѣчеству и „премудрости, сидящей на престолѣ"; къ чести русской литературы служить непрестанная забота о социальной справедливости и равенствѣ, на ряду съ требованіями улучшенія собственно государственнаго порядка. Безотрадная картина службы въ екатерининское время не скрылась отъ вниманія сатириковъ: пренебреженіе къ закону, произволъ, казнокрадство и взяточничество—любимая тема нашей литературы. Сама императрица во „Всякой Всячинѣ" напечатала 12 заповѣдей подьячимъ: не бери взятокъ; не волочи дѣла, отъ тебя зависящаго; не сотвори крючковъ; не

обходился грубо съ людьми; не говори челобитчикамъ: завтра; не дѣлай несправедливыхъ изъ дѣлъ и законовъ выпишей; не давай никому наставлений въ ябедѣ; не напивайся пьянъ; чеши всякій день голову, ходи чисто по своей возможности, безъ щегольства; покинь трусость въ разсужденіи иныхъ и дерзость въ разсужденіи другихъ и др. Изображеніе подобныхъ пороковъ въ сатирическихъ журналахъ обыкновенно ставится въ связь съ общей картиной нравовъ. Сатира на нравы у насъ вообще представляетъ большое богатство и разнообразіе красокъ: очевидно, обилень былъ матеріалъ жизни. „Формация этого общества только что начиналась. Новые элементы его были въ полномъ броженіи и въ ожиданіи устоя проявлялись шумно, между тѣмъ старые упорствовали и, въ свою очередь, волновались. Рядомъ съ поклоненіемъ самымъ дурнымъ сторонамъ и формамъ устарѣлыхъ нравовъ, встрѣчалось безусловное увлеченіе всѣмъ новымъ, какъ бы оно ни было пошло и нелѣпо“. Съ одной стороны — суевѣріе, ханжество; съ другой — атеизмъ, цинизмъ. Такое настроеніе отразилось и въ русской журналистикѣ. „Нападая на невѣжество, предразсудки, ханжество, ябеду, взяточничество, грубость обычаевъ, она не щадила нравовъ петиметровъ и щеголихъ, слѣпое поклоненія всему французскому, бесплодныхъ шатаній по чужимъ краямъ, нелѣпыхъ модъ, стихоманіи, мотовства, легкомыслія и другихъ пороковъ, занесенныхъ изъ-за границы и распространившихся благодаря жалкому воспитанію“ (Лонгиновъ).

Сатирики не щадятъ ни деревни, ни города, ни простыхъ ни знатныхъ. „Живописецъ“ въ „Письмахъ къ уѣздному дворянину Ѡалалею Трифоновичу“ ярко изображаетъ крайнее невѣжество, суевѣрія и ханжество, жадность, дикій произволъ въ семьѣ, праздность, казнокрадство и лихоимство, обманъ, жестокость къ крестьянамъ. „Трутенъ“ такъ опредѣляетъ придворныхъ: это тѣ, „кто одѣвается по модѣ, низко кланяется, говоритъ ласково и учтиво, часто улыбается, всѣмъ общается, рѣдкому исполняетъ, въ глаза всякаго хвалить, а за глаза бранить; проживаетъ больше, чѣмъ получаетъ, и всему на свѣтѣ завидуетъ“. Щеголи и щеголихи вышли особенно типичными, можетъ быть, благодаря тому, что ко времени Екатерины II образъ ихъ уже

сложился и яснѣе опредѣлился: у нихъ свой взглядъ на жизнь, свои обычаи, свой языкъ. Позолоту они заимствовали изъ Франціи или Англіи, а невѣжество, моральная распущенность, конечно, свои.

Причину многихъ бѣдъ сатира видѣла въ дурномъ воспитаніи, ввѣрившемся иноземнымъ гувернерамъ и гувернанткамъ, и въ страсти путешествовать за границей, безъ подготовки и безъ цѣли. Что за воспитатели были у русскаго юношества, свидѣтельствуетъ, напримѣръ, такой оффиціальный документъ, какъ указъ 1755 года объ открытіи Московскаго университета: „иные родители, не имѣя знанія въ наукахъ или по необходимости, не сыскавъ лучшихъ учителей, принимали такихъ, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали“. Потому-то Новиковъ въ „Трутнѣ“ и оповѣщаетъ читателей: „На сихъ дняхъ въ здѣшній портъ прибылъ изъ Бурдо корабль: на немъ, кромѣ самыхъ модныхъ товаровъ, привезены 24 французъ, сказывающіе о себѣ, что они всѣ бароны, шевалье, маркизы и графы, и что они, будучи несчастливы въ своемъ отечествѣ, по разнымъ дѣламъ, касавшимся до чести ихъ, приведены были до такой крайности, что для пріобрѣтенія золота вмѣсто Америки принуждены были ѣхать въ Россію. Они въ своихъ разсказахъ солгали очень мало: ибо, по достовѣрнымъ доказательствамъ, они всѣ природные французы, упражнявшіеся въ разныхъ ремеслахъ и должностяхъ третьяго рода. Многіе изъ нихъ въ превеликой жили ссорѣ съ парижскою полиціей, и для того она, по ненависти своей къ нимъ, сдѣлала имъ привѣтствіе, которое имъ не полюбилось... и ради того пріѣхали они сюда и намѣрены вступить въ должности учителей и гофмейстеровъ молодыхъ благородныхъ людей. Любезные сограждане! Спѣшите нанимать сихъ чужестранцевъ для воспитанія вашихъ дѣтей. Поручайте немедленно будущую подиору государства симъ побродягамъ, и думайте, что вы исполнили долгъ родительскій, когда наняли въ учителя французовъ, не узнавъ прежде ни званія ихъ, ни поведенія“. Послѣ этого не покажется преувеличеніемъ, что Фонвизинъ сдѣлалъ Вральмана кучеромъ. Учитель изъ бывшихъ кучеровъ выведенъ еще раньше въ комедіи Екатерины II: „Вѣстникова съ семьей“. Конечно, ни нравственнаго,

ни умственного воспитанія такіе учителя дать не могли: въ лучшемъ случаѣ, они обучали любезности, умѣнью одѣваться, ловкости въ танцахъ. Эти качества, впрочемъ, русскіе молодые люди могли получить и благодаря путешествіямъ за границей. Большинство изъ нихъ, совершенно неподготовленные, привозили изъ-за границы „только извѣстія, какъ тамъ одѣваются, пространное дѣлають описаніе всѣмъ увеселеніямъ и позорищамъ того народа; но рѣдкій изъ нихъ знаетъ, на какой конецъ путешествіе предприниматься должно. Я почти ни отъ одного изъ нихъ не слыхалъ, чтобы сдѣлали они свои примѣчанія на нравы того народа, или на узаконеніи, на полезныя учрежденіи и проч., дѣлающее путешествіе толико нужнымъ. Мнѣ это совсѣмъ не нравится: лучше совсѣмъ не ѣздить, нежели ѣздить безъ пользы, а еще паче и ко вреду своего отечества“ („Трутенъ“). И такихъ „молодыхъ русскихъ поросятъ, которые ѣздили по чужимъ землямъ для просвѣщенія своего разума и которые, объѣздивъ съ пользою, возвратились уже совершенными свиньями, желающіе могли видѣть безденежно по многимъ улицамъ сего города“ („Трутенъ“). Ихъ можно было отличить по роскоши въ костюмахъ, завитымъ волосамъ, пудрѣ, румянамъ и т. п. Ихъ можно узнать и по безобразной смѣси иностранныхъ и русскихъ словъ и оборотовъ; „Мои соеиг Живописецъ! клянусь, что я всегда фелитирую твои листы безъ всякой дистракціи“. Третій сатирическій журналъ Новикова „Кошелекъ“, главнымъ образомъ, былъ посвященъ осмѣянію „чужебѣсія“, а вмѣстѣ съ тѣмъ внушенію положительныхъ идеаловъ, привитію уваженія къ своему родному, желанія изучать свое отечество... Все болѣе и болѣе чувствовалось, что авторъ какъ бы неудовлетворенъ своей сатирой: или онъ не могъ бы сказать такъ, какъ хотѣлъ, или не вѣрилъ въ благой результатъ. „Пишетъ все пустое“, съ тоской говорить „Живописецъ“. И вотъ—въ дѣятельности Новикова открывается другая сторона.

Николай Ивановичъ Новиковъ (1744—1818), изъ дворянъ Московской губерніи, является типичнѣйшимъ общественнымъ дѣятелемъ, стремившимся къ общему благу, сознательнымъ и принципиальнымъ защитникомъ просвѣщенія массъ, цѣнившимъ въ литературѣ большую нравственную силу, какъ немногіе изъ его современниковъ. И въ сатирическихъ журналахъ онъ не думалъ

только смѣшить, какъ часто дѣлала Екатерина II, а стремился къ созданію общественнаго мнѣнія, котораго не было до того времени въ Россіи; и оставивъ сатиру, въ которой стала дозволена лишь „веселая и легкая критика“, онъ принялся за серьезное и новое въ общественномъ смыслѣ дѣло—книгоиздательство. Самъ себя воспитавшій благодаря самодѣятельности, серьезной вдумчивости въ прошлое и настоящее русской жизни, Новиковъ хотѣлъ, чтобы и сограждане его имѣли „свѣдѣнія о своихъ прародителяхъ“: „похвально любить и отдавать справедливость достоинствамъ иностранныхъ; но стыдно презирать своихъ соотечественниковъ, а еще паче и гнушаться оными“. Въ 1772 г. Новиковъ издаетъ „Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ“, въ которомъ съ большой любовью и трудомъ собираетъ извѣстія о русскихъ писателяхъ „изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ и словесныхъ преданій“. Сочиненіе это интересно не въ одномъ библиографическомъ отношеніи, но и какъ выраженіе идей Новикова о важности и пользѣ образованія. Съ 1773 г. стала появляться „Древняя россійская Внѣлюэика“, своего рода матеріалы для исторіи, географіи и этнографіи Россіи. Цѣлю изданія служило „начертаніе нравовъ и обычаевъ нашихъ предковъ, чтобы мы познали великость духа ихъ, украшеннаго простотою“. Новиковъ, такимъ образомъ, подготавливалъ будущаго Карамзина, но русское общество не было подготовлено къ подобному чтенію и не поддержало изданія. Въ томъ же году вышла „Древняя россійская гидрографія“ по 6 спискамъ... „паче всего для обличенія несправедливаго мнѣнія тѣхъ людей, которые думали и писали, что до времени Петра Великаго Россія не имѣла никакихъ книгъ окромѣ церковныхъ, да и то будто только служебныхъ“. Дань Новикова увлеченію древне-русской стариной, которую по простотѣ онъ противопоставляетъ ложной современной образованности, заканчивается его изданіями 1776 г.: „Исторія о невинномъ заточеніи ближняго боярина Артемона Сергѣевича Матвѣева“, „Скифская исторія стольника Андрея Лызлова“ и „Повѣствователь древностей россійскихъ“ (ч. I). Отчасти къ этимъ изданіямъ могутъ быть отнесены 22 №№ „С.-Петербургскихъ Ученыхъ Вѣдомостей“ 1777 г., въ которыхъ Новиковъ старался создать ученую литературную критику и исторію

русской литературы. Но и эта дѣятельность Новикова не удовлетворяла, ибо онъ искалъ „души“, живого идеала жизни. Тутъ онъ „неожиданно попалъ“ въ масонство и еще болѣе неожиданно встрѣтился, чтобы уже не разлучаться, съ „нѣмчикомъ“ Иваномъ Егоровичемъ Шварцемъ. Друзей соединяло, несмотря на нѣкоторую разницу въ темпераментахъ (Новиковъ былъ практичнѣе, Шварцъ—горячѣе), общее стремленіе къ нравственному самоусовершенствованію и желаніе служить русскому народу, съ одной стороны, содѣйствуя его просвѣщенію путемъ открытія училищъ, изданія полезныхъ книгъ, заведенія типографій и книжныхъ лавокъ, приготовленія учителей и вообще молодежи за границей, а съ другой,—устранивая для того же народа больницы, аптеки, благотворительныя общества. И, какъ рѣдко бываетъ на Руси, планы и проекты Новикова и Шварца получили широкое практическое осуществленіе и вызвали не мало дѣятелей и послѣдователей. Новиковъ въ 1779 году арендовалъ университетскую типографію и въ одинъ годъ издалъ столько книгъ, сколько издано было ею за 24 прежніе года. Во многихъ городахъ открыты книжныя лавки. Шварцъ основалъ при университетѣ „Переводческую семинарію“, въ которой работали члены имъ же образованнаго „Собранія университетскихъ питомцевъ“. Въ 1782 году открывается уже „Дружеское ученое общество“ съ такими задачами: печатаніе разнаго рода книгъ, преимущественно учебныхъ, и разсылка ихъ по училищамъ; распространеніе въ обществѣ разныхъ полезныхъ знаній и особенно содѣйствіе успѣхамъ тѣхъ наукъ, въ которыхъ русскіе мало упражнялись: греческаго и латинскаго языковъ, знанія древностей, свѣдѣній о природѣ; занятія филологическою или переводческою семинаріей и вообще поощреніе къ образованію молодыхъ даровитыхъ людей. Черезъ два года „Дружеское ученое общество“ было преобразовано въ „Типографическую компанію“, сохранивъ, однако, прежнія цѣли и, пожалуй, усиливъ филантропическую дѣятельность: нельзя, напримѣръ, забыть широко организованной этимъ обществомъ помощи голодающимъ въ Москвѣ въ 1787 году.

Вопросъ о характерѣ изданій (книгъ и журналовъ), а также о постановкѣ воспитанія былъ, естественно, наиболѣе существен-

нымъ для Новикова и Шварца. Въ этомъ вопросѣ главный смыслъ ихъ дѣятельности. Обыкновенно историки приурочиваютъ ихъ взгляды къ ученію масонства, распространившагося въ Россіи во вторую половину XVIII вѣка: первая русская такъ называемая „Великая ложа“ была открыта въ С.-Петербургѣ въ 1772 году гротмейстеромъ И. П. Елагинымъ, по англійскому образцу; кромѣ того, у насъ были и другія формы масонства въ зачаточныхъ ступеняхъ: шведское (Куракинъ, Гагаринъ), рейхельское, берлинское (розенкрейцерство), послѣдователемъ котораго былъ и Шварцъ.

Масонство.

По существу своему, масонство, ученіе спиритуалистическое, близкое къ мистицизму, противоположно „вольтерьянству“, основанному на матеріализмѣ, и даже распространилось, частію, какъ реакція „духу вѣка“; непосредственно гуманитарное содержаніе французскаго просвѣщенія XVIII вѣка—исканіе справедливости, понятіе о человѣческомъ достоинствѣ, вѣротерпимость, требованіе законности—были общеприняты, но въ борьбѣ между вѣрою и разумомъ масонство отдаетъ предпочтеніе первой. Въ содержаніи масонства есть какъ свѣтлыя положительныя, такъ и темныя отрицательныя стороны. Глубоко таящееся на днѣ масонства вѣчное и высокое филантропическое чувство вело къ признанію человѣческаго достоинства, къ проповѣди взаимной любви и помощи, всяческой терпимости—религіозной, національной, сословной, побуждало къ нравственному самоусовершенствованію и исканію идеала. Вотъ какъ опредѣляетъ цѣль его одинъ опытный масонъ: „Масонство видитъ во всѣхъ людяхъ братьевъ, которымъ оно открываетъ свой храмъ, чтобы освободить ихъ отъ предрасудковъ ихъ родины и религіозныхъ заблужденій ихъ предковъ, побуждая людей ко взаимной любви и помощи. Оно никого не ненавидитъ и не преслѣдуетъ, а цѣль его можетъ опредѣлиться такъ: изгладить между людьми предрасудки кастъ, условныхъ различій происхожденія, мнѣній и національностей; уничтожить фанатизмъ и суевѣріе; искоренить международныя вражды и

бѣдствія войны; посредствомъ свободнаго и мирнаго прогресса достигнуть закрѣпленія вѣчнаго и всеобщаго права, на основаніи котораго каждый человѣкъ призванъ къ свободному и полному развитію всѣхъ своихъ способностей; споспѣшествовать всѣми силами общему благу и сдѣлать такимъ образомъ изъ всего человѣческаго рода одно семейство братьевъ, связанныхъ узами любви, познаній и труда“. Какъ особое ученіе, масонство способствовало и выработкѣ цѣльнаго міровоззрѣнія, обнимающаго Бога, міръ и человѣка. Здѣсь начинаются уже недостатки ученія, превращающагося въ свѣтскій монашескій орденъ, требующій аскетическаго отреченія отъ міра, съ его радостями и привязанностями, отъ плоти—жилища сатаны, и идеализирующій смерть. Много отжившаго „средневѣковаго“ и въ выдуманной исторіи ордена отъ Адама, и въ склонности къ „тайнымъ“ наукамъ (алхиміи вмѣсто химіи, магіи вмѣсто физики, астрологіи вмѣсто астрономіи, теософіи вмѣсто философіи и пр.), и въ исканіи скрытаго гдѣ-то во внутренности земли философскаго камня, являющагося всеобщимъ лѣкарствомъ или панацеей; тутъ есть даже какъ будто внутреннее противорѣчіе, ибо чисто нравственное духовное ученіе стремится къ отысканію камня съ чисто матеріальнымъ свойствомъ превращенія грубыхъ металловъ въ благородные. Не менѣе дикимъ и нелѣпымъ должно признать стремленіе масонства къ внѣшней обрядности и пышнымъ церемоніямъ, къ чиноначалію и дисциплинѣ. Въ Россіи „тайныя“ ученія масонства, борьба „системъ“, обрядность были восприняты наивно и поверхностно и не играли существенной роли, и насмѣшки Екатерины II надъ „шаманами сибирскими“ и „обманщиками“, т. е. масонами, были выраженіемъ скрытаго недовольства другой стороной русскаго масонства, въ которой сказалось пробужденіе нравственной самостоятельности русскаго общества. Масонство, какъ особое ученіе, пало бы само собой, вслѣдствіе указанныхъ уже существенныхъ его недостатковъ, но русскіе масоны должны были пострадать отъ русской власти, испугавшейся „организаци“ масоновъ и увидѣвшей въ ихъ широко-просвѣтительной дѣятельности покушеніе на свои права. Русскіе масоны были прежде всего идеалистами, стремившимися познать міръ и себя, приблизиться къ нѣкоторому образу совершенства и искавшими средствъ

къ такому усовершенствованію нравственности и къ развитію самопознанія. Много заблуждались русскіе масоны, но вмѣстѣ съ тѣмъ многіе ихъ нинѣ являются примѣры сильныхъ и независимыхъ характеровъ, что само по себѣ уже имѣетъ моральное значеніе, особенно при низкомъ уровнѣ нашего общества. Къ болѣе виднымъ русскимъ масонамъ—писателямъ должно отнести Хераскова, Лопухина, Новикова и Шварца съ друзьями (въ концѣ ихъ жизни). Періодъ критики и сатиры они всѣ уже пережили. Теперь для нихъ настало время проповѣди непорочности и чистоты сердца, хотя тутъ и скажется разница между ними въ отношеніи къ дѣйствительности: будутъ болѣе пассивные и болѣе активные. Херасковъ въ журналѣ „Полезное увеселеніе“ училъ о добродѣтели, называлъ пороки „слабостями“, видѣлъ „счастіе человѣка въ спокойной совѣсти“; въ комедіи „Безбожникъ“ изображалъ нравственное паденіе человѣка отъ дурного воспитанія, а въ комедіи „Ненавистникъ“—начало сомознанія и самообвиненія; въ своемъ эпосѣ Херасковъ проводилъ ту же идею нравственнаго улучшенія человѣка: въ „Россіадѣ“ можно найти много примѣровъ торжества добродѣтели надъ зломъ, доказательствъ тщеты земного блеска; въ поэмѣ „Владиміръ“ изображается человѣкъ, который „странствуетъ путемъ истины, срѣтается съ мірскими соблазнами, впадаетъ во мраки сомнѣнія, борется и, наконецъ, преодолеваетъ себя“. Этотъ религіозно-мистическій или масонскій смыслъ имѣли и лекціи Шварца по исторіи философіи. Различая разные роды познанія, онъ говорилъ о познаніи полезномъ, необходимомъ для человѣка: „оно научаетъ насъ истинной любви, молитвѣ и стремленію духа къ вышнимъ понятіямъ. Къ симъ-то послѣднимъ познаніямъ человѣкъ стремиться долженъ для своего блага: ибо онъ въ сей жизни только путешественникъ, а въ будущей—гражданинъ“. Того же характера масонское ученіе и Лопухина, который отгораживалъ русское масонство отъ западнаго опредѣленіемъ: „нашего общества предметъ былъ добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать совершенства, при сердечномъ убѣжденіи о совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша, что Христосъ — начало и конецъ всякаго блаженства и добра въ здѣшней жизни и будущей“. Въ „Запискахъ о своей жизни“ Лопухинъ рассказываетъ, что „члены масонскаго обще-

ства упражнялись въ познаніи самого себя, творенія и Творца, по правиламъ науки, содержащимся въ Библии и въ писаніяхъ мужей, непосредственнымъ откровеніемъ просвѣщенныхъ отъ Бога,—науки, открывающей начало всѣхъ вещей, безъ познанія коихъ никогда натура вещей истинно извѣстна быть не можетъ“. Для руководства къ такому „моральному перерожденію“ въ христіанскомъ духѣ Лопухинъ написалъ „Нравоучительный катихизисъ истинныхъ франкъ-масоновъ“, присоединивъ его впослѣдствіи къ сочиненіямъ: „Духовный рыцарь, или ищущій премудрости“ и „О внутренней церкви“. Къ раннимъ сочиненіямъ Лопухина относится написанное имъ, въ оправданіе своего масонства, такъ какъ раньше Лопухинъ былъ тоже „вольтерьянецъ“: „Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями и опроверженіе ихъ вредныхъ правилъ“. Менѣе замѣтенъ духовный переломъ въ Новиковѣ, такъ что относительно нѣкоторыхъ его изданій существуетъ разногласіе—масонскія они или нѣтъ, а въ его біографіи, при всемъ ея внѣшнемъ разнообразіи, видятъ строгую послѣдовательность, органичность развитія, единство благороднаго нравственно-общественнаго настроенія. Въ отличіе отъ масоновъ, пассивно, „на словахъ“, воспринимавшихъ нравственное ученіе ордена и весьма мало думавшихъ о борьбѣ со зломъ міра и о водвореніи началъ равенства, терпимости, взаимопомощи, Новиковъ явился представителемъ именно дѣятельнаго идеализма. Въ нравственномъ перерожденіи общества онъ видѣлъ силу масонства, нашелъ примиреніе внутренняго разлада, мучившаго лучшихъ людей XVIII вѣка. Вмѣстѣ со Шварцемъ и друзьями онъ думалъ направить общественныя силы на благотвореніе и на распространеніе въ массѣ истиннаго просвѣщенія. Не религіозный, а политическій и соціальный вопросъ постепенно выдвигался въ ихъ дѣятельности; не даромъ ставятъ рядомъ по общественному настроенію, несмотря на разницу исходныхъ точекъ, Новикова и Радищева. Отраженіе „масонскихъ“ идей Новикова, Шварца и др. можно найти въ журналахъ Новикова: „Утренній Свѣтъ“ (издавался въ 1777 году съ благотворительной цѣлью, въ пользу основанія въ С.-Петербургѣ первоначальныхъ училищъ для бѣдныхъ и сиротъ), „Московское Изданіе“ (1781), „Вечерняя Заря“ (1782 года), „Прибавленіе къ

Московскимъ Вѣдомостямъ" (1783 и 1784), „Покоящийся Трудолюбецъ" (1784 и 1785). Въ этихъ журналахъ есть переводы и оригинальныя статьи по разнымъ вопросамъ. Общій характеръ опредѣляется подборомъ статей, отвѣчающихъ настроенію авторовъ-издателей. Статей масонскихъ, въ узкомъ смыслѣ, излагающихъ исторію, таинства, символы масонства, немного: въ „Утреннемъ Свѣтѣ"—о терапевтахъ и эссеяхъ, которыхъ масоны считали своими предшественниками, описаніе одного мистическаго рисунка „храма природы и премудрости", письмо о связи масонства съ древними мистеріями, въ „Московскомъ изданіи"—объ „алхимистскихъ адептахъ" въ статьѣ „Празднаго времени упражненіе" и о преемствѣ ордена съ Адама въ статьѣ—„Состояніе человѣка передъ грѣхопадєніемъ"; въ „Вечерней Зарѣ"—„Предувѣдомленіе къ читателямъ" объясняетъ „гіероглифъ" самаго названія журнала, изложеніе „египетскаго" ученія, якобы основны масонства; въ „Покоящемся Трудолюбцѣ" данъ масонству можно видѣть въ статьѣ о каббалѣ. Больше статей въ этихъ журналахъ посвящено борьбѣ съ скептически-материалистическимъ направленіемъ вѣка въ защиту духовности и безсмертія человѣческой души. Противъ „вольнодумцевъ и невѣрующихъ" выдвигается цѣлый арсеналъ доказательствъ богословскаго характера. Для обоснованія нравственности и самопознанія авторы обращаются къ философіи, логикѣ, психологіи. Наука и знаніе не отрицаются („Утренній Свѣтъ"), развитіе науки, вмѣстѣ со свободой и огражденіемъ права собственности, считается даже необходимымъ условіемъ благосостоянія и могущества народа („Прибавленія къ Московскимъ Вѣдомостямъ"), но она должна быть, главнымъ образомъ, направлена на самопознаніе, „къ совершенному разрѣшенію оной загадки: на какой конецъ человѣкъ рождается, живетъ и умираетъ, и ежели онъ при учености своей злое имѣетъ сердце, то достоинъ сожалѣнія и со всѣмъ своимъ знаніемъ есть сущій невѣжда, вредный самому себѣ, ближнему и цѣлому обществу". Идеализмъ авторовъ неизбежно носить отвлеченный характеръ „свободы и блаженства въ себѣ"; встрѣчается сентиментально-идиллическое прославленіе природы, но все земное—богатство, величіе, власть—представляется тщетнымъ и суетнымъ; смерть восхваляется какъ благо. Съ этой хо-

лодной высоты резонирующаго разума, безъ той теплоты чувства, которой бы мы могли ожидать отъ нравственно настроенныхъ людей, высказано не мало общественно-полезныхъ идей о вредѣ и нелѣпости войны, поединковъ, о необходимости образованія женщинъ и равенствѣ ихъ въ бракѣ; политическіе взгляды масоновъ не отличаются особенной опредѣленностью, но и передъ ними рисуется возвышенный идеаль государя, они прославляютъ законъ, осмѣиваютъ льстецовъ государя, плутовъ—подъячихъ и всяческое неправосудіе; противъ „рабства“ разсѣяно не мало замѣчаній филантропическаго свойства („какая нужда! какая печаль!“), но „Письмо къ другу“, помѣщенное въ „Покоящемся Трудолюбцѣ“, напоминаетъ прежняго издателя „Живописца“. Съ сердечной горестью глядитъ авторъ письма на крестьянъ:

Они, работою и зноемъ утомлены,

.....
Трудятся для себя, но болѣе для насъ,
Отдохновенія едва ль имѣютъ часъ:
Кровавый потъ они, трудясь, проливаютъ
И пищу нужную для насъ приготовляютъ.
Для нашей роскоши, для прихоти своей,
Мы мучимъ, не стыдясь, подобныхъ намъ людей;
Съ презрѣнемъ нѣкоимъ на ихъ труды взираемъ,
Гордяся лѣнностью, ихъ силы изнуряемъ;
Не помнимъ и того, что на одинъ конецъ
Равно готовить всѣхъ, и насъ и ихъ, Творецъ.
Какъ роскошь я мою трудомъ ихъ измѣряю,
Почтеніе къ нимъ храню, къ себѣ его теряю.
Неужто будетъ вѣкъ одна для нихъ чреда
Для пользы нашей жить, а намъ для ихъ вреда.
Не можетъ быть того. Творецъ сіе исправить,
Унизить гордость въ насъ, ихъ выше насъ поставить.

.....
О гордость, корень зла и всѣхъ грѣховъ вина,
Причина варварства и рабства—ты одна!

Особенный интересъ въ названныхъ журналахъ представляютъ статьи о воспитаніи, „источникѣ благополучія и несчастья народовъ“. Такъ, въ статьѣ, вѣроятно, Шварца, въ „Прибавленіяхъ къ Московскимъ Вѣдомостямъ“, дана цѣлая „система“, пожалуй, не уступающая системѣ Локка. Побудительнымъ мотивомъ къ пересмотру вопроса о воспитаніи является безотрадная картина нравовъ: разсѣянная и легкомысленная жизнь, модничанье (кокетки и франты), пристрастіе къ чужому и пр. Задача воспитанія—„сдѣлать дѣтей благополучными и приготовить хорошихъ гражданъ“. Для выполненія такой задачи нужны хорошіе воспитатели, „подпора всего добра“; ихъ нужно строго выбирать, но, выбравъ, уважать. Они, довѣряя уму, нравственному чувству и волѣ дѣтей, будутъ воспитывать ихъ физически, согласно съ требованіями гигиены и медицины, нравственно, но не одно сердце, а и разумъ, ибо, по мнѣнію автора, воля и умъ тѣсно связаны, истинная нравственность основывается на логическомъ мышленіи и знаніяхъ. Особенно цѣнна эта мысль о равноправности воспитанія и образованія въ XVIII вѣкѣ и еще въ масонскомъ журналѣ. Заслуживаетъ вниманія и наставленіе о религіозномъ воспитаніи не путемъ зубренія трудныхъ и непонятныхъ молитвъ, обрядовъ и т. п., а приближеніемъ къ природѣ, чтеніемъ евангелія, предчувствіемъ тайны міра.

Послѣ сдѣланнаго обзора идейнаго содержанія русской литературы съ начала XVIII вѣка мы не встрѣтимъ ни чрезвычайныхъ темъ, ни особой новизны въ ихъ освѣщеніи у послѣдующихъ писателей, какъ Фонвизинъ, Державинъ, Радищевъ. Они даютъ лишь итоги; вмѣсто разбросаннаго и случайнаго — нѣчто цѣльное, въ болѣе или менѣе художественной, прочувствованной формѣ; „чужое“, благодаря внутренней переработкѣ, становится у нихъ уже „своимъ“.

Д. И. Фонвизинъ. (1745—1792).

Біографія. Комедіи: „Бригадиръ“, „Недоросель“.

Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ родился въ 1745 году; родъ свой онъ велъ отъ лифляндскихъ рыцарей. Въ автобіографическихъ сочиненіяхъ („Отрывки изъ дневника“, „Духовное завѣщаніе“, „Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ и помышленіяхъ“) и письмахъ Фонвизина — главный матеріалъ для его біографіи. Отецъ его, Иванъ Андреевичъ, служившій сначала въ военной службѣ, а потомъ въ ревизіонъ-коллегіи въ Москвѣ, а также и мать его уже совершенно обрусѣли. Про отца своего онъ говорить: „отецъ мой былъ человѣкъ большого здраваго разсудка, но не имѣлъ случая, по тогдашнему образу воспитанія, просвѣтить себя ученіемъ. По крайней мѣрѣ читалъ онъ всѣ русскія книги, изъ коихъ любилъ отмѣнно древнюю и римскую исторію, мнѣнія Цицероновы и прочіе хорошіе переводы правоучительныхъ книгъ. Онъ былъ человѣкъ добродѣтельный и истинный христіанинъ, любилъ правду и такъ не терпѣлъ лжи, что всегда краснѣлъ, когда кто лгать при немъ не устыжался“. Средства не позволяли отцу Фонвизина „нанимать учителей иностранныхъ языковъ“, и поэтому первоначальное обученіе Фонвизина носило еще старинный характеръ, подъ руководствомъ отца, отчасти по церковнымъ книгамъ. „Какъ скоро я выучился читать, признается Фонвизинъ, то отецъ мой у крестовъ заставлялъ меня читать. Сему обязанъ я, если имѣю въ російскомъ языкѣ нѣкоторое знаніе; ибо, читая церковныя книги, ознакомился я съ славянскимъ языкомъ, безъ чего и російскаго языка знать невозможно“. По учрежденіи Московскаго университета, отецъ Фонвизина, „не мѣшкая ни сутокъ“ отдалъ туда своего сына. Обученіе въ гимназій, какъ можно вывести изъ анекдотовъ, рассказываемыхъ Фонвизинимъ, стояло не высоко. Изъ событій этого времени имѣетъ значеніе для направленія дальнѣйшей жизни Фонвизина поѣздка его, въ числѣ лучшихъ учениковъ, въ Петербургъ для представленія основателю университета Шувалову. „Ничто, гово-

рить онъ, въ Петербургѣ меня такъ не восхищало, какъ театръ, который я увидѣлъ въ первый разъ отъ роду. Играли русскую комедію, какъ теперь помню „Генрихъ и Пернилла“ (комедія Гольберга, переводъ Нартова). Тутъ видѣлъ я Шумскаго, который шутками своими такъ меня смѣшилъ, что я, потерявъ благопристойность, хохоталъ изо всей силы. Дѣйствія, произведеннаго на меня театромъ, почти описать невозможно: комедію, видѣнную мною, довольно глупую, считалъ я произведеніемъ разума а актеровъ—великими людьми, коихъ знакомство, думалъ я, составило бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости узнавъ, что сіи комедіанты вхожи въ домъ моего дядюшки, у котораго я жилъ. И дѣйствительно, черезъ нѣкоторое время познакомился я тутъ съ покойнымъ Федоромъ Григорьевичемъ Волковымъ. Тутъ познакомился я съ славнымъ нашимъ актеромъ Иваномъ Аванасьевичемъ Дмитревскимъ, человѣкомъ честнымъ, умнымъ, знающимъ и съ которымъ дружба моя до сихъ поръ продолжается“. По окончаніи гимназіи, Фонвизинъ былъ „произведенъ въ студенты“, но пробылъ въ университетѣ всего два года. Несмотря на недостатки преподаванія, „пьянство и нерадѣніе“ учителей и т. п., все-таки Фонвизинъ не мало вынесъ изъ университета: во-1-хъ, знаніе иностранныхъ языковъ, открывшихъ ему непосредственный доступъ къ европейскимъ литературамъ а, главное, вкусъ къ словеснымъ наукамъ. Рассказывая о своей юности, Фонвизинъ, не безъ преувеличеннаго самобичеванія, такъ изображаетъ свой характеръ:

„Я наслѣдовалъ отъ отца моего какъ вспыльчивость, такъ и непамятозлобіе; отъ матери головную боль, которою она во всю жизнь страдала и которая, промучивъ меня все время моего младенчества, юношества и большую часть совершенныхъ лѣтъ, лишила меня многихъ способовъ къ счастію; напримѣръ, въ университетѣ пропускалъ я многія важныя лекціи за головную боль, въ юношествѣ головная боль мѣшала мнѣ часто показать мою исправность въ отпращиваніи службы, черезъ что и заслужилъ я отъ одного начальника имя лѣнивца. Но со всѣмъ тѣмъ признаюсь, что головная боль послужила мнѣ и къ доброму, а именно не допустила меня сдѣлаться пьяницею, къ чему имѣлъ я великій случай и склонность. Природа дала мнѣ умъ острый, но не

дала мнѣ здраваго разсудка. Весьма рано появилась во мнѣ склонность къ сатирѣ. Острыя слова мои носились по Москвѣ; а какъ они были для многихъ язвительны—то обиженные оглашали меня злымъ и опаснымъ мальчишкою; всѣ же тѣ, коихъ острые слова мои лишь только забавляли, прославляли меня любезнымъ и въ обществѣ пріятнымъ. Видя, что вездѣ принимаютъ меня за умнаго человѣка, заботился я мало о томъ, что разумъ мой похвалается на счетъ сердца, и я прежде нажилъ непріятелей, нежели друзей... Меня стали скоро бояться, потомъ ненавидѣть, и я, вмѣсто того, чтобъ привлечь къ себѣ людей, отгонялъ ихъ отъ себя и словами и перомъ. Сочиненія мои были острыя ругательства: много было въ нихъ сатирической соли, но разсудка, такъ сказать, ни капли. Сердце мое, не похвалюсь скажу, предоброе. Я ничего такъ не боялся, какъ сдѣлать какую-нибудь несправедливость и для того ни передъ кѣмъ такъ не трусилъ, какъ передъ тѣми, кои отъ меня зависѣли и кои отомстить мнѣ были не въ состояніи. Я, можетъ быть, истребилъ бы и склонность мою къ сатирѣ, если бы одинъ изъ соучениковъ моихъ, упражнявшійся въ стихахъ, мнѣ въ томъ не воспрепятствовалъ. Я прослылъ великимъ критикомъ и мой соученикъ весьма боялся, чтобы я не сталъ смѣяться стихами его; а дабы вѣрнѣе имѣть меня на своей сторонѣ, то сталъ онъ хвалить мои стихи; каждая строка его восхищала; но такъ какъ тогда разсудокъ во мнѣ не дѣйствовалъ, то я всею своею острою не могъ проникнуть, для чего онъ меня такъ хвалилъ, и думалъ, что я похвалу его заслуживалъ“.

Навыкъ въ переводѣ съ иностранныхъ языковъ доставилъ Фонвизину и служебныя мѣста, сперва въ иностранной коллегіи, потомъ при кабинетъ-министрѣ Елагинѣ, который самъ былъ писателемъ и поощрялъ молодые литературные таланты; въ 1769 году Фонвизинъ снова перешелъ въ иностранную коллегію, гдѣ пробылъ до 1783 года, когда вышелъ въ отставку.

Къ внѣшнимъ событіямъ въ жизни Фонвизина относятся его путешествія за границу: первое (1777—78) въ Монпелье, Парижъ, второе (1784—85)—въ Италію, третье—въ Вѣну, Карлсбадъ, Венгрію, для поправленія своего очень слабаго здоровья. Скон-

чался онъ 1 декабря 1792 года и похороненъ въ Александро-Невской Лаврѣ.

Писать Фонвизинъ началъ очень рано, еще на университетской скамьѣ, и не покидалъ пера до конца жизни, высоко ставя свои литературныя занятія.

Фонвизинъ избралъ родъ литературы, которому наиболѣе прилично названіе правоучительнаго. Слава Фонвизина и до сего дня зиждется на комедіяхъ: „Бригадиръ“ (1766) и „Недоросль“ (1782), хотя не менѣе важное значеніе имѣють его статьи въ „Собесѣдникѣ любителей руссійскаго слова“ („Вопросы автору Былей и Небылицъ“, „Челобитная руссійской Минервѣ отъ руссійскихъ писателей“) и статьи для предполагавшагося, но не разрѣшеннаго цензурою, журнала „Стародумъ“ („письма“ къ Стародуму, „Письмо Тараса Скотинина къ Простаковой“, „Всеобщая придворная грамматика“). Въ этихъ статьяхъ онъ, наравнѣ съ вѣкомъ, защищаетъ права литературы, свободу мысли и слова; смѣло, со „свободоязычіемъ“, какъ выразилась Екатерина II, ополчается на разныя явленія въ жизни государственной и общественной. Картина нравовъ, нарисованная Фонвизинымъ въ комедіяхъ, намъ уже знакома. Въ „Бригадирѣ“ она изображена легко и насмѣшливо, въ „Недорослѣ“—глубже и трагичнѣе. Въ семействахъ Простаковыхъ,—говоритъ Вяземскій,—трагическія развязки нерѣдки. Архивъ уголовныхъ дѣлъ нашихъ можетъ представить тому многочисленныя доказательства. Вотъ нравственная сторона творенія сего, и патріотическая мысль, его одушевляющая, достойна уваженія и признательности. Можно сказать, что подобное исполненіе не только хорошее сочиненіе, но и доброе дѣло“. Серьезную сторону комедіи „Недоросль“ подчеркиваетъ и историкъ Ключевскій, говоря: „герои Недоросля вовсе не забавны, а нетерпимы“, „смѣхъ въ театрѣ смѣняется тяжелымъ раздумьемъ по выходѣ изъ него“, „прошли забавныя положенія людей, но люди остались и снова могутъ встрѣтиться“.

Въ „Бригадирѣ“ представлены комическія стороны двухъ поколѣній: стараго и новаго. Бригадиръ—„военный человекъ, а притомъ и кавалеристъ, не столько иногда любитъ жену свою, сколько лошадь“, способный „разомъ ребра два выхватить“ у

сына, начитанный лишь въ военныхъ артикулахъ. Совѣтникъ— „бываль судей: виноватый, бывало, платить за вину свою, а правый за свою правду“, также говариваль, „что взятки и за-прещать невозможно. Какъ рѣшить дѣло за одно свое жалованье. Этого мы, какъ родились, и не слыхивали. Это противъ натуры человѣческой“, въ своихъ любовныхъ похожденияхъ онъ готовъ продать и Бога, напоминая своимъ кощунствомъ и ханжествомъ мольтеровскаго Тартюфа, только поглубѣ. Бригадиршъ— „скучны всѣ тѣ рѣчи, отъ которыхъ нѣтъ никакого барыша“, она, по словамъ сына, „за рубль рада вытерпѣть горячку съ пятнами“ и притомъ необыкновенно сварлива: „Бригадиръ, ска-зываютъ, до женитьбы не вѣрилъ, что и чортъ есть; однакоже, женися, скоро повѣрилъ, что нечистый духъ экзистируетъ“. Совѣтница представляетъ другую разновидность вѣка: она не хозяйка-скопидомка, а щеголиха, считающая всѣ правила нравственности за предрасудки, обожающая Иванушку, „французскаго повѣсу“. Если причина порока бригадировъ, совѣтниковъ и бригадиршъ—невѣжество, отсутствіе образованія, то Иванушки—плодъ дурного воспитанія. Избалованный сначала дурой-матерью, потомъ учившійся въ пансіонѣ какого-то французскаго кучера, наконецъ, заканчивавшій образованіе на парижскихъ бульварахъ, Иванушка не могъ, конечно, „украсить голову снутри“. Нѣкоторые критики хотѣли видѣть въ карикатурномъ изображеніи петиметровъ, щеголихъ, французоманіи какъ бы противоположеніе идеальной древне-русской простотѣ, семейственности и т. д. Но картина семейства Простаковыхъ въ „Недорослѣ“ исключаетъ возможность какой-либо идеализаціи „старинны“: это пережитки старой Руси, совершенно незатронутые петровской реформой.

Главное дѣйствующее лицо комедіи „Недоросль“—Простакова—стало нарицательнымъ именемъ для глупости и злости; самъ авторъ называетъ ее „презлою фуріей, которой адскій нравъ дѣлаетъ несчастіе цѣлаго дома“; злая и безчеловѣчная къ однимъ, низкая и трусливая въ отношеніи къ другимъ, она какъ будто все цѣнное для нея въ жизни сосредоточила на Митрофанушкѣ, но какъ гнусна эта эгоистическая нѣжность къ сыну и какъ низменны ея понятія о томъ, что нужно человѣку! Мужъ

Простаковой безпомощное существо, „уродъ“, „рохля“, по грубому выраженію его жены, то „въ столбнякъ“ стоитъ, то „поретъ такую дичь, что просишь у Бога опять столбняка“. Братъ Простаковой, Скотининъ, грубъ, какъ бригадиръ, крайне невѣжественъ и пошлъ въ своей привязанности къ свиньямъ. Митрофанушка—достойный плодъ „злонравія“ семьи. Онъ прямо отвратителенъ, особенно въ сценѣ съ учителями и въ заключительныхъ словахъ къ матушкѣ: „да отвяжись! какъ навязалась!“... И таково-то благородное россійское дворянство, надѣленное правами и привилегіями, призванное устраивать русскую жизнь на началахъ самоуправленія и гуманнаго обращенія съ подвластными крестьянами, цвѣтъ общества по уму и образованію. Какая злая насмѣшка! Сатирикъ долженъ былъ подойти къ самому корню зла: къ крѣпостному праву, и онъ намѣтилъ, но, по цензурнымъ условіямъ того времени, не могъ показать во всей рѣзкости живыхъ результатовъ крѣпостничества. Мы достаточно слышимъ о безчеловѣчномъ обращеніи со слугами, видимъ же на сценѣ непокорнаго, озлобленнаго „холопа“ Тришку и вѣрную забитую рабу Еремѣвну. Комедія, можетъ быть, выиграла бы, если бы была построена на антитезѣ безотвѣтственности и самодурства однихъ и приниженности другихъ, какъ въ послѣдствіи изобразилъ Островскій свое „темное царство“. Но Фонвизинъ умалилъ и художественное и общественное значеніе своей комедіи, сведя ее къ уроку для дворянства.

Основные идеи и идеалы автора выражены въ благородныхъ лицахъ комедій: Добролюбовъ и Софья—въ „Бригадирѣ“, Милонъ, Софья, Правдинъ и Стародумъ—въ „Недорослѣ“. Говорятъ о блѣдности этихъ лицъ, о резонерствѣ. Но гдѣ же было взять живые идеалы? Въ переходныя эпохи, когда сознаніе еще не успѣло претвориться въ жизнь, благородные герои всегда будутъ походить на моралистическіе манекены, и это обстоятельство не должно имъ ставиться въ особую фальшь. Что же „проповѣдуетъ“ авторъ устами излюбленныхъ героевъ? Достаточно прислушаться къ рѣчамъ Стародума. Для пониманія этого нарицательнаго имени можно припомнить, что въ 1788 году Фонвизинъ хотѣлъ издавать журналъ „Стародумъ“ или „Другъ честныхъ людей“ съ цѣлью преслѣдовать всевозможные пороки

общества: казнокрадство, взяточничество и праздность чиновниковъ, высокомеріе и произволъ сильныхъ людей, придворныхъ, ихъ пустоту и мотовство, современную распущенность нравовъ, невѣжество, суровость къ крестьянамъ дурныхъ помѣщиковъ... Таковъ Стародумъ и въ комедіи. Человѣкъ своего вѣка, онъ согласуетъ свои совѣты съ указаніями западно-европейской философіи, называя, а чаще скрывая своихъ вдохновителей. „Кто написалъ Телемака, тотъ перомъ своимъ нравовъ развращать не станетъ“, говоритъ Стародумъ о Фенелонѣ. Главное — нравы, добродѣтель. „Имѣй сердце, имѣй душу и будешь человѣкъ во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знанія мода, какъ на пряжки, на пуговицы. Безъ души просвѣщеннѣйшая умица — жалкая тварь. Невѣжда безъ души звѣрь“. „Воспитаніе должно быть залогомъ благосостоянія государства. Отъ дурного воспитанія всѣ несчастныя слѣдствія“. Стародумъ „желалъ бы, чтобы при всѣхъ наукахъ не забывалась главная цѣль всѣхъ знаній человѣческихъ — благоправіе. Просвѣщеніе возвышаетъ одну добродѣтельную душу“. Основа добродѣтели, по Стародуму, честность, честь. Съ нею сопрягается исполненіе долга передъ отечествомъ, истинное счастье семейное, характеръ отношеній къ себѣ подобнымъ. Быть „благоправнымъ“ выгодно, „какъ скоро всѣ увидятъ, что безъ благоправія никто не можетъ выйти въ люди; что ни подлой выслугой и ни за какія деньги нельзя купить того, чѣмъ награждается заслуга; что люди выбираются для мѣстъ, а не мѣста похищаются людьми“. Это достижимо, конечно, при идеальномъ государѣ. „Великій государь есть государь премудрый. Его дѣло показать людямъ прямое ихъ благо. Слава премудрости его та, чтобы править людьми, потому что управляться съ истуканами нѣтъ премудрости. Крестьянинъ, который плоше всѣхъ въ деревнѣ, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своихъ подданныхъ“, „Гдѣ государь мыслить, гдѣ знаетъ онъ, въ чемъ его истинная слава, тамъ человѣчеству не могутъ не возвращаться его права; тамъ всѣ скоро ощутятъ, что каждый долженъ искать своего счастья и выгодъ въ томъ одномъ, что законно, и что угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ незаконно“. Трудно не узнать въ

подобныхъ тирадахъ философскихъ и политическихъ идей вѣка, просачивавшихся въ русскую литературу всякими способами; невольно сопоставляются рѣчи Стародума съ статьями Наказа. Прежде всего Стародумъ обращается съ своими правоученіями къ дворянству, его хочетъ воспитать, надѣ его недостатками больше всего грустить. „Дворянинъ, недостойный быть дворяниномъ,—подлѣе его ничего на свѣтѣ не знаю“. При дворѣ и въ высшемъ свѣтѣ Стародумъ увидѣлъ, что „между людьми случайными и людьми почтенными бываетъ иногда неизмѣримая разни́ца, что въ большомъ свѣтѣ водятся премелкія души и что съ великимъ просвѣщеніемъ можно быть великому скареду“. „Въ этой сторонѣ по большой прямой дорогѣ никто почти не ѣздитъ, а всѣ объѣзжаютъ крюкомъ, надѣясь доѣхать поскорѣе... Двое, встрѣтятся, разойтись не могутъ. Одинъ другого сваливаетъ, и тотъ, кто на ногахъ, не поднимаетъ уже никогда того, кто на земли“. Такъ Фонвизинъ, а раньше Екатерина, Щербатовъ и другіе, несмотря на сердечное влеченіе къ дворянству, долженъ былъ рисовать, изъ чувства справедливости, печальную картину своего рода „оскудѣнія“ господствующаго сословія.

Г. Р. Державинъ. (1743—1816).

Біографія. Оды.

Гавріиль Романовичъ Державинъ родился въ Казани въ 1743 году и по происхожденію принадлежалъ къ казанскому дворянству. Себя онъ часто изображалъ мурзой, внукомъ Багрима, выѣхавшаго изъ Орды въ Россію въ XV вѣкѣ, намекая тѣмъ самымъ на свое татарское происхожденіе по отцу. Вмѣстѣ съ отцомъ своимъ Державинъ странствовалъ по разнымъ городамъ Россіи. Въ Оренбургѣ, въ школѣ „сосланнаго въ каторжную работу“ нѣмца Розе, „круглаго невѣжды“, Державинъ получилъ свое первое образованіе. Единственно важнымъ пріобрѣтеніемъ Державина въ этой школѣ было знакомство съ

нѣмецкимъ языкомъ, которое дало ему возможность читать въ подлинникахъ писателей классическаго періода нѣмецкой литературы. По смерти отца (1754), Державину пришлось узнать и крайнюю бѣдность и беззащитность слабыхъ, что впослѣдствіи станетъ мотивомъ его творчества. Вдовѣ „съ малыми своими сыновьями пришлось ходить по судьямъ, стоять у нихъ въ передней по нѣсколько часовъ, дожидаясь ихъ выхода; но когда выходили, никто не хотѣлъ выслушать ее порядочно, но всѣ съ жестокосердіемъ проходили мимо, и она должна была ни съ чѣмъ возвращаться домой“. Однако, несмотря на затрудненія, мать продолжала обученіе сына—отдала его въ Казани сперва гарнизонному школьнику Лебедеву, потомъ артиллеріи штыкъ-юнкеру Полетаеву, наконецъ, въ открывшуюся въ 1759 году гимназію. Въ „Запискахъ“ о своей жизни, представляющихъ главный матеріалъ для біографіи Державина, онъ такъ говоритъ объ ученіи въ гимназіи: „Недостатокъ мой исповѣдую въ томъ, что я былъ воспитанъ въ то время и въ тѣхъ предѣлахъ имперіи, куда и когда не проникало еще въ полной мѣрѣ просвѣщеніе наукъ не только на умы народа, но и на то состояніе, къ которому принадлежу. Насъ учили тогда вѣрѣ безъ катехизиса, языкамъ—безъ грамматики, числамъ и измѣренію—безъ доказательствъ, музыкѣ—безъ нотъ и тому подобное“. За время пребыванія въ гимназіи, Державинъ однако продолжалъ усовершенствоваться въ нѣмецкомъ языкѣ, пристрастился къ рисованію и успѣлъ въ наукахъ, „касающихся воображенія“. Директоръ гимназіи Вережкинъ, самъ писатель, весьма поощрялъ всякаго рода литературныя упражненія — писаніе стиховъ, участіе въ спектакляхъ и т. п. По выходѣ изъ гимназіи, Державинъ, вопреки своему намѣренію поступить въ Инженерный корпусъ, попалъ въ казармы Преображенскаго полка, куда онъ былъ записанъ еще раньше, какъ это должны были дѣлать всѣ дворяне. Среди невѣжества, разврата, кутежей, картежной игры, Державина спасала отъ окончательнаго паденія лишь совѣсть „или, лучше сказать, молитвы матери“, да врожденная страсть къ стихотворству: „часто запершись дома, ѣлъ хлѣбъ съ водою и маралъ стихи“. Онъ продолжаетъ самообразование, читаетъ „нѣмцевъ“, „старается научиться стихотворству изъ книги о поэзіи Тредьяковского,

изъ прочихъ авторовъ, какъ Ломоносова и Сумарокова“. Участіе въ усмиреніи Пугачевского бунта, подъ начальствомъ генерала Бибикова, обращаетъ на него вниманіе. Еще болѣе выдвигается онъ послѣ написанія Рѣчи, отъ имени казанскаго дворянства, въ отвѣтъ на рескриптъ императрицы Екатерины II. Въ 1777 году онъ переходитъ въ штатскую службу въ сенатъ подъ начальство генераль-прокурора Вяземскаго; въ 1784 году назначается губернаторомъ олонекимъ, въ 1785—тамбовскимъ; нѣкоторое время затѣмъ служитъ статсъ-секретаремъ при Екатеринѣ II, сенаторомъ, президентомъ Коммерцъ-коллегіи, государственнымъ казначеемъ; при Александрѣ I, въ 1802 году, онъ былъ назначенъ министромъ юстиціи, но не расположилъ къ себѣ императора своимъ противодѣйствіемъ новымъ либеральнымъ идеямъ и въ слѣдующемъ же году вышелъ въ отставку. Послѣдніе свои годы онъ проводилъ преимущественно въ деревнѣ Званка, въ Новгородской губерніи, на берегу Волхова. Умеръ онъ 8 іюля 1816 года.

Оставляя въ сторонѣ роль Державина въ администраціи и общественной жизни, гдѣ онъ обнаружилъ не мало энергіи, честность, человѣчность, гражданское мужество, практическій смыслъ, нельзя не признать, что въ области поэзіи онъ проявилъ большое дарованіе,—сильное и самобытное,—стремленіе къ усовершенствованію его, преданность литературѣ („а я пѣить, и не умру“—съ гордостью говорилъ онъ) и проповѣдь добра и правды („горячъ и въ правдѣ чортъ“ — говорилъ онъ про себя безъ самохвальства). Онъ своей жизнью оправдалъ свой собственный отзывъ:

Не умѣлъ я притворяться,
 На святого походить,
 Важнымъ саномъ надуваться
 И философа брать видъ.
 Я любилъ чистосердечье,
 Думалъ нравиться лишь имъ,
 Умъ и сердце человѣчье
 Были гениемъ моимъ.

Несмотря на продолжительность и разнообразіе поэтической дѣятельности Державина, немногое, однако, можетъ быть отмѣ-

чено какъ выдающееся во всѣхъ отношеніяхъ. Основная черта его характера—невъдержанность, горячность и крайняя поспѣшность—сказалась и здѣсь: рядомъ съ дѣйствительно прекрасными стихами—легкими, плавными, звучными,—искусственный пафосъ, холодная риторика и растянутость изложенія. Съ одной стороны, пользованіе всѣми богатствами церковно-славянскаго, русскаго книжнаго и простонароднаго (даже областного) языка, а съ другой—рядъ неправильностей и неровности въ языкѣ. Лучшія его произведенія относятся ко времени царствованія Екатерины II: это оды, посвященныя самой императрицѣ („Фелица“, напечатанная въ „Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова“ 1783 г.; „Видѣніе Мурзы“), Суворову (на его побѣды), Потемкину и другимъ сподвижникамъ Екатерины II.

Державина можно назвать „пѣвцомъ екатерининскаго вѣка“ не за лѣтопись побѣдъ и завоеваній, успѣховъ нашей гражданственности, наукъ и промышленности, не за описаніе блестящихъ и пышныхъ праздниковъ вельможъ и т. п., а за выраженіе тѣхъ чувствъ и настроеній, какія переживали современники Екатерины II. „Было какое-то очарованіе, которымъ жилъ тогда русскій народъ,—говоритъ Хомяковъ;—было восторженное настроеніе, безмѣрно далеко отстоящее отъ нынѣшняго унынія и, очевидно, слишкомъ высокое и напряженное, чтобы удержаться на этой высотѣ“. Это ощущеніе, наиболѣе присущее, конечно, дворянскому классу, и передалъ Державинъ въ своихъ одахъ, и въ этомъ одна изъ главныхъ причинъ его необыкновеннаго успѣха. На первомъ планѣ сама Екатерина II, равно плѣнявшая умъ и личными качествами и дѣятельностью. Богоподобная „Фелица“—идеализація дѣйствительной императрицы, характерная для людей XVIII вѣка. Мы узнаемъ отсюда идеаль монарха. Отъ него требуется простота и любезность въ обращеніи, твердость и мужество характера, уваженіе человѣческаго достоинства подданныхъ и сознаніе законныхъ правъ человѣка, дѣятельность на благо народа. За императрицей идутъ ея сподвижники, наперсники у трона, совѣтодатели въ войнѣ и мирѣ: Потемкинъ, Румянцевъ, Суворовъ и другіе. Державинъ поетъ ихъ „великія дѣла“, счастье и славу. Но имъ далеко до божественной царицы, которая остается единственной и одинокой среди придворныхъ по своимъ высо-

кимъ качествамъ. Увлекаемый идеаломъ правителя—истиннаго друга народа, а, можетъ быть, и побуждаемый сатирическимъ направлениемъ русской литературы XVIII вѣка, Державинъ внесъ въ свои оды элементъ сатиры и съ той же энергіей и искренностью, съ какой воспѣвалъ царицу, порицалъ ея царедворцевъ за чрезмѣрную любовь къ пустымъ удовольствіямъ, праздность, пустоту жизни. Подобное соединеніе оды и сатиры, встрѣчавшееся и въ тогдашней нѣмецкой поэзіи, отличаетъ оду Державина отъ оды Ломоносова. Особенно сильно сказалось негодованіе Державина на себялюбивое и развращенное пристрастіе къ роскоши въ одѣ „Вельможа“. Особенность Державинской сатиры не въ содержаніи, а въ формѣ, въ томъ лирическомъ воодушевленіи, которое не знаетъ скучнаго однообразія и незамѣтно мѣняетъ тона. „Его сатира является то грозной филиппикой и гремитъ на порокъ проклятіемъ раздраженной и негодующей души, то слезою тронутаго сердца, оплакивающаго заблужденіе; то ядовитою насмѣшкою ума, оскорбленнаго глупостями всендневной жизни; то шуткой добродушнаго характера, рожденною въ веселую минуту“ (Миллюковъ). Была у Державина еще одна страсть въ духѣ вѣка,—рядомъ съ пѣніемъ жизненныхъ утѣхъ,—склонность къ морализаціи. Его мораль не отличается ни особенной глубиной, ни вдохновеніемъ. Послѣ картинъ наслажденій и пировъ, написанныхъ дѣйствительно съ восторгомъ и воодушевленіемъ, его разсужденія о смерти кажутся холодной резонирующей риторикой: „Смерть—трепетъ естества и страхъ. Мы—гордость съ бѣдностью совмѣстна. Сегодня—богъ, а завтра прахъ. Сегодня льститъ надежда лестна, а завтра—гдѣ ты человѣкъ? Едва часы протечъ успѣли, хаоса въ бездну улетѣли, и весь, какъ сонъ, прошелъ твой вѣкъ“. И это стихи изъ лучшей „нравственно-философской“ оды Державина „на смерть князя Мещерскаго“. Спасеніе отъ страха смерти Державинъ ищетъ не въ сознаніи, что въ „потокѣ времени“ тонуть однѣ только формы, а не идеи, а—въ „правилахъ любомудрія“ и наивномъ эпикуреизмѣ: „Жизнь мудраго—жизнь наслажденія всѣмъ тѣмъ, природа что даетъ. Не спать въ свой вѣкъ и съ попеченья не чахнуть, коль богатства нѣтъ; знать малымъ пробавляться скромно, жить съ беззаконными законно, чтить доблесть, не любить порокъ, со всѣми и всегда ужиться,

но только съ добрыми дружитья: вотъ въ чемъ былъ Аристипповъ толкъ“. Это воззрѣніе на жизнь напоминаетъ взгляды Кантемира, а еще болѣе ихъ общаго образца—Горація. Въ этомъ духѣ оды: „На счастье“, „Жизнь Званская“ и др.

Къ числу лучшихъ одъ Державина духовно-правственнаго содержанія относится ода „Богъ“. Здѣсь сказалась и сила религіознаго одушевленія, потрясающая сердце, и смѣлость образовъ, и полетъ мысли, дерзающей проникать въ безконечныя пространства. Великолѣпны и картины природы. Примѣромъ того, какъ умѣлъ Державинъ писать картины природы, можетъ служить ода „Водопадъ“ (на смерть Потемкина), о которой Гоголь выразился слѣдующимъ образомъ: „Природа тамъ какъ бы высшая нами зримой природы, люди могучѣе намъ знакомыхъ людей, и наша обыкновенная жизнь, предъ величественной жизнью, тамъ изображенной, только муравейникъ, который гдѣ-то далеко копошится внизу“.

А. Н. Радищевъ (1749—1802).

Биографія. „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“.

Александръ Николаевичъ Радищевъ, изъ стариннаго, но захудалаго дворянскаго рода, родился 20 Августа 1749 года въ саратовской губерніи. Отецъ его былъ образованный человѣкъ, знакомый съ иностранными языками, начитанный, хорошій хозяинъ, притомъ весьма гуманно относившійся къ своимъ крестьянамъ. Воспитывался юный Радищевъ сперва дома, подъ руководствомъ француза гувернера, довольно невѣжественнаго человека; потомъ въ Москвѣ въ домѣ дяди (по матери) Аргамакова; 13 лѣтъ онъ былъ опредѣленъ въ пажескій корпусъ, въ товарищество „невѣждъ и шалуновъ“, по отзыву Екатерины о пажахъ по окончаніи корпуса, въ числѣ шести лучшихъ учениковъ, Радищевъ былъ посланъ въ Лейпцигскій университетъ. Несмотря на крайне стѣснительное виѣшнее положеніе, главнымъ образомъ, благодаря грубому и корыстолюбивому надзирателю за

русскими студентами, Радищевъ много и серьезно занимался языками, естественными науками и, согласно инструкции, „моральной философіей, исторіей, а наипаче правомъ естественнымъ и всенароднымъ, и нѣсколько и римской имперіи правомъ“. Большое впечатлѣніе должна была произвести на него и французская литература вѣка просвѣщенія: „по ней учились мыслить“. Вернувшись, послѣ пятилѣтняго пребыванія за границей, домой, Радищевъ поступилъ на службу въ сенатъ протоколистомъ; затѣмъ служилъ въ коммерцъ-коллегіи и въ петербургской таможнѣ, гдѣ дослужился до управляющаго. Въ то же время Радищевъ пишетъ стихи, переводитъ „Размышленіе о греческой исторіи или о причинахъ благоденствія и несчастія грековъ. Сочиненіе г. аббата де Мабли“, составляетъ „Житіе Ѳ. В. Ушакова“ и наконецъ — „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ (1785—1790). Екатерина II обратила вниманіе на эту книгу, въ которой, по ея замѣчанію, „намѣреніе на каждомъ листѣ видно; сочинитель оной наполненъ и зараженъ французскимъ заблужденіемъ, ищетъ всячески и выискиваетъ все возможное къ умаленію почтенія къ власти и къ властямъ, къ приведенію народа въ негодованіе противу начальниковъ и начальства“. Начались слѣдствіе и судъ. Приговоръ палаты былъ кратокъ: „Наказать смертію, а именно, по силѣ воинскаго устава 20-го артикула, отсѣчь голову“. Императрица замѣнила смертную казнь десятилѣтнею ссылкой въ одно изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ Сибири — Илимскій острогъ, болѣе 500 верстъ къ сѣверу отъ Иркутска. Книгу же повелѣно было отобрать и сжечь, хотя большинство экземпляровъ вернуть было уже невозможно. И по дорогѣ въ Сибирь и на мѣстѣ ссылки Радищевъ остается тѣмъ же мыслителемъ, живо откликающимся на то, что кругомъ происходитъ: наблюдаетъ, изучаетъ, пишетъ („О человѣкѣ, его смертности и безсмертіи“ — одно изъ первыхъ оригинальныхъ русскихъ философскихъ произведеній и пр.). Вскорѣ по вступленіи на престолъ императора Павла I, Радищевъ получилъ амнистію (1797) и право возвращенія въ Россію, но съ „постояннымъ мѣстомъ пребыванія“. Полную свободу онъ получилъ лишь въ 1801 году, въ царствованіе Александра I; онъ былъ даже принятъ на службу членомъ „комиссіи сочиненія законовъ“. По предложенію императора, онъ составилъ записку

относительно нѣкоторыхъ гражданскихъ постановленій, въ духѣ прежнихъ своихъ мечтаній. Графъ Завадовскій напомнилъ ему Сибирь. Радищевъ, говорятъ, въ отчаяніи, покончилъ самоубійствомъ (1802).

Радищевъ является мыслителемъ самостоятельнымъ и принципиальнымъ, напоминавшимъ, „что нужно въ жизни имѣть правила, дабы быть блаженнымъ, и что должно быть твердо въ мысляхъ, дабы умирать безтрепетно“. Человѣкъ необыкновенно воспримчивый и впечатлительный въ идейномъ и житейскомъ смыслѣ, онъ отразилъ въ своей „многострадальной“ книгѣ: „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ (1790 г. въ Санкт-петербургѣ) и свои „мечтанія“ и „несносное пробужденіе“. Эти мечтанія, съ одной стороны, плодъ лекцій профессоровъ Лейпцигскаго университета, учившихъ, какъ Геллертъ, о служеніи истинѣ и добродѣтели, или критиковавшихъ, какъ Платнеръ, социальныя отношенія между богатыми и бѣдными; съ другой — результатъ изученія французскихъ философовъ и писателей. Будучи студентомъ, Радищевъ, говоря его словами, „учился мыслить“ по книгѣ Гельвеція „о разумѣ“, предпочиталъ курсу профессора Беме изученіе сочиненій Мабли, возбуждавшаго революціонный духъ разсужденіями о свободѣ и равенствѣ, объ обязанностяхъ гражданина; сочиненіе Радищева обнаруживаетъ близкое знакомство послѣдняго съ Руссо, энциклопедистами (особенно Гольбаха „Система природы“), Рейналемъ („Философская и политическая исторія европейскихъ колоній и европейской торговли въ обѣихъ Индіяхъ“). „Пробужденіе“ отъ возвышенныхъ и благородныхъ мечтаній заключалось въ близкомъ соприкосновеніи съ дѣйствительностью русской жизни, общее впечатлѣніе которой Радищевъ выразилъ въ эпиграфѣ къ своей книгѣ: „чудище, обло, озорно, огромно, стозѣвн и лаяй“. Эта пропасть между идеаломъ и дѣйствительностью, мучившая „чувствительную“ душу, и была, вѣроятно, главной побудительной причиной къ сочиненію книги. Радищевъ хотѣлъ быть писателемъ, чтобы „соучастникомъ быть во благодѣйствіи себѣ подобнымъ“, искалъ нравственнаго удовлетворенія въ томъ, „если твореніемъ своимъ могъ просвѣтить хотя единаго; блаженъ, если въ единомъ хотя сердцѣ посѣялъ добродѣтель“. Такимъ образомъ, идейная сторона книги и ея

реальное содержаніе тѣсно спаяны одной цѣлью — принести пользу обществу. Все, что крупными, по частямъ, въ формѣ намековъ и иносказаній, высказывалось въ обличительныхъ произведеніяхъ русской литературы XVIII вѣка, въ „Путешествіи“ соединено въ одинъ фокусъ, сказано прямо и сильно; и при этомъ освѣщено такимъ полнымъ и стройнымъ міросозерцаніемъ, которое обнаруживаетъ уже не ученическое, а вполне сознательное и глубокое усвоеніе умственныхъ теченій западно-европейской мысли. Въ этомъ смыслѣ, Радищевъ представляетъ дѣйствительное свидѣтельство зрѣлости русской мысли, которая не проходитъ безслѣдно, какъ проходитъ чужое и случайное, а создаетъ прочную традицію и измѣняетъ дѣйствительность, несмотря на всякія препятствія. Судьба книги и ея автора извѣстны. Въ вину автору было поставлено то, что онъ наполнилъ книгу „самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное къ властямъ уваженіе, стремящимися къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противу начальниковъ и начальства, и, наконецъ, оскорбительными и неистовыми изразженіями противу сана и власти царской“. Въ чемъ же заключаются „вредныя умствованія“ преступнаго писателя?

Исходной точкой для Радищева является природа и просвѣщенный разумъ. „Я обратилъ взоры мои во внутренность мою и узрѣлъ, что бѣдствія человѣка происходятъ отъ чловѣка, и часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы“. „Я чловѣку,—говоритъ Радищевъ въ другомъ мѣстѣ,—нашелъ утѣшителя въ немъ самомъ. Отыми завѣсу отъ очей природнаго чувствованія, и блаженъ буду“. Эти природныя чувствованія, страсти—не зло, а благо: „совершенно безстрастный чловѣкъ есть глупецъ и истуканъ нелѣпый“; если „чрезвычайность въ страсти есть гибель“, то „безстрастіе есть нравственная смерть“; просвѣщенный разумъ, не подавляя страсти, умѣряетъ ее и дѣлаетъ чловѣка господиномъ его духовной жизни. Юность должна научиться познавать свои заблужденія и управлять собою. Велика и отвѣтственна при этомъ роль воспитателя. Основывая союзъ семейный между родителями и дѣтьми на началахъ полной свободы, ибо связь явится сама собою, гдѣ

дѣйствуетъ законъ самосохраненія, Радищевъ и въ дѣлѣ воспитанія—противъ принужденія, чтобы воспитать „духъ нетерпящъ вельнїа безразсуднаго, кротокъ къ совѣту дружества“. Истинное воспитаніе на первой ступени исключаетъ „наемныхъ рачительницъ“ и „наемныхъ наставниковъ“. Задача воспитанія—укрѣпить тѣло физическими упражненіями и трудами, развитъ умъ размышленіями, избѣгая излишняго отягощенія памяти, воспитать нравственное чувство и чувство собственнаго достоинства, которое бы сдѣлало человѣка судьей собственныхъ поступковъ и заставило бы его избѣгать „даже вида раболѣпствованія“. Радищевъ признавалъ свободу личности въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Чуждый совершенно мистицизма, Радищевъ не былъ, однако, и атеистомъ: онъ исповѣдывалъ единаго всеильнаго подъ разными именами Бога и другимъ предоставлялъ полную свободу совѣсти, не зная ни государственныхъ интересовъ религіи, ни религіозныхъ преступленій: „если думаешь, что хуленіемъ Всевышній оскорбится,—урядникъ ли благочестія можетъ истецъ быть за него“. Радищевъ отстаивалъ свободу мысли и устнаго и печатнаго слова. „Пускай печатаютъ все, кому что на умъ ни взойдетъ. Кто себя въ печати найдетъ обиженнымъ, тому да дастся судъ по формѣ. Я говорю не смѣхомъ. Слова не всегда суть дѣянїя, размышленія же не преступленія. Се правила Наказа о новомъ уложеніи. Но брань на словахъ и въ печати—всегда брань. Въ законѣ никого бранить не вѣлно, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажетъ правду, бранью ли то почитать, того въ законѣ нѣтъ. Какой вредъ можетъ быть, если книги въ печати будутъ безъ клейма полицейскаго. Не токмо не можетъ быть вреда, но польза, польза отъ перваго до послѣдняго, отъ малаго до великаго, отъ царя до послѣдняго гражданина“. „Ценсура“,—говоритъ онъ въ главѣ „Торжокъ“,—сдѣлана нянькою разсудка, остроумія, воображенія, всего великаго и изящнаго. Но гдѣ есть няньки, то слѣдуетъ, что есть ребята, ходятъ на помочахъ, отчего нерѣдко бываютъ кривыя ноги; гдѣ есть опекуны, слѣдуетъ, что есть малолѣтніе, незрѣлые разумы, которые собою править не могутъ. Если же всегда пребудутъ няньки и опекуны, то ребенокъ долго ходить будетъ на помочахъ и совершенный на возрастѣ будетъ калѣка... Таковы

вездѣ бываютъ слѣдствія обыкновенной цензуры, и чѣмъ они строже, тѣмъ слѣдствія ея пагубнѣе“.

Отъ свободы, такъ сказать, личной Радищевъ переходитъ къ свободѣ общественной. Человѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ и гражданинъ. И въ подтвержденіе этого тезиса Радищевъ ссылается на естественное право и свободный договоръ. „Человѣкъ рождается въ мірѣ, — говоритъ онъ, — равенъ во всемъ одинъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю. Слѣдовательно, человѣкъ безъ отношенія къ обществу есть существо, ни отъ кого не зависящее въ своихъ дѣяніяхъ... Какія же ради вины обуздываетъ онъ свои хотѣнія? Почто поставляетъ надъ собою власть? Для своей пользы, скажетъ разсудокъ; для своей пользы, скажетъ внутреннее чувство; для своей пользы, скажетъ мудрое законоположеніе. Слѣдственно, гдѣ нѣтъ его пользы быть гражданиномъ, тамъ онъ и не гражданинъ. Слѣдственно, тотъ, кто восхощетъ его лишитъ пользы гражданскаго званія, есть его врагъ. Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законѣ. Если законъ не въ силахъ заступитъ человѣка, или того не хочетъ, или власть его не можетъ мгновенное въ предстоящей бѣдѣ дать вспомошествованіе, тогда пользуется гражданинъ природнымъ правомъ защищенія, сохранности, благосостоянія“. Насколько высоко цѣнили Радищевъ вольность, видно изъ его со-вѣта: „Если ненавистное щастіе истощитъ надъ тобою всѣ стрѣлы свои, если добродѣтели твоей убѣжища на земли не останется, если доведенну до крайности не будетъ тебѣ покрова отъ угнетенія, тогда спомни, что ты человѣкъ, воспомяни величество твое, восхити вѣнецъ блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. Умри“.

Свои принципы Радищевъ приложилъ къ русской жизни. Онъ далъ ея вѣрную картину. Обличенія Радищева касаются всѣхъ сторонъ русской жизни, всѣхъ ея язвъ, прежде всего крѣпостного права, администраціи, судебныхъ порядковъ, состоянія просвѣщенія, нравовъ. Обстановка жизни народной массы, на которой, однако, зиждется все благосостояніе господствующихъ классовъ, ужасна. Курная изба, темная, грязная, тѣсная; „пустыя щи“; „посконная рубаха, обувь, данная природой, онучки съ лаптями для выхода.“ „Вотъ въ чемъ почитается по справед-

ливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества; но тутъ же видны слабость, недостатки и злоупотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Тутъ видна алчность дворянства, грабежъ, мучительство наше и беззащитное нищеты состояніе“. Склонный къ нѣкоторой напыщенности въ слогѣ (тоже и у Рейналя), но вполне искренній въ чувствахъ, Радищевъ восклицаетъ далѣе: „Звѣри алчные, піявицы ненасытныя, что крестьянину мы оставляемъ?—то, чего отнять не можемъ,—воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ у него перѣдко не токмо даръ земли, хлѣбъ и воду, но и самый свѣтъ. Законъ запрещаетъ отъяти у него жизнь. Но развѣ мгновенно. Сколько способовъ отъяти ее у него постепенно. Съ одной стороны почти всесиліе; съ другой—немошь беззащитная. Ибо помѣщикъ въ отношеніи крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего рѣшенія и, по желанію своему, истецъ, противъ котораго отвѣтчикъ ничего сказать не смѣетъ. Се жребіи закланнаго въ узы, се жребіи заключеннаго въ смрадной темницѣ, се жребіи вола въ ярмѣ“. Въ рядѣ живыхъ сценъ, выхваченныхъ изъ дѣйствительности, какъ будто случайно, встаетъ передъ нами крѣпостное право. Вотъ крестьянинъ, пахущій шесть разъ въ недѣлю на помѣщика, а въ воскресенье на себя („Любань“); вотъ образчикъ помѣщика, „который сдѣлался повелителемъ нѣсколькихъ сотъ себѣ подобныхъ“: „они у прежняго помѣщика были на оброкѣ, онъ ихъ посадилъ на пашню; отнялъ у нихъ всю землю... заставилъ всю недѣлю работать на себя, а дабы они не умирали съ голоду, то кормилъ ихъ на господскомъ дворѣ, и то по одному разу въ день, а инымъ давалъ изъ милости мѣсячину. Если который казался ему лѣнливъ, то сѣкъ розгами, плетью, батожемъ или кошками, смотря по мѣрѣ лѣности... Его сожительница, сыновья и дочери поступали съ крестьянами также варварски и позволяли себѣ дѣлать всякія насилія“ („Зайцево“); вотъ продаются съ аукціона „старикъ лѣтъ 75; съ отцомъ господина своего онъ былъ въ крымскомъ походѣ при Минихѣ; во франкфуртскую кампанію раненаго унесъ его съ поля сраженія; потомъ былъ дядькой молодого барина и также нѣсколько разъ спасалъ его отъ разныхъ несчастій. Старуха 80 лѣтъ, его жена, была кормилицей матери своего молодого барина, была его нянь-

кою. Женщина лѣтъ въ 40 вдова, кормилица своего молодого барина. Молодица 18-ти лѣтъ, дочь ея и внучка стариковъ („Мѣдное“); вотъ жестокий рекрутскій наборъ и униженіе „раба“ по положенію, но получившаго одинаковое воспитаніе съ бариномъ и учившагося за границей („Городня“); вотъ рядъ насильственныхъ браковъ крестьянскихъ, по прихоти господъ, и всяческія безчестія крестьянскихъ женъ и дочерей („Едрово“). Все было возможно, потому что царилъ произволъ. Типы администраторовъ, изображенные въ „Путешествіи“, не лучше помѣщиковъ: здѣсь и жестокосердый чиновникъ, не подавшій помощи 20 утопавшимъ человаѣкамъ („Чудово“), и намѣстникъ, посылающій въ Петербургъ „за устерсами“ казеннаго курьера, подъ предлогомъ отправки нужныхъ казенныхъ бумагъ („Спасская Полѣсть“), и другой намѣстникъ, оказывающій противозаконное давленіе на судей. А самые судьи! Законъ и совѣсть—все готовы продать и предать, изъ корысти или изъ страха. Восходя все выше и выше со своимъ обличительнымъ словомъ, Радищевъ обращается къ самому источнику власти. Въ аллегорической формѣ „сна“, отъ имени невѣдомой странницы Истины, авторъ раскрываетъ царю глаза на дѣйствительное положеніе дѣлъ въ государствѣ. Раболѣпная и лицемерная толпа придворныхъ увѣряла царя, что „онъ усмирить виѣшнихъ и внутреннихъ враговъ; онъ расширилъ предѣлы отечества; онъ обогатилъ государство; онъ распространилъ торговлю; онъ любитъ науки и художества; онъ поощряетъ земледѣліе и рукодѣліе; велѣнію гласа его повинуются стихіи“ и т. д. Истина же рассказала о томъ, какъ „солдаты умираютъ отъ голода и болѣзней, суда разваливаются, полководцы и министры расхищаютъ казну, разоренный и угнетаемый народъ бѣдствуетъ, а царскія милости обращаются въ предметъ торговли и достаются лишь недостойнымъ“. Въ заключеніе авторъ обращается къ царю: „властитель міра! если читая сонъ мой, ты улыбнешься съ насмѣшкой, или нахмуришь чело, вѣдай, что видѣнная мною странница отлетѣла отъ тебя далеко и чертоговъ твоихъ гнушается“. Обращаясь къ царской власти, Радищевъ думалъ не о томъ только, чтобы вскрыть разныя неправды, но хотѣлъ просвѣтить власть. Средство противъ зла—отмѣна крѣпостного права, постепенное, въ

три періода, но съ такой широтой, до которой немногіе додумались и на либеральномъ Западѣ. Радищевъ настаивалъ на освобожденіи крестьянъ не изъ одного человѣколюбія, но и по соображеніямъ политической мудрости. Въ разныхъ мѣстахъ „Путешествія“ онъ говоритъ: „изъ мучительства рождается вольность“; „я примѣтилъ, что русскій народъ очень терпѣливъ, и терпитъ до самой крайности; но когда конецъ положить своему терпѣнію, то ничто не можетъ его удержать, чтобы не преклонился на жестокость“; „страшися, помѣщикъ“; „гибель возносится горе постепенно, и опасность уже вращается надъ головами нашими“. Но, какъ бы предвидя судьбу совѣтовъ своихъ, Радищевъ съ грустью восклицаетъ: „О, горестная участь многихъ милліоновъ! Конецъ твой сокрытъ еще отъ взора и внучать моихъ“.

Итоги. Дѣйствительность и идеалъ. Начало закономѣрнаго развитія русской общественной мысли. Связь вѣковъ.

Русская литература XVIII вѣка исполнила свою культурную миссію, одухотворила русскую жизнь идеалами, вызвала общественное самосознаніе. Въ самомъ началѣ вѣка, въ петровскій періодъ, начавъ борьбу противъ церковно-религіознаго авторитета за права науки, знанія и критики, она къ концу вѣка, въ лицѣ Радищева, суммировала идеальныя требованія екатерининской эпохи. Характерная черта этой литературы—преобладаніе сатиры и дидактики—есть отраженіе глубокаго идеализма, самое здоровое зерно русской общественности. Русская сатира XVIII вѣка нападала на недостатки воспитанія, невѣжество и грубость нравовъ, на ложное образованіе, французоманію, роскошь, вѣтренность, приказное крючкотворство, взяточничество, жестокое обращеніе съ крестьянами и т. д. Но неправильно было бы отсюда дѣлать заключеніе о томъ, что XVIII в. былъ „вѣкомъ поразительнаго невѣжества и замѣчательно низкаго уровня нравственности“ (Незеленовъ), что „вся атмосфера его проникнута невѣжествомъ, самодурствомъ, развратомъ“, а „господствующее сословіе въ

нравственномъ отношеніи гораздо ниже тѣхъ, надъ кѣмъ ему приходилось властвовать, въ умственномъ же—нисколько не выше ихъ“ (Семевскій). Вообще картины русской жизни, возстаиваемыя на основаніи обличительной литературы, будутъ неполны и односторонни, ибо, уже въ силу своей основной особенности, сатира останавливается лишь на темныхъ сторонахъ жизни. Русская литература XVIII в., помимо бытового матеріала, большею частью отрицательнаго характера, заключаетъ въ себѣ, кромѣ того, не мало положительныхъ идей личнаго и общественнаго характера. Она искренне и горячо защищала просвѣщеніе, выставивъ задачи его, идеальныя и для нашего времени, уясняя права личности въ ея государственныхъ и социальныхъ отношеніяхъ, наконецъ, открыто, поставила вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. Говорятъ, эти идеалы не наши, заимствованы съ запада. Для насъ вопросъ о заимствованіи второстепенный, а главное—въ томъ, насколько эти идеи согласуются съ правдой и справедливостью. Напротивъ, можно считать заслугой русской литературы XVIII в. внесеніе въ русскую жизнь плодотворныхъ идей, выработанныхъ западно-европейскою мыслью и жизнью. Однако, разладъ между русской дѣйствительностью и идеалами былъ и особенно чувствительный для нѣкоторыхъ личностей. Разладъ неизбежный. Чужая мысль, да еще въ такомъ апіорно-отвлеченномъ построеніи, какъ то бывало въ XVIII в., не могла сразу войти въ плоть и кровь русскаго общества; претворенію мѣшали и нѣкоторыя особыя условія русской жизни. Несмотря на этотъ неизбежный разладъ, двойственность въ настроеніяхъ, все же процессъ закономернаго развитія русской общественной мысли совершался. Господствовавшая вначалѣ „мода на идеи“ (она тоже важна, какъ извѣстная ступень умственнаго развитія) смѣняется мучительнымъ томленіемъ въ поискахъ за гармоничнымъ міросозерцаніемъ. Реальная жизнь отстаетъ отъ идей, но не можетъ постепенно не подчиняться имъ. Наслѣдственные предразсудки еще сильны, но разумъ бодрствуетъ, и реформаторскія идеи и чувства живы. И если въ русской жизни и общественномъ сознаніи, въ чувствахъ и мысляхъ есть прогрессъ, то спокойный и безпристрастный наблюдатель долженъ искать его корней въ XVIII в., столь богатомъ идеями.

Въ русской литературѣ XVIII в., былъ органическій ростъ, и что было плодотворнаго въ ней, не пропало для поколѣній XIX и XX в. в. „Новое поколѣніе — какъ говорить Пыпинъ—только продолжаетъ дѣло стараго и могло итти дальше потому, что воспользовалось его трудами“.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ.

Александровская эпоха.

Связь XVIII и XIX вѣковъ. Историческіе факторы развитія русской литературы начала XIX вѣка.

XVII и XVIII вѣка русской жизни, будучи, по закону органическаго развитія, тѣсно между собою связаны, по общему своему характеру, были все-таки противоположны, отражая два различныхъ въ основѣ міросозерцанія.

Нельзя того же сказать о взаимоотношеніи XVIII и XIX вѣковъ. Послѣдній, во всѣхъ своихъ существенныхъ чертахъ, является прямымъ продолженіемъ перваго.

Прежде всего, не мало было живыхъ звеньевъ двухъ преемственныхъ поколѣній, въ лицѣ, напримѣръ, Радищева, который, и по возвращеніи изъ ссылки, продолжалъ подавать «особыя мнѣнія» въ «Комиссію по сочиненію законовъ»; его восторженнаго поклонника Пнина, въ стихахъ и прозѣ славившаго свободу «человѣка»; дѣятелей Вольнаго Экономическаго Общества, гдѣ продолжалась разработка крестьянскаго вопроса, начатая еще при Екатеринѣ II (Кайсаровъ, Н. И. Тургеневъ). Далѣе, литературныя направленія, отличающія XIX вѣкъ, какъ романтизмъ, реализмъ, съ ихъ особой поэтикой, съ интересомъ къ народности,—корнями своими восходятъ къ XVIII вѣку; такіе писатели, какъ Крыловъ, Карамзинъ, Жуковский, въ значительной степени, уже сложились къ концу XVIII вѣка; мистическая литература Александровской эпохи въ тѣсной связи съ той литературой, которая

идеть съ 80 г.г. XVIII вѣка, и самыя дѣятели новаго мистицизма слѣдуютъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, за традиціями масоновъ.

Историческіе факторы, опредѣлявшіе характеръ русской общественной мысли и литературы, были въ XVIII и началѣ XIX вѣка въ основѣ одни и тѣ же, принимая лишь, подъ вліяніемъ новыхъ явленій, новыя формы: это, главнымъ образомъ,—нашъ политическій и социальнo-экономическій строй, умственные теченія и литературныя направленія Запада.

Огромное, попрежнему, какъ при Петрѣ I и Екатеринѣ II, было вліяніе верховной власти правительства на развитие нашего просвѣщенія и литературы; не даромъ эти эпохи носятъ имена царствующихъ особъ. Высокимъ подъемомъ духовной и общественной жизни отмѣчено «дней Александровыхъ прекрасное начало». Большія надежды возлагались на личность молодого монарха, мечтательнаго, нѣсколько сентиментальнаго, настроеннаго на платонически республиканскій тонъ XVIII вѣка. То, о чемъ мечтали лучшіе люди Екатерининскаго времени, готово было осуществиться въ дѣйствительности. Въ первыхъ же указахъ появляются обѣщанія править «по закону и по сердцу бабки», «не увеличивать числа рабовъ», исправлять недостатки правленія; вводятся въ употребленіе такія слова, какъ отечество, русскіе граждане, благо народа и пр. Негласный Комитетъ вырабатываетъ, возбуждая общественную мысль и борьбу интересовъ, указъ о правахъ Сената и введеніи Министерствъ. Появляется Сперанскій, съ рѣзкой критикой русскаго самодержавія и съ проектами конституціи. Мѣры по облегченію крестьянъ; оживленіе въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія, съ открытіемъ новыхъ университетовъ, гимназій, ланкастерскихъ школъ; перемѣны въ области цензуры, особенно чувствительныя послѣ строгости Павловскаго времени, наконецъ, дарованіе конституціи Финляндіи, Польшѣ—все это окрылило либеральную часть интеллигенціи, дало ей возможность «вольнѣе вздохнуть». «Всѣ чувствовали, записываетъ одинъ современникъ, какой-то нравственный просторъ». Въ обществѣ «спятъ и видятъ конституцію, судятъ, рядятъ, начинаютъ писать». Прошло всего нѣсколько лѣтъ, наступила вторая половина царствованія Александра I. Съ страшной

быстротой пронеслись невиданныя еще политическія событія. Александръ принялъ въ нихъ живѣйшее участіе, сталъ на сторону чужихъ государей и принялъ охранительную точку зрѣнія австрійскаго министра Меттерниха. Война и дипломатія отвлекали вниманіе Государя отъ внутреннихъ преобразованій. Прежнія задачи словно забыты. На сцену выступаютъ люди консервативныхъ взглядовъ, которые «надѣются на Провидѣніе, что оно не допустить Россію стать на пагубный путь», восхваляютъ прошлое, на «проекты» Сперанскаго отвѣчаютъ «Запиской о древней и Новой Россіи» Карамзина. Положеніе Сперанскаго колебалось, и ему пришлось отправиться сперва въ Нижній Новгородъ, а потомъ въ Пермь. Власть перешла къ Аракчееву, стороннику казарменнаго строя. Министерство Народнаго Просвѣщенія было отдано въ руки кн. Голицына, окружившаго себя лицемѣрами и ханжами. Упадокъ въ области просвѣщенія ярко характеризуется дѣятельностью попечителей учебныхъ округовъ Магницкаго въ Казани, Рунича—въ Петербургѣ: принимаются репрессіи противъ профессоровъ, вводится строжайшее чинопочитаніе, наука подчиняется церковности. Усиливается стремленіе къ мистицизму и піэтизму. Начинается «обузданіе печати», цензурный терроръ. Одна часть общества торжествуетъ. Другая, преимущественно молодое поколѣніе, продолжаетъ мечтать о конституціи и даже «чѣмъ сильнѣе дѣйствовала реакція, тѣмъ неудержимѣе было въ умахъ противодѣйствіе». Сперва идетъ критика, потомъ ропотъ, а тамъ организуются и «тайныя общества» для активной борьбы съ правительствомъ и самодержавной властью. Это возбужденіе перешло и въ литературу.

Повышеніе въ литературѣ интереса къ общественнымъ и политическимъ вопросамъ можетъ быть поставлено въ связь и съ внѣшними успѣхами Россіи. Особенное значеніе пріобрѣла война 1812 года, по справедливости заслужившая названіе народной войны. Всѣ шли или хотѣли идти на войну. Она задѣла и равнодушныхъ. Вообще, усиленный темпъ исторической жизни народовъ въ концѣ XVIII—началѣ XIX вѣка пробудилъ въ массахъ чувство національности, сознаніе отличительныхъ чертъ своей народности въ языкѣ, религіи, политико-соціальномъ строѣ. Наарѣвала потребность сліянія разнообразныхъ элементовъ госу-

дарственного тѣла. Наполеоновскія войны обострили это чувство и сильно подняли патріотизмъ. Въ жизни и литературѣ поставленъ вопросъ о необходимости внутренней созидательной работы. Рѣшали его различно. Въ однихъ сознаніе нашей силы вызвало подъемъ вѣры въ себя, какъ въ націю, энергію, рѣшимость, желаніе служить общему благу, протестъ противъ изжитыхъ формъ жизни, противъ старой морали, требованіе гражданской и политической свободы, расширенія самоуправленія и самодѣятельности. Отсюда борьба съ вліяніемъ иностранцевъ, нашей подражательностью и защита русскаго языка и быта, въ прогрессивныхъ кругахъ общества, въ русской сатирѣ. Другіе, исходя изъ того же чувства патріотизма—борясь противъ французовъ, «народа изверговъ», которому мы «въ слѣпотѣ подражали, какъ обезьяны», и восхваляя родную старину, въ драмахъ и стихахъ—перешли постепенно къ защитѣ существующаго общественно-политическаго уклада жизни, намѣчая въ томъ же духѣ и воспитаніе молодежи. Такимъ образомъ, національное самосознаніе пошло разными путями, различно отражаясь и въ дѣятельности писателей, но неуклонно ведя насъ къ самобытности въ творествѣ.

Значительную роль въ идейномъ настроеніи общества играло классовое происхожденіе интеллигенціи: какъ и въ XVIII вѣкѣ, она была почти исключительно дворянской. И если нѣкоторые ея представители болѣе эгоистически настроенные довели до крайности защиту существующаго строя, то и болѣе просвѣщенные, благородные дѣятели изъ этой среды не могли все же возвыситься до настоящаго демократизма: вольнолюбіе русскаго офицера и помѣщика было больше «прекрасной мечтой свободы», чѣмъ «дѣломъ». Сословный отпечатокъ лежитъ на темахъ публицистики Александровской эпохи и ихъ разработкѣ. Это время полно конституціонными разговорами: пишутся проекты, приводятся примѣры свободныхъ странъ, но права проектируются—главнымъ образомъ для аристократіи. Ставится на очередь крестьянскій вопросъ, но и радикалы изъ дворянъ становятся консерваторами въ этомъ вопросѣ и, осуждая крѣпостническую практику и злоупотребленія помѣщичьей властью, не осмѣливаются предложить освобожденіе крестьянъ. Даже образованіе въ широ-

комъ смыслѣ трактовалось не одинаково для всѣхъ классовъ народа: одно было для дворянъ, другое—для поселянъ. Сословное происхожденіе писателей сказалось, можетъ быть, и на ихъ субъективномъ отношеніи къ жизни, сосредоточеніи больше на своихъ чувствахъ, на своихъ мысляхъ, и въ ихъ тяготѣніи къ прекрасному слову, себѣ довлѣющему.

Какъ «европеизованіе» при Петрѣ I, французская освободительная «философія» при Екатеринѣ II, такъ иноземныя вліянія при Александрѣ I давали сильный толчокъ нашей мысли, все тѣснѣе связывая насъ съ Европой. Наше «ученичество» еще продолжалось. Западъ все еще былъ для насъ источникомъ и новыхъ идей и новыхъ формъ. Даже идея народности нашей долго была неясна, сливаясь то съ классицизмомъ (кружокъ Оленина), то съ сентиментально-романтическимъ стремленіемъ къ старинѣ (у Жуковского), существуя лишь по внѣшности, не переходя изъ стадіи инстинкта въ сознаніе. Западъ и въ этомъ отношеніи пришелъ къ намъ на помощь въ видѣ разработанныхъ философскихъ ученій. Читалось все выдающееся на западѣ, все возбуждало интересъ и находило откликъ. Пути этихъ вліяній—и черезъ книгу и непосредственно—теперь всѣ были открыты. Въ царствованіе Александра I, къ давнему французскому вліянію, присоединилось вліяніе нѣмецкое, особенно черезъ Геттингенскій и другіе нѣмецкіе университеты, которые проходила русская молодежь, и англійское—какъ въ житейской обстановкѣ, такъ и въ идейномъ отношеніи: англійская конституція ставится въ примѣръ, переводятся англійскіе экономисты, властвуютъ надъ думами англійскіе писатели (Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ и др.).

Результатъ эпохи, столь богатой красками настроеній, можетъ быть названъ въ конечномъ счетѣ прогрессивнымъ: въ общественномъ отношеніи къ 1825 году оживаютъ идеи сатиры Новикова, комедій Фонвизина, публицистики Радищева; въ художественномъ — значительный, по сравненію съ XVIII вѣкомъ, шагъ впередъ въ выработкѣ языка и формы, и въ расширеніи самаго содержанія литературы. Дидактизмъ, характерный для XVIII вѣка, еще сказывается въ литературномъ творествѣ; назиданія даются, главнымъ образомъ, въ интересахъ національнаго самосознанія. Но уже, благодаря развитію художественнаго

языка, а также благодаря писателямъ съ чисто-художественнымъ темпераментомъ, требующимъ настойчиво свободы творчества, нарождается изящная словесность, наивысшее воплощеніе получающая въ Пушкинѣ. Пережиты всѣ этапы литературнаго ученичества: классицизмъ, сентиментализмъ, романтизмъ—и найденъ путь къ истинной народности и къ широкому и плодотворному реализму, который надолго станетъ боевымъ кличемъ русской литературы.

На такомъ историческомъ фонѣ сложныхъ историческихъ явленій и разнообразныхъ умственныхъ теченій въ обществѣ развивается русская литература; развивается вполне закономерно, безъ скачковъ и неожиданностей.

Роль и значеніе писателя увеличивается. Онъ уже занимаетъ видное положеніе въ обществѣ. Но отъ этого его душевная драма не только не ослабляется, а напротивъ, обостряется и, чѣмъ дальше его захватываетъ жизнь, со своими жгучими противорѣчіями, тѣмъ больше. Въ творчествѣ писателя уже явственны слѣды его личной біографіи.

Н. М. Карамзинъ (1766—1826).

Біографія. Сентиментальное направленіе въ литературѣ. „Письма русскаго путешественника“. „Бѣдная Лиза“. Публицистическія статьи. „Исторія Государства Россійскаго“.

Николай Михайловичъ Карамзинъ родился 1 Декабря 1766 г. въ Симбирской губерніи въ небогатой дворянской семьѣ. Въ повѣсти Карамзина: «Рыцарь нашего времени», на которую нужно смотрѣть какъ на автобіографію первыхъ лѣтъ жизни писателя, скрывшагося подъ именемъ Леона, слѣдующимъ образомъ описывается его дѣтство. «На луговой сторонѣ Волги, тамъ, гдѣ впадаетъ въ нее прозрачная рѣка Свіага, и гдѣ, какъ извѣстно по Исторіи Наталіи, Боярской дочери, жилъ и умеръ изгнанникомъ невинный бояринъ Любославскій, — тамъ, въ маленькой деревенькѣ, родился прадѣдъ, дѣдъ и отецъ Леоновъ; тамъ родился и самъ Леонъ... Отецъ Леоновъ былъ русскій

коренной дворянинъ, израненный отставной капитанъ, ни богатый, ни убогій, но, что всего важнѣе, самый добрый человѣкъ— добрый на русскую статью. Онъ былъ женатъ на двадцатилѣтней красавицѣ, которая, несмотря на молодые лѣта свои, имѣла удивительную склонность къ меланхоліи, такъ что цѣлые дни могла просиживать въ глубокой задумчивости». Эта склонность матери къ меланхоліи перешла по наслѣдству и къ сыну. И въ элегии: «Цвѣтокъ на гробъ моего Агатона», представляющей автохарактеристику Карамзина, и въ своихъ письмахъ къ друзьямъ, Карамзинъ неизмѣнно обнаруживаетъ расположение своего духа къ грусти и мечтательности. — «Леонъ не зналъ неволи, принужденія и горя. Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души, первою краскою, первою чертою на бѣломъ листѣ ея чувствительности... Мать была его единственнымъ лексикономъ: она ушла поговорить, и онъ, забывая слова другихъ, замѣчалъ и помнилъ каждое ея слово; онъ зналъ имена всѣхъ птичекъ, всѣхъ цвѣтовъ и не зналъ, какимъ именемъ называютъ въ свѣтѣ дурныхъ людей и дѣла ихъ... Но дунулъ сѣверный вѣтеръ на нѣжную грудь нѣжной родительницы, и геній жизни ея погасилъ свой факель». Смерть матери произвела сильное впечатлѣніе на сына. Отецъ женился вторично. Сынъ замкнулся въ себѣ, въ потерѣ любимаго существа найдя обильную пищу для своей чувствительности. Первымъ учителемъ Леона былъ дьячекъ, славнѣйшій грамотей въ околodкѣ, который не могъ нахвалиться способностью своего ученика. Первой свѣтской книгою для героя были «Басни» Эзопа, которыя внушили ему любовь къ животнымъ. Скоро ему отдали ключъ отъ желтаго шкафа, въ которомъ хранилась бібліотека покойной его матери, состоявшая преимущественно изъ переводныхъ романовъ. «Сіе чтеніе не только не повредило юной душѣ (Леона), но было еще весьма полезно для образованія нравственнаго чувства: во всѣхъ романахъ, прочтенныхъ имъ, герои и героини, несмотря на многочисленныя искушенія рока, остаются добродѣтельны, всѣ злодѣи описываются самыми черными красками; первые наконецъ торжествуютъ, послѣдніе наконецъ, какъ прахъ, исчезаютъ. Въ нѣжной Леоновой душѣ непримѣтнымъ образомъ, но буквами неизгладимыми, начер-

талось слѣдствіе: любезность и добродѣтель одно, итакъ зло безобразно гнусно, итакъ добродѣтельный всегда побѣждаетъ, а злодѣй гибнетъ». Далѣе описывается, какъ герой, съ книгой въ рукахъ, любилъ быть на берегу Волги; «иногда, оставя книгу, смотрѣлъ онъ на синее пространство рѣки, на бѣлые парусы судовъ и лодокъ, на станицы рыболововъ, которые изъ подъ облаковъ деряко опускаются въ пѣну волнъ и въ то же мгновеніе снова парятъ въ воздухъ». И впослѣдствіи, при видѣ рѣки, «Волга, родина, безпечная юность тотчасъ представлялись его воображенію, трогали душу, извлекали слезы».

Склонность къ мечтательности, любовь къ природѣ, религиозное чувство, любовь къ добру выносили Карамзинъ изъ своего дѣтства въ дальнѣйшую жизнь.

Къ своимъ раннимъ впечатлѣніямъ относитъ Карамзинъ и страсть къ русской старинѣ, о которой рассказывали друзья его отца. «Отъ нихъ заимствовалъ онъ (Леонъ) русское дружеское любіе, набрался духу русскаго и благородной дворянской гордости, которой онъ послѣ не находилъ даже и въ знатныхъ боярахъ: ибо спесь и высокомеріе не замѣняютъ ее... Истинный дворянинъ долженъ наблюдать не только общую дворянскую пользу, но заступаться за всѣхъ притѣсненныхъ и помнить русскую пословицу: тотъ дворянинъ, кто за многихъ одинъ».

На двѣнадцатомъ году Карамзинъ былъ отправленъ въ Москву и помѣщенъ въ пансіонъ профессора Московскаго университета Шадена, у котораго учился логикѣ еще Фонвизинъ, отозвавшійся о немъ впослѣдствіи съ отличной стороны. Поклонникъ нѣмецкаго философа Геллерта, Шаденъ въ воспитаніи на первый планъ ставилъ «сердце», развитіе «чувствительности». Здѣсь Карамзинъ изучалъ иностранные языки, нравственную философію, отечественную и всеобщую исторію и литературу. Послѣ четырехлѣтнихъ занятій въ пансіонѣ, Карамзинъ мечталъ закончить свое образованіе, по примѣру многихъ молодыхъ русскихъ того времени, въ нѣмецкомъ университетѣ (Лейпцигскомъ), но мечтѣ этой не суждено было сейчасъ осуществиться: по желанію отца, онъ отправился въ Петербургъ для вступленія на службу въ Преображенскій полкъ.

Въ Петербургѣ Карамзинъ сблизился съ своимъ далекимъ

родственникомъ, писателемъ Ив. Ив. Дмитріевымъ и, по его примѣру, сдѣлалъ первую пробу своимъ литературнымъ силамъ въ переводахъ съ нѣмецкаго.

По смерти своего отца, Карамзинъ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Симбирскъ для устройства дѣлъ по наслѣдству. Отдавшись на время, не безъ увлеченія, всѣмъ интересамъ провинціального дворянскаго общества, Карамзинъ однако поддался убѣжденіямъ виднаго общественнаго дѣятеля Ив. Петр. Тургенева и въ 1784 году переѣхалъ въ Москву.

Этотъ періодъ въ жизни Карамзина (1785—1788) имѣлъ особое значеніе для его умственнаго и нравственнаго развитія. Способный, любознательный, жаждавшій добра, Карамзинъ былъ любовно принятъ въ кружкѣ Новикова, нашелъ себѣ здѣсь вѣрнаго друга Петрова, даровитаго, образованнаго, артистически чуткаго, познакомился съ поэтомъ — романтикомъ Ленцемъ, типичнымъ представителемъ нѣмецкаго періода «бури и натиска».

Въ бесѣдахъ на серьезныя темы, при обсужденіи часто неразрѣшимыхъ, но притягательныхъ вопросовъ человѣческой жизни, закалялся умъ Карамзина, опредѣлялись его интересы. Недостатокъ образованія пополнялся чтеніемъ книгъ по философіи, исторіи, искусству, литературѣ. Подъ вліяніемъ своихъ друзей, онъ узналъ и оцѣнилъ Шекспира. Мистическими идеями масонства Карамзинъ не увлекался. Онъ взялъ изъ него то, что ближе было къ его собственной природѣ, — религіозно-нравственный идеализмъ и развитіе личной добродѣтели. Зато онъ пережилъ въ это время освободительныя настроенія начала французской революціи и «почиталъ конецъ вѣка концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества и думалъ, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикой, умозрѣнія съ дѣятельностью». «Прекрасныя мечты» «прекраснодушнаго юноши» принадлежали къ тѣмъ утопіямъ, которыя, подобно сновидѣніямъ, ни къ чему не обязываютъ и даже могутъ жить рядомъ съ совершенно противоположной дѣятельностью и совсѣмъ иными «трезвыми» разсужденіями,

Отчасти по порученію «Дружескаго Общества», отчасти по совѣту друзей и собственному почину, Карамзинъ сдѣлалъ нѣ-

сколько переводовъ (Галлера «О происхожденіи зла», Штурма «Размышленія о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ природы и провидѣнія», Лессинга «Эмилія Галотти», Шекспира «Юлій Цезарь», Томсона «Времена года» и др.) и принималъ участіе въ составленіи статей для «Дѣтскаго чтенія», издававшагося при «Московскихъ Вѣдомостяхъ» Новикова. Эти переводы и статьи не остались безъ вліянія на выработку слога и языка Карамзина.

Въ 1789 году, продавъ братьямъ свою часть отцовскаго имѣнія, Карамзинъ поѣхалъ за границу не съ какою-либо спеціальною цѣлью, а чтобы «видѣть природу въ ея разнообразіи, видѣть великихъ мужей, которыхъ творенія сильно дѣйствовали на чувство». Какіе вопросы занимали его, мы узнаемъ изъ «Писемъ русскаго путешественника», которые онъ напечаталъ по возвращеніи. Пробылъ онъ заграницей полтора года, побывавъ за это время въ Германіи, Швейцаріи, Франціи и Англіи, вынесъ оттуда богатый запасъ мыслей и наблюденій, во многомъ разрушившихъ «воздушный замокъ юныхъ лѣтъ».

Вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы, Карамзинъ вступаетъ на литературное поприще, свободно избранное имъ, какъ своего рода служба отечеству. Онъ издаетъ два года сряду «Московский Журналъ» (1791—1792), послужившій образцомъ для послѣдующихъ журналовъ. Содержаніе его, довольно полное и разнообразное, составляли оригинальные и переводные стихи и повѣсти критика, статьи о театрѣ. Въ этомъ журналѣ Карамзинъ напечаталъ: «Письма русскаго путешественника», повѣсти: «Бѣдная Лиза», «Наталя, боярская дочь» и много критическихъ замѣтокъ. Эти произведенія положили начало литературной славѣ Карамзина; въ послѣдствіи они были перепечатаны отдѣльными изданіями, а часть ихъ вошла въ особый новый на Руси типъ альманаховъ, введенный въ моду тоже Карамзинымъ («Аглая» 2 ч., 1794; «Аониды» или «собраніе разныхъ новыхъ стихотвореній»—3 кн. 1796—99).

Въ царствованіе Павла, вообще неблагоприятное для литературы, Карамзинъ пишетъ мало; его дѣятельность оживляется съ восшествіемъ на престолъ Александра I, главнымъ образомъ, въ области публицистики. Онъ возобновляетъ изданіе журнала подъ названіемъ «Вѣстникъ Европы» (1802-1803) съ цѣлью «со-

дѣйствовать нравственному образованію такого великаго и сильнаго народа, какъ Россійскій, развивать новыя, лучшія идеи, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей». Содержаніе этого журнала было преимущественно серьезное—статьи по исторіи, литературной критикѣ, разнымъ общественнымъ вопросамъ. Общественное возбужденіе начала вѣка содѣйствовало успѣху журнала, касавшагося самыхъ живыхъ вопросовъ современности. Но Карамзинъ, уже давно питавшій интересъ къ русской старинѣ, задумалъ написать Русскую исторію.

Благодаря ходатайству товарища министра народнаго просвѣщенія М. Н. Муравьева, Александръ I назначилъ Карамзину пенсію въ двѣ тысячи рублей, далъ титулъ «государственнаго исторіографа» и открылъ доступъ въ архивы и библіотеки.

Съ этого времени (1804) Карамзинъ всецѣло отдается поставленной цѣли, отказываясь и отъ чисто литературной дѣятельности и отъ лестныхъ предложеній двухъ университетовъ занять кафедру исторіи. Составленная имъ въ 1811 году, для представленія Государю, «Записка о древней и новой Россіи» съ эпиграфомъ: «Нѣсть лъсти въ языцѣ моемъ», хотя и касается современнаго положенія Россіи, но тѣсно связана вообще съ историческими взглядами Карамзина.

При жизни Карамзину удалось издать 11 томовъ «исторіи». 12-й вышелъ уже послѣ его смерти и остался незаконченнымъ: рассказъ обрывается въ немъ на событіяхъ 1611 года. Какъ бы предчувствуя близкій конецъ своей жизни, Карамзинъ писалъ Дмитріеву: «Списываю вторую главу Шуйскаго: еще главы три съ обзорѣніемъ до нашего времени, и поклонъ всему міру, не холодный, но съ движеніемъ руки навстрѣчу потомству, ласковому или спесивому, какъ ему угодно. Признаюсь, желаю довершить съ нѣкоторою полнотою духа, правотою сердца и воображенія. Близко, близко, но еще можно не доплыть до берега».

Съ такими чувствами искренности, простоты, человѣчности оканчивалъ свою жизнь, исполненную трудовъ и патріотизма, Карамзинъ (22 Мая 1826 г.: похороненъ въ Александрo-Невской Лаврѣ).

Въ своей литературной дѣятельности Карамзинъ считается у насъ представителемъ сентиментальнаго направленія. Сентиментальный стиль можно встрѣтить и раньше—въ нашей любовной лирикѣ, въ драмахъ Княжнина, особенно въ повѣствовательной (переводной, по преимуществу) литературѣ. Но «моду» ввелъ несомнѣнно Карамзинъ своими «Письмами» и повѣстями. За нимъ уже послѣдовалъ цѣлый рядъ подражателей, не всегда умѣлыхъ, доходившихъ иногда до смѣшныхъ и нелѣпыхъ крайностей.

Какъ и «классическій», «сентиментальный» стиль былъ заимствованъ нами съ Запада. Держался онъ въ литературѣ довольно долго, потому что отвѣчалъ кругу понятій и настроеній главнаго потребителя литературы—средняго читателя. Изъ міра «героическаго» читатель былъ перенесенъ въ родственную ему среду повседневной жизни, съ ея радостями и страданіями. Въ противоположность аристократическому классицизму, знавшему лишь дворъ и знать, литература начинаетъ изображать нравы и отношенія средняго сословія, «между крупными богачами и бѣдной чернью». вмѣсто возвышеннаго паэоса, проникавшаго эпическую поэму или высокую трагедію или торжественную оду, писатель въ новой болѣе интимной формѣ писемъ, дневниковъ, элегій и пр. займется «чувствами» средняго человѣка, который далекъ отъ построеній «разума» и ищетъ въ воображеніи отдыха отъ суеты прозаическихъ будней. «Воображеніе—воскликаетъ Стернь, которому принадлежитъ и изобрѣтеніе слова sentimental—ты оболъщенная и оболъщающая женщина и хотя ты обманываешь насъ семь разъ въ день твоими картинами и образами, но ты дѣлаешь это такъ очаровательно, столько на твоихъ картинахъ свѣтлыхъ ангеловъ, что стыдно разстаться съ тобою». Воображеніе иногда уводило слишкомъ далеко отъ жизни, смягчая ея несовершенства или преувеличивая силу добра. Отсюда—оптимистическая вѣра въ добрыя свойства человѣка, довѣренность къ Творцу, непоколебимость нравственныхъ началъ. То, что по преимуществу питаетъ чувство—любовь, дружба, природа—станетъ главной темой «чувствительнаго» писателя. Въ своемъ творствѣ, этомъ капризномъ переливѣ чувствъ, онъ далеко отойдетъ отъ стѣснительныхъ «правилъ» поэтики, подчиняясь лишь своему

настроению—свѣтлому или мрачному, но всегда задумчиво-меланхолическому.

Колыбелью сентиментализма была Англія, гдѣ уже къ концу XVII вѣка «средній классъ» (буржуазія) занялъ видное мѣсто въ политической и социальной жизни. Первымъ проявленіемъ его были въ началѣ XVIII вѣка «нравственныя еженедѣльные изданія» Стиля и Аддисона («Болтунъ», «Зритель» и др.), боровшіяся противъ разсудочности и аристократизма французской литературы и поучавшія правиламъ нравственности и добродѣтели. Особенное развитіе получилъ сентиментализмъ въ романѣ, который такъ былъ охарактеризованъ Пушкинымъ:

Свой слогъ на важный ладъ настроя,
Бывало пламенный творецъ
Являлъ намъ своего героя
Какъ совершенства образецъ.
Онъ одарялъ предметъ любимый,
Всегда неправдою гонимый,
Душой чувствительной, умомъ
И привлекательнымъ лицомъ.
Питая жаръ чистѣйшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готовъ былъ жертвовать собой
И при концѣ послѣдней части
Всегда наказанъ былъ порокъ,
Добру достойный былъ вѣнокъ.

Такимъ именно романистомъ былъ Ричардсонъ (1689—1761). Цѣлью своихъ, подчасъ очень длинныхъ (въ одномъ изъ нихъ 8 частей, около 4000 страницъ) и для насъ уже скучныхъ, романовъ онъ ставитъ поученіе. Въ романѣ «Клариса Гарлоу» героиня должна всей своей исторіей предостерегать, чтобы родители не принуждали дѣтей, а послѣднія не слишкомъ бы довѣрялись соблазнителямъ, въ родѣ Ловеласа; «Памела» показываетъ красоту и превосходство добродѣтели и ту награду, которая выпадаетъ на ея долю; въ «Чарльсѣ Грандисонѣ» изображенъ человекъ съ истинною честью, религіозный и добродѣтельный, счастливый въ самомъ себѣ и благодарный для другихъ. Не менѣе знаменитымъ былъ другой ро-

манистъ—Гольдсмитъ, авторъ «Векфильдскаго священника» (1766), самой извѣстной, послѣ «Робинзона Крузо», англійской книги, въ которой такъ трогательно изображена исторія добраго деревенскаго священника, непоколебимаго въ своей вѣрѣ въ Бога и добро, несмотря на всѣ горькія испытанія жизни. Вымыслы этихъ романовъ незначительны, много неестественнаго съ точки зрѣнія характеровъ и положеній, самая мораль нѣсколько суха, и если публика зачитывалась Ричардсономъ, Гольдсмитомъ и др., то это—благодаря простотѣ и сердечности описаній: радости или печали героевъ и героинь становились точно своими, близкими; подробность и обстоятельность изображенія еще больше сближали съ ними, заставляя любить ихъ, какъ своихъ друзей и родныхъ. «Чувствительностью» пропитано и «Сентиментальное путешествіе по Франціи и Италіи» (1767) Стерна. Здѣсь напрасно было бы искать описанія путешествія. Это, по словамъ самого автора, «тихое путешествіе сердца въ поискахъ за натурой и возбуждаемыми ею ощущеніями». Здѣсь все субъективно. Важно лишь собственное чувство. «Будь я въ пустынѣ, и тамъ бы я отыскалъ чѣмъ вызвать наружу чувство. За неимѣніемъ лучшаго, я привязался бы сердцемъ къ благоухающему мирту или печальному кипарису; я бы ухаживалъ за ихъ тѣнью и нѣжно благодарилъ ихъ за защиту; я вырѣзалъ бы на нихъ мое имя и поклялся, что они прекраснѣйшія деревья во всей пустынѣ; я привыкъ бы грустить, какъ увядаютъ ихъ листья, и оживлялся бы, когда они начинаютъ оживать». «О милая чувствительность—восклицаетъ Стернъ въ другомъ мѣстѣ—неистощимый ключъ всего драгоцѣннаго въ нашихъ радостяхъ и всего достойнаго въ нашихъ скорбяхъ, ты приковываешь своего питомца къ соломенной постели и ты же возносишь его къ небесамъ».

Въ лирикѣ сентиментальный стиль выразился у Томсона, давашаго мастерскія описанія природы въ «Временахъ года» (1730); у Юнга, автора слишкомъ тоскливыхъ размышленій о суетѣ жизни и прелести смерти и христіанской вѣры («Ночныя думы» 1744); у Грея («Сельское кладбище» 1751); у Макферсона, сочиненіе котораго, подъ заглавіемъ «Поэмы Оссіана» (1760), пользовалось особеннымъ, успѣхомъ. Объ ихъ настроеніи можно судить по слѣдующему отрывку: «долго не проходятъ облака надо мною. Эта ночь была

длинная ночь, день, который идетъ, длинный день, и вышелъ онъ изъ еще болѣе тяжелаго дня. Не такой онъ, какимъ бы я его хотѣлъ: нѣтъ ужъ теперь дивныхъ восторговъ поля битвъ, поединковъ, праздниковъ оружія, нѣтъ пѣсенъ, арфъ, прелестныхъ дѣвъ, горячихъ сердецъ, нагруженныхъ кораблей, богатыхъ праздниковъ щедраго повелителя, преслѣдованій оленя, тихаго разговора съ милой. Увы! Я долженъ жить для того, чтобы не знать веселья дома и въ полѣ, безъ звука охотничьяго рога, безъ собакъ и ихъ лая, безъ легкаго копья, безъ веселья отроковъ. Долго, долго не проходятъ облака надо мною. Нѣтъ болѣе грустнаго человѣка въ этомъ большомъ свѣтѣ, какъ я въ эту ночь... Бѣдный старикъ безъ силъ въ костяхъ, стою здѣсь я, Оссіанъ, сынъ финна, послѣдній потомокъ великаго рода. Стою подъ холодными сѣрыми тучами, слушаю звонъ колоколовъ, и тучи ночныя идутъ надо мною безконечно“...

Изъ драмъ этого новаго направленія особенно пришлась по вкусу «мѣщанамъ» (отсюда названіе «мѣщанская драма», она же и «слезливая») драма Лилло: «Георгъ Барнвелль или Лондонскій купецъ» (1731). Сюжетъ довольно простой и можетъ быть выраженъ въ нѣсколькихъ словахъ. Молодой купецъ попадаетъ въ сѣти одной кокетки. По ея наущенію, онъ обкрадываетъ своего наставника и убиваетъ своего богатаго дядю. Преступленіе открыто. Виновные осуждены, и ихъ ждетъ колесо и висѣлица, виднѣющіяся на заднемъ планѣ сцены. Дѣло здѣсь не въ вымыслѣ, а въ томъ, что сюжетъ взятъ изъ частной жизни и развитіе его имѣетъ цѣлью «способствовать дѣлу добродѣтели», т. е. повліять на чувства зрителей.

Англійскій сентиментализмъ распространился и по другимъ странамъ, получивъ мѣстами своеобразный національный отпечатокъ и вызвавъ болѣе сложное теченіе въ видѣ романтизма, съ разными переходными ступенями.

Отчасти непосредственно (Карамзинъ, напримѣръ, былъ хорошо знакомъ съ англійскимъ языкомъ), отчасти черезъ переводы и подражанія—нѣмецкіе и французскіе,—сентиментальное направленіе водворилось и у насъ.

Прежде «классики» слѣдовали «правиламъ» Аристотеля. Теперь они въ поэзіи цѣнятъ платоновское «вдохновеніе»: «существованность бѣдна—говоритъ Карамзинъ—играй въ душѣ своей

мечтами». Поэзія должна выражать чувства и именно добрыя. Назначеніе поэта «плѣнить истиной святою, ея нетлѣнной красотою, орудіемъ Небеснымъ быть». «Подражаніе природѣ» прелестно, но «картина нравственнаго свѣта еще важнѣе для поэта».

Въ небольшой, но очень важной для поэтики сентиментализма, статьѣ Карамзина «Что нужно автору» (1793) интересны нѣкоторыя положенія, не разъ потомъ повторявшіяся въ русской литературной критикѣ.

«Говорятъ, что Автору нужны таланты и знанія: острый проницательный разумъ, живое воображеніе и пр. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно имѣть и доброе, нѣжное сердце, если онъ хочетъ быть другомъ и любимцемъ души нашей; если хочетъ, чтобы дарованія его сіяли свѣтомъ немерцающимъ; если хочетъ писать для вѣчности и собиранія благословенія народовъ... Ты хочешь быть Авторомъ: читай исторію несчастій рода человѣческаго—и если сердце твое не обольется кровію, оставь перо—или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей. Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыть путь въ чувствительную грудь твою; если душа твоя можетъ возвыситься до страсти къ добру, можетъ питать въ себѣ святое, никакими сферами неограниченное желаніе всеобщаго блага: тогда смѣло призывай богинь ПарнаССкихъ—онѣ пройдутъ мимо великолѣпныхъ чертоговъ и посѣтятъ твою смиренную хижину — ты не будешь бесполезнымъ писателемъ — и никто изъ добрыхъ не взглянетъ сухими глазами на твою могилу. Слогъ, фигуры, метафоры, образы, выраженія — все сіе трогаетъ и плѣняетъ тогда, когда одушевляешься чувствомъ; если оно не разгорячаетъ воображеніе писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будетъ его наградою... Однимъ словомъ, я увѣренъ, что дурной человѣкъ не можетъ быть хорошимъ Авторомъ».

Такая точка зрѣнія широкой гуманности, вѣры въ добро, стремленіе пробудить въ читателяхъ нѣжные чувства должна быть признана прогрессивной для своего времени. Изображеніе жизни души должно поставить въ заслугу сентименталистамъ. Отсюда уже прямой путь къ проясненію личнаго самосознанія и далѣе—къ болѣе объективному анализу жизни.

Свои силы испробовалъ Карамзинъ въ разныхъ родахъ литературы. Еще будучи въ Новиковскомъ кружкѣ, Карамзинъ воспѣвалъ Бога, природу, жаловался на тревогу и тоску своего чувствительнаго сердца. Тогда уже англійская поэзія владѣла его думами.

Британнія есть мать поэтовъ величайшихъ.
 Древнѣйшій бардъ ея, Фингаловъ мрачный сынъ,
 Оплакивалъ друзей, героевъ, въ битвѣ падшихъ,
 И тѣни ихъ къ себѣ изъ гроба вызывалъ.
 Какъ шумъ морскихъ валовъ, носяся по пустынямъ
 Далеко отъ береговъ, уныніе въ сердцахъ
 Внимающихъ родить: такъ пѣсни Оссіана,
 Нѣжнѣйшую тоску вливая въ томный духъ,
 Настраиваетъ насъ къ печальнымъ представленьямъ;
 Но скорбь сія мила и сладостна душѣ.

(«Поэзія». 1787).

Но настоящаго поэтическаго темперамента у Карамзина не было, и это особенно сказалось на его стихотвореніяхъ. Въ нихъ, какъ замѣтилъ Бѣлинскій, «нѣтъ поэзіи, и они были просто мыслями и чувствованіями умнаго человѣка, выраженными въ стихотворной формѣ; но они простотою своего содержанія, естественностью и правильностью языка, легкостью (по тому времени) версификаціи, новыми и болѣе свободными формами расположенія, были шагомъ впередъ для русской поэзіи».

Значеніе этихъ стихотвореній—и въ томъ вліяніи, какое они оказали на Жуковскаго. Мотивы идиаллизма, прославленіе мирныхъ благъ, черты меланхоліи, прелесть самой смерти, культъ добродѣтели, идеализація любви и т. п. образы, мысли сближаютъ двухъ современниковъ поэтовъ. Если эти стихотворенія мало на себя обращали вниманіе критиковъ, то это потому, что они занимаютъ небольшое мѣсто въ творчествѣ самого Карамзина и затѣмъ—вполнѣ растворились въ поэзіи Жуковскаго.

Первымъ крупнымъ произведеніемъ Карамзина въ «новомъ родѣ» были «Письма русскаго путешественника», составившіяся первоначально изъ путевыхъ замѣтокъ (лирика, встрѣчи и визиты), а потомъ обработанныя по разнымъ источникамъ, особенно тамъ, гдѣ сообщаются фактическія свѣдѣнія (парижскіе музеи, англійская конституція, различные историческіе памятники и т. п.).

Тонъ «Писемъ» опредѣляется личностью ихъ автора, идеалистически настроеннаго, «рожденнаго къ общежитію и дружбѣ», «друга человѣчества», восторженнаго поклонника «матери-природы», искренне преданнаго просвѣщенію, въ которомъ онъ, вопреки Руссо, видитъ огромную силу; вмѣстѣ съ тѣмъ—чувствительнаго, предающагося анализу своей и чужой души, способнаго къ радости и грусти, особенно грусти, при воспоминаніи о родномъ кругѣ покинутыхъ друзей.

Содержаніе «писемъ» чрезвычайно разнообразно, но можетъ быть сконцентрировано около господствующихъ интересовъ, занимавшихъ Карамзина при посѣщеніи той или другой страны. Въ Германіи его интересуютъ преимущественно философы, ученые, поэты, съ произведеніями которыхъ онъ познакомился еще на родинѣ: «пріятно, друзья мои,—говоритъ онъ—видѣть человека, который былъ намъ прежде столь извѣстенъ и дорогъ по своимъ сочиненіямъ, котораго мы такъ часто себя воображали или вообразить старались». При свиданіи съ «достойными почтенія, умными, знающими людьми», какъ онъ неизмѣнно аттестуетъ германскихъ ученыхъ, онъ направляетъ рѣчь на важнѣйшіе предметы человѣческой мысли и знанія — о Богѣ, о душѣ, о нравственности, о философіи, о природѣ, о литературѣ. Письма изъ Швейцаріи, «страны живописной природы, земли свободы и благополучія», наполнены описаніями природы. Въ этихъ письмахъ особенно разительно сказывается сентиментализмъ Карамзина, склонность къ чрезмѣрной чувствительности, оптимистическому представленію жизни и, подобно Руссо, идеализаціи первобытнаго состоянія: «Счастливые швейцарцы», — на примѣръ, восклицаетъ онъ, «въ восторгѣ готовы цѣловать берега Рейна». Всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое счастье, живучи въ объятіяхъ прелестной природы, подъ благодѣтельными

законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и служа одному Богу. Вся жизнь ваша есть, конечно, пріятное сновидѣніе». Во Франціи Карамзина интересуется общественная жизнь французовъ, носящая яркій отпечатокъ ихъ національнаго характера, ихъ театры, салоны, собранія, самая толпа и пр. Въ первоначальныхъ наброскахъ писемъ были замѣтки и о французской революціи, но въ царствованіе Павла I (1797) онѣ въ печати, конечно, не могли появиться, а позже (въ изданіи 1801 г.) многое самимъ авторомъ было выброшено и измѣнено, подѣ влияніемъ перемѣны въ его собственныхъ политическихъ воззрѣніяхъ. Англія привлекла «русскаго путешественника» своимъ благоустройствомъ и порядкомъ, любовью къ труду, склонностью къ домашней жизни, богатствомъ литературы и науки. Но не найдя въ характерѣ англичанъ той нѣжной чувствительности, которой онъ искалъ въ людяхъ, онъ отдалъ имъ справедливое, похвалилъ ихъ, но сказалъ: «похвала моя такъ же холодна, какъ они сами».

Много въ «Письмахъ» интересныхъ разсужденій (напр., о Петрѣ В.), детальныя описанія. Въ нихъ отражается и духъ «просвѣщеннаго» вѣка (защита вѣротерпимости, восхваленіе свободы, уваженіе личности, общечеловѣческіе идеалы) и любовь къ родинѣ: уважая другихъ, онъ старался внушить уваженіе и къ своему «любезному отечеству» — характеру своихъ согражданъ, русской природѣ, исторіи, самому языку.

За все это «Письма» приняты были «съ жаромъ», съ энтузіазмомъ и сдѣлались любимой и модной книгой русской молодежи своего времени.

Изъ повѣстей Карамзина наибольшей популярностью пользовалась «Бѣдная Лиза», можетъ быть, потому, что она болѣе другихъ повѣстей трогала «чувствительныя» сердца и заставляла «проливать слезы нѣжной скорби»: недаромъ тысячи любопытныхъ ѣздили и ходили къ Симонову монастырю искать у пруда слѣдовъ Лизиныхъ. Не мало вызвала эта повѣсть и подражаній («Бѣдная Маша» Измайлова, «Бѣдная Лилли» Попова, «Несчастная Лиза» кн. Долгорукова, повѣсти Жуковского и др.).

Повѣсть начинается описаніемъ окрестностей Москвы, гдѣ авторъ любилъ проводить часы досуга и мечтать о быломъ. Часто посѣщалъ онъ развалины Симонова монастыря, привле-

каемый воспоминаніемъ о плачевной судьбѣ Бѣдной Лизы. Лиза жила недалеко отъ монастыря со старушкой матерью. Года два, какъ она лишилась отца и принуждена была усердно работать. Она ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цвѣты, а лѣтомъ собирала грибы, и все это продавала въ Москвѣ. Тамъ она встрѣтила на улицѣ молодого человѣка, хорошо одѣтаго и пріятнаго вида. Онъ купилъ у нея цвѣты, узналъ, гдѣ она живетъ, и сталъ посѣщать ее. Лиза полюбила его. А онъ, его звали Эрастъ, хотя и обладалъ добрымъ отъ природы сердцемъ, но былъ вѣтранный и слабый, велъ разсѣянную жизнь и жаловался часто на скуку и на судьбу свою. Красота Лизы произвела на него впечатлѣніе, ему уже показалось, что онъ нашелъ въ ней то, чего искало его сердце, и онъ рѣшилъ оставить большой свѣтъ, чтобы предаться новымъ чистымъ радостямъ. Дѣйствительно, нѣкоторое время онъ былъ счастливъ, но затѣмъ и Лиза наскучила ему, и онъ ее бросилъ, сказавъ, что идетъ въ походъ. Обманъ однако открылся. Однажды, отправившись въ Москву за розовой водой, которою мать ея лѣчила свои глаза, Лиза увидѣла въ каретѣ Эраста. Онъ уже вернулся изъ похода, гдѣ больше игралъ въ карты, и, для поправленія средствъ, женился. Лиза не перенесла несчастія и бросилась въ прудъ. Эрастъ, узнавъ объ этомъ, потерялъ спокойствіе: онъ считалъ себя убійцей и не могъ утѣшиться.

Новое и привлекательное въ этой повѣсти, во 1-хъ, нѣкоторый мѣстный колоритъ—Москва, Симоновъ монастырь съ его окрестностями, во 2-хъ, героиня—крестьянка и, въ 3-хъ, особенное вниманіе автора къ внутреннимъ переживаніямъ дѣйствующихъ лицъ.

Правда, и Лиза и ея мать чувствуютъ и выражаются не такъ, какъ это свойственно настоящимъ крестьянкамъ, слишкомъ много проливаютъ слезъ,—повѣсть лишена бытового реализма и «народности»,—но въ ихъ психикѣ авторъ хотѣлъ подчеркнуть не народное, а общечеловѣческое: «и крестьянки чувствовать умѣютъ». Здѣсь на лицо всѣ перепити «человѣческой» любви: неопредѣленное томленіе души, радость взаимности, тревога и боязнь потерять счастье, отчаяніе, самая смерть.

Образъ Эраста не лишенъ нѣкоторой общественной типичности, какъ предтеча «разочарованныхъ» героев: «онъ читы-

валъ романы и идилліи», мечталъ о счастливыхъ временахъ, увлекался свѣтомъ, охладѣлъ къ нему, затосковалъ; природа поманила его «въ свои объятія, къ чистымъ своимъ радостямъ», онъ отдался прелестямъ новизны, пока и онъ ему не надоели и т. д.

Въ противопоставленіи Лизы и Эраста чувствуется излюбленная идея XVIII вѣка о преимуществахъ простой жизни среди природы передъ городомъ и «свѣтомъ»: только въ природѣ—добро, только она раскрываетъ лучшія стороны человѣка; и ничего, кромѣ зла, не вноситъ т. н. «культура».

Чувство гуманности проникаетъ повѣсть. Конецъ ея не по обычному типу, съ вѣнчаніемъ «добродѣтели». Напротивъ, Лиза погибла, а Эрастъ, хотя и наказанный мученіями совѣсти, остался жить. Но читатели были на сторонѣ Лизы. И прочно потомъ утвердился въ русской литературѣ изображеніе всякаго рода «бѣдныхъ людей», съ сочувственнымъ къ нимъ отношеніемъ.

Менѣ читались, но не менѣ характерны другія повѣсти Карамзина, какъ «Наталья, боярская дочь», «Марѳа Посадница». Сюжеты ихъ заимствованы изъ милой Карамзину русской старины, «когда русскіе были русскими, когда они въ собственное платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу». Но «историческое» въ этомъ «внѣшнемъ» только и сказалось. Русская древность была идеализована въ сентиментальномъ духѣ. «Чувства» принадлежатъ современникамъ и современницамъ автора, читавшимъ сентиментальные романы. Бояре и воеводы говорить рѣчи по всѣмъ правиламъ «искусства».

Послѣ Карамзина осталась и одна драма «Софья» изъ числа «слезныхъ», образцы которыхъ появляются въ Россіи уже въ 70 годахъ XVIII вѣка (Херасковъ).

Съ начала XIX вѣка Карамзинъ передъ нами является преимущественно публицистомъ и историкомъ, обнаруживая не только другую сторону своихъ дарованій, но и нѣкоторыя внутреннія противорѣчія своего міросозерцанія.

По «Письмамъ русскаго путешественника», «Бѣдной Лизѣ» и т. п. мы представляемъ Карамзина, какъ онъ проводитъ цѣлыя часы въ сентиментально-мечтательномъ настроеніи: сидитъ онъ,

устремивъ взоръ куда-то въ неопредѣленное пространство, сладкая слеза повисла на рѣсницѣ, тихая грусть разлилась по всему лицу, и лишь робкая улыбка смягчаетъ впечатлѣніе тоски: онъ весь охваченъ меланхолическимъ настроеніемъ. Но достаточно ему встряхнуть головой, чтобы разсѣялись всѣ эти иллюзіи, эти красивыя и грустныя грезы, и чтобы въ немъ заговорилъ трезвый разумъ. Таковы его собственные признанія.

Публицистика Карамзина представляется именно проявленіемъ этой стороны его природы—разсудка, который не всегда въ ладу съ сердцемъ. Вольнолюбивыя мечты прорываются и здѣсь иногда, особенно въ началѣ царствованія Александра I, но господствующій тонъ иной. Въ этомъ отношеніи Карамзинъ былъ похожъ на Александра I, въ которомъ тоже уживались «духъ платоническаго республиканизма» и совсѣмъ не республиканская «дѣятельность». «Не требую ни конституціи, ни представителей, говорилъ Карамзинъ, но по чувствамъ останусь республиканцемъ, и, притомъ, вѣрнымъ подданнымъ царя русскаго: вотъ противорѣчіе, но только мнимое».

Въ 1801 году Карамзинъ написалъ оду по поводу восшествія на престолъ Александра I, въ которой, по примѣру Ломоносова, выразилъ общую радость послѣ «мрачныхъ ужасовъ зимы» и надежду на благоволеніе Александра къ Музамъ.

Ты будешь солнцемъ просвѣщенья—
 Наукой счастливъ человѣкъ—
 И блескомъ Твоего правленья
 Осыпанъ будетъ новый вѣкъ.

По поводу «Торжественнаго Коронованія» Карамзинъ восхвалялъ въ стихахъ свободу, понимая ее въ смыслъ строгой законности и потому вполне согласной «съ пользою царской».

Свобода тамъ, гдѣ есть уставы,
 Гдѣ добрый, не боясь, живетъ;
 Тамъ рабство, гдѣ законовъ нѣтъ,
 Гдѣ гибнетъ правый и неправый.
 Свобода мудрая свята,
 Но равенство одна мечта.

Желая еще яснѣе выразить свои взгляды на правленіе, Карамзинъ составилъ историческое похвальное слово Екатеринѣ II, въ которомъ представилъ почти полное обзорѣніе ея царствованія, съ особенной похвалою отозвавшись о всѣхъ мѣрахъ просвѣтительнаго характера, но «прежде всего — говорить Карамзинъ — означимъ главное и столь новое для Россіи благодѣяніе Екатерины, которое изъясняетъ всѣ другія и которое всѣми другими изъясняется, означимъ, такъ сказать, священный корень нашего блаженства во дни ея, сію печать, сей духъ всѣхъ ея законовъ: Она уважила въ подданномъ санъ человѣка, моральнаго существа, созданнаго для счастья въ гражданской жизни, она объявила, что владыки земные должны властвовать для блага народнаго и всѣмъ своимъ долготѣлнымъ царствованіемъ утвердила вѣчную истину, которая отнынѣ будетъ правиломъ Россійскаго трона — Екатерина научила насъ разсуждать и любить въ порфирѣ добродѣтель».

Повторяя эти ходячія идеи «философской» литературы XVIII вѣка о правахъ человѣка, о долгѣ монарха, о законности, Карамзинъ относительно основныхъ устоевъ нашего политическаго и социальнаго порядка оставался «трезвымъ» консерваторомъ.

Уже въ указанномъ «словѣ» Карамзинъ говоритъ о язвахъ республиканскаго правленія, представляя его «вѣчнымъ раздоромъ, а народъ несчастнымъ орудіемъ нѣкоторыхъ властолюбцевъ, жертвующихъ отечествомъ личной пользѣ своей», и о преимуществѣ самодержавія. Въ публицистическихъ статьяхъ «Вѣстника Европы» эта тема развивается еще подробнѣе. Въ статьѣ: «Пріятные виды, надежды и желанія нашего времени» (1802 № 12) Карамзинъ пишетъ: «Революція объяснила идеи: Мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвой ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти; что всѣ смѣлыя теоріи ума, который изъ кабинета хочетъ предписывать законы нравственному и политическому міру, должны остаться въ книгахъ; что учрежденія древности имѣютъ магическую силу, которая не мо-

жетъ быть замѣнена никакой силой ума; что одно время и благая воля законныхъ правительствъ должны исправить несовершенство гражданскихъ обществъ». Въ «разсужденіи о любви къ отечеству и народной гордости» та же мысль о необходимости для русскаго государства держаться того, что создала вѣковая русская исторія, — началъ самодержавнаго государства. Въ повѣсти «Марѳа Посадница», относящейся ко времени этой публицистики, Карамзинъ, какъ ни влекли его «мечты» къ «республиканской вольности» древняго Новгорода, «разумомъ» долженъ былъ признать необходимость жертвы во имя самодержавія, помня, какъ говоритъ въ повѣсти кн. Холмскій, что «народы дикіе любятъ независимость, народы мудрые любятъ порядокъ, а нѣтъ порядка безъ власти самодержавной».

Въ нѣсколькихъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ томъ же «Вѣстникѣ Европы», Карамзинъ высказался и по другому коренному вопросу русской жизни — по крестьянскому. Онъ былъ противъ освобожденія, требуя лишь, чтобы дворяне были добрые, а крестьяне — покорные.

«Россійскій дворянинъ, заявляетъ Карамзинъ, даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и натуры. Вотъ его обязанности. Зато онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлѣ: вотъ его права».

Столь же страстно, даже рѣзко, высказался по общественнымъ вопросамъ Карамзинъ въ «Запискѣ о древней и новой Россіи» (1811), пойдя въ нѣкоторомъ отношеніи даже противъ воли молодого царя. Когда-то, въ лѣта юности, Карамзинъ говорилъ, что «все народное ничто передъ человѣческимъ». Теперь: «мы стали гражданами міра, но перестали быть въ нѣкоторыхъ случаяхъ гражданами Россіи». Виною — Петръ I, который прервалъ начавшееся съ Михаила измѣненіе гражданскихъ учрежденій и нравовъ, постепенное, тихое, едва замѣтное, безъ порывовъ и насилія. Карамзинъ увидѣлъ въ порывистой и нервной ломкѣ, совершенной Петромъ I, ту же революцію. Отношеніе же ко всякой революціи у него было теперь опредѣленное. «Самодержавіе есть палладіумъ (святыня) Россіи: цѣлость его необходима для ея счастья» — и потому Карамзинъ противъ всякихъ

мѣръ, которыя могутъ повести къ его ограниченію, противъ коренныхъ государственныхъ преобразованій, особенно противъ проектовъ Сперанскаго, и противъ многихъ частныхъ постановленій царствованія Александра I. Въ заключеніе записки Карамзинъ добавляетъ: «любя отечество, любя монарха, я говорилъ искренне; возвращаюсь къ безмолвію вѣрноподданнаго, съ сердцемъ чистымъ, моля Всевышняго, да блюдетъ Царя и царство Россійское».

Для выясненія политическихъ взглядовъ Карамзина можетъ также служить изданное имъ мнѣніе русскаго гражданина о возстановленіи Польши (1818), въ которомъ онъ совѣтуетъ монарху благотворить врагамъ государственнымъ, каковыми онъ считаетъ поляковъ, если только это не вредно для отечества. «Любите людей, но еще болѣе любите Россіянъ, ибо они и люди и ваши подданные, дѣти вашего сердца». И далѣе — прямо и мужественно Карамзинъ высказываетъ мысль, что всецѣло возстановленіе древняго королевства польскаго не согласно ни съ законами государственнаго блага, ни съ священною обязанностію царя, ни съ его любовью къ Россіи и самой справедливости.

Мысли Карамзина о самодержавіи, крѣпостномъ правѣ и т. п. еще не служатъ признакомъ его «реакціонности». Карамзинъ не былъ реакціонеромъ. Онъ былъ консерваторомъ теперь больше, чѣмъ въ юности, можетъ быть, подъ вліяніемъ политическихъ событій въ Европѣ конца XVIII—начала XIX вѣка, но не врагомъ преобразованій. «Для существа нравственнаго нѣтъ блага безъ свободы—говоритъ онъ въ записной книжкѣ 1817 года—но эту свободу даетъ не Государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ, съ помощью Божьей».

Въ тѣхъ же публицистическихъ статьяхъ, которыя были названы выше, Карамзинъ является вѣрнымъ другомъ успѣховъ разума, просвѣщенія, воспитанія, добрыхъ нравовъ. Онъ призываетъ русское общество къ патріотизму, какъ самосознанію — сознанію своихъ достоинствъ, «цѣны своей», и сознанію своихъ недостатковъ и ставитъ передъ русскими высокую цѣль: «Тотъ народъ можетъ быть великимъ и почтеннымъ, который благородными искусствами, литературою и науками способствуетъ успѣ-

хамъ человѣчества въ его славномъ теченіи къ цѣли нравственнаго и душевнаго совершенства».

Наконецъ, самое упорство Карамзина въ постановкѣ общественныхъ вопросовъ русской и иностранной жизни должно было содѣйствовать пробужденію политическихъ интересовъ читателей.

Продолженіемъ той же публицистики Карамзина можно считать его «Исторію Государства Россійскаго».

И въ исторіи Карамзинъ является прежде всего патріотомъ и нравственнымъ человѣкомъ. Конечно, «исторія не романъ и не терпитъ вымысловъ, изображая, что есть и было, а не что быть могло», историкъ долженъ стремиться къ полной достовѣрности, но главное значеніе исторіи—все же въ той пользѣ, которую она приноситъ. Въ «предисловіи» къ своему труду Карамзинъ вполне раскрываетъ свою точку зрѣнія на исторію, которая однако современной исторической наукой принята быть не можетъ. «Правители и законодатели, говоритъ онъ, дѣйствуютъ по законамъ исторіи, и смотрятъ на ея листы, какъ мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человѣческая имѣетъ нужду въ опытахъ, а жизнь кратковременна. Должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурное стремленіе, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье. Но и простой гражданинъ долженъ читать исторію: она миритъ его съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ, утѣшаетъ въ государственныхъ бѣдствіяхъ, свидѣтельствуя, что и прежде бывали подобныя, бывали еще ужаснѣйшія; она питаетъ нравственное чувство и праведнымъ судомъ своимъ располагаетъ душу къ справедливости, которая утверждаетъ наше благо и согласіе общества». Понятно послѣ этого и то опредѣленіе, которое даетъ Карамзинъ исторіи: «Исторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть священная книга народовъ; главная, необходимая; зеркало ихъ бытія и дѣятельности; скрижаль откровеній и правилъ; завѣтъ предковъ къ потомству; дополненіе, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго». Чтобы выполнить свою высокую задачу, историкъ долженъ быть проникнутъ искренней

и глубокой любовью къ родинѣ, которая и «дасть кисти его жаръ, силу, прелесть; гдѣ нѣтъ любви, нѣтъ и души». Отсюда—забота историка и о художественной сторонѣ изложенія: «Ни ученость, ни остроуміе, ни глубокомысліе не замѣняютъ въ историкѣ таланта изображать дѣйствіе».

Этимъ задачамъ отвѣчаетъ и выполнение.

Обращаясь теперь уже не къ одному только монарху, какъ прежде, а ко всему народу, онъ всей нашей древней исторіей старается доказать спасительность и необходимость для Россіи самодержавія. Эта мысль является основной идеей «Исторіи», въ которой онъ только подробно рассказываетъ, по періодамъ, то, что сжато формулировалъ въ «Запискѣ о древней и новой Россіи»: «Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спаслась самодержавіемъ». Въ первомъ періодѣ, въ правленіе Ярослава I, «Россія, рожденная, возвеличенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и въ гражданскомъ образованіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ». Во второмъ періодѣ, отъ раздѣленія на удѣлы до Калиты, Россія утрачиваетъ главные государственныя блага—единовластіе и независимость; похвалы историка заслуживаютъ лишь такіе князья, какъ Андрей Боголюбскій, стремившійся къ «спасительному единовластію» да Всеволодъ III, напомнившій Россіи «счастливые дни единовластія». Усиленіе Москвы и рожденіе самодержавія составляетъ третій періодъ.—«Сія перемѣна, объясняетъ Карамзинъ, безъ сомнѣнія непріятная для тогдашнихъ гражданъ и бояръ, оказалась величайшимъ благомъ для Россіи: она устранила важныя препятствія на пути Россіи къ независимости». Великаго князя Ивана III Карамзинъ называетъ «Великимъ», «достойнѣйшимъ жить и сіять въ святилищѣ исторіи».

Такъ, въ самодержавіи опредѣлили Карамзинъ «благо людей въ гражданскомъ обществѣ». Но онъ оцѣнивалъ достоинство правителей и подвластныхъ и «святыми уставами нравственности», про которые онъ писалъ: «правила нравственности и добродѣтели святѣе всѣхъ иныхъ и служатъ основаніями истинной политики». Ни цѣль, ни слѣдствія не могутъ, по выраженію Карамзина, оправдать дурныхъ поступковъ: «Судъ исторіи не извиняетъ и самаго счастливаго злодѣйства» и еще: «Никогда

выгода государственная не может оправдать злодѣянія; нравственность существуетъ не только для частныхъ людей, но и для государей: они должны такъ поступать, чтобы правила ихъ дѣяній могли быть общими законами». Поэтому, Карамзинъ съ особеннымъ воодушевленіемъ отмѣчаетъ героевъ «добродѣтели» — Владиміра Мономаха, Адашева, «красы вѣка и человѣчества», который вмѣстѣ съ Анастасіей и Сильвестромъ питали въ Иванѣ IV любовь къ «святой нравственности», митрополита Филиппа, совершившаго величайшій подвигъ, ибо «умереть за добродѣтель есть верхъ человѣческой добродѣтели» и др. Осуждаетъ Карамзинъ, съ точки зрѣнія нравственного закона, и такихъ, какъ Олегъ, который «прославился великою своею отважностью, побѣдами, благоразуміемъ, любовью подданныхъ», но злодѣйски убилъ Аскольда и Дира, ибо «самое общее варварство ихъ временъ не извиняетъ убійства жестокаго и коварнаго»; осуждаетъ Дмитрія Донскаго, совершившаго «обманъ, недостойный правителей мудрыхъ» по отношенію къ Михаилу Тверскому; не прощаетъ и Калитѣ убійства Александра Тверского; но особенно ясно выражена провиденціальная точка зрѣнія Карамзина на нравственность въ оцѣнкѣ личности Бориса Годунова, котораго онъ считалъ «убійцей, грабителемъ и хищникомъ»: не только потомство не найдетъ въ немъ «добродѣтели» и будетъ произносить его имя «съ омерзѣніемъ, во славу нравственного неуклоннаго правосудія», но и на землѣ еще онъ долженъ былъ понести кару, какъ то и случилось.

Карамзинъ писалъ свою «Исторію» съ «любовью къ отечеству». Любовь вдохновляла его и дѣлала живымъ изложеніе событій даже самыхъ отдаленныхъ вѣковъ. Сравнивая рассказы въ лѣтописи и «Исторіи», мы часто встрѣчаемъ распространеніе источника, но не ради «вымысла» (Карамзинъ оговаривается выраженіями: кажется, безъ сомнѣнія и т. п.), а изъ глубокаго «интереса» къ событіямъ, которыя его волнуютъ и возбуждаютъ разнообразныя чувства — печали и радости, гордости и негодованія. Своего рода лирическія отступленія вызваны тѣмъ же чувствомъ патріотизма.

Мѣстами яркія картины событій, мѣткія характеристики отдѣльныхъ личностей свидѣтельствуютъ не только о художественномъ талантѣ автора, но и о его воодушевленіи.

Наконецъ, только высокимъ патріотизмомъ можно объяснить предпріятіе самого труда, когда еще было слишкомъ недостаточно издано источниковъ и изслѣдованій по русской исторіи. Изъ «примѣчаній» къ тексту «Исторіи», занимающихъ половину каждаго тома, мы убѣждаемся, какъ великъ былъ кругъ памятниковъ, которыми пользовался Карамзинъ, т. е. прочелъ, изучилъ, провѣрилъ, сдѣлалъ извлеченія. «Если бы всѣ матеріалы были у насъ собраны, очищены критикою, то намъ оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая часть ихъ въ рукописяхъ, въ темнотѣ, когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено, надобно вооружиться терпѣніемъ»,—говоритъ Карамзинъ.

Гдѣ достоинства, тамъ и недостатки.

Критика, частію современная Карамзину, частію послѣдующая, указала на односторонность «Исторіи», заключающейся въ изложеніи главнымъ образомъ «политической» исторіи; часто невѣрное «освѣщеніе» событій; искусственность и нѣкоторое однообразіе языка и стиля (какъ отголосокъ сентиментализма); зависимость отъ «Исторіи» Щербатова и пр.

Различно оцѣнивалась и самая идея «Исторіи» нашими «либералами» и «консерваторами».

И тѣмъ не менѣе впечатлѣніе «Исторіи» было, какъ рассказываетъ Пушкинъ, потрясающее: она оказалась «откровеніемъ» для русскаго общества. «Всѣ, даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества, дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія казалась найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ». Пробужденный «Исторіей» интересъ къ родной старинѣ долженъ былъ вліять и вообще на развитіе интереса къ своей народности, къ свободному самостоятельному самоопредѣленію.

В. А. Жуковский (1783—1852).

Биографія. Романическое направленіе въ литературѣ. Эстетика Жуковского
Лирика. Баллады и поэмы. Переводы.

Василій Андреевичъ Жуковскій, получившій свою фамилію отъ крестнаго отца, былъ сынъ состоятельнаго помѣщика Афанасія Ивановича Бунина и турчанки, взятой въ плѣнъ русскими солдатами и привезенной ими на родину. Родился онъ 29 января 1783 года въ селѣ Мишенскомъ, въ трехъ верстахъ отъ Бѣлева, Тульской губерніи, у извивовъ Оки, среди рощъ и холмовъ. Все въ Мишенскомъ было характерно для русскаго дворянскаго помѣстья екатерининскаго времени: и огромный домъ съ флигелями, и паркъ, и оранжереи. Въ долину ручеекъ „Гремучій“. Недалеко деревня съ церковью. Природа надѣлила мальчика живымъ воображеніемъ, склоннымъ однако къ отвлеченной мечтательности, мягкимъ сердцемъ, отзывчивымъ на все доброе, привязанностью къ роднымъ мѣстамъ и людямъ, простотой, располагающей къ веселой шуткѣ, скромностью. Эти привлекательныя качества сдѣлали его любимцемъ всей семьи Буниныхъ, и когда умеръ его отецъ (1790), онъ остался на попеченіи его вдовы Маріи Григорьевны, въ качествѣ родного сына. Семья, въ которую онъ вошелъ, состояла, главнымъ образомъ, изъ женщинъ: старшихъ его сестеръ и подругъ—племянницъ. Это общество еще болѣе развило нѣжныя стороны его души, отвративши ее съ первыхъ лѣтъ жизни отъ всего грубаго и пошлаго. Здѣсь воспитались въ немъ тѣ семейственныя привязанности, которыя потомъ вошли въ его представленіе объ идеалѣ счастья. Вся семья Буниныхъ была набожна и богомольна: къ тому же приучили съ дѣтства и Жуковского. Учился Жуковскій подъ руководствомъ гувернеровъ и домашнихъ учителей, короткое время въ Тульскомъ народномъ училищѣ и три года въ благородномъ пансіонѣ при Московскомъ университетѣ. Пребыванію въ этомъ пансіонѣ (съ 1797—1800), пожалуй, лучшемъ изъ тогдашнихъ учебныхъ заведеній, Жуков-

скій обязанъ знаніемъ иностранныхъ языковъ, развитіемъ вкуса къ словесности и товарищескими связями. Толчокъ къ литературнымъ занятіямъ дало «Собраніе воспитанниковъ университетскаго пансіона» и издававшійся ими журналъ «Утренняя Заря». Изъ друзей огромную роль въ развитіи идеализма Жуковского игралъ «прекраснодушный» юноша Андрей Тургеневъ, сынъ И. П. Тургенева, стараго Новиковскаго масона, директора Московскаго университета. Прекрасно знакомый съ нѣмецкой литературой, чуткій и тонкій критикъ, самъ поэтъ, Андрей Тургеневъ былъ и наставникомъ и вмѣстѣ другомъ Жуковского. Смерть его была тяжелымъ жизненнымъ ударомъ для послѣдняго. По окончаніи пансіона, Жуковскій короткое время служилъ въ одной изъ Московскихъ канцелярій, въ то же время принималъ участіе въ «Дружескомъ Литературномъ Обществѣ», основанномъ бывшими воспитанниками Благороднаго пансіона для литературныхъ занятій «въ честь и славу добродѣтели и истины». Эти занятія также едва ли остались безслѣдными въ душѣ Жуковского, въ смыслѣ постоянного стремленія къ нравственному совершенствованію, выработки въ себѣ «внутренняго человѣка». По выходѣ въ отставку, Жуковскій переѣхалъ въ родное гнѣздо и отдался литературной работѣ — чтенію, переводамъ, подражаніямъ. Въ 1802 году онъ перевелъ элегію Грея: «Сельское кладбище» и помѣстилъ ее въ «Вѣстникѣ Европы» Карамзина. Въ концѣ 1805 года онъ переселился въ свой домъ въ Бѣлевѣ и съ нимъ вся «фамилія»: «слѣдовательно, пишетъ онъ, я не могу пожаловаться, чтобы вокругъ меня было пусто». Время у него было занято еще и уроками — бесѣдами съ дочерьми одной изъ его сестеръ — Протасовой: Маріей и Александрой. Жуковскій привязался къ этой семьѣ, особенно къ своей 12-ти лѣтней ученицѣ Машѣ. Привязанность перешла въ любовь, чистую, нѣжную — и вѣчную. Скрывая ее еще покамѣстъ про себя, Жуковскій въ 1808 году уѣхалъ въ Москву и принялъ на себя редактированіе основаннаго Карамзинымъ журнала «Вѣстникъ Европы», являясь вмѣстѣ съ тѣмъ и главнымъ литературнымъ вкладчикомъ — переводами Бюргера, Шиллера, Гете, повѣстями («Вадимъ», «Три пояса», «Марьяна роща» — въ подраженіе Карамзину), разсужденіями («Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ»), критическими

статьями (О Кантемирѣ, Крыловѣ) и т. п. Трехлѣтняя журнальная дѣятельность могла, конечно, показать Жуковскому не мало пробѣловъ въ его образованіи, и вотъ онъ снова въ Бѣлевѣ — для самоусовершенствованія и, можетъ быть, влекомый еще одной притягательной силой. Онъ пишетъ въ 1810 году Андрею Тургеневу: «Между нами будь сказано, я совершенный невѣжда въ исторіи... Для литератора и поэта исторія необходимѣ всякой другой науки: она возвышаетъ душу, расширяетъ понятіе и предохраняетъ отъ излишней мечтательности, обращая умъ на существенное». Онъ собирается изучать не только всеобщую, но и русскую исторію, особенно нужную ему для задуманной поэмы: «Владиміръ». «Три года — пишетъ онъ далѣе — будутъ посвящены труду приготовительному, необходимому, тяжелому, но утѣшдаемому высокою мыслью быть прямо тѣмъ, чѣмъ должно. Авторство почитаю службою отечеству, въ которомъ надо быть или отличнымъ, или презрѣннымъ: промежутка нѣтъ. Но съ тѣми свѣдѣніями, которыя имѣю теперь, нельзя достигнуть до перваго. Итакъ, лучше поздно, чѣмъ никогда». Послѣдующая дѣятельность Жуковского показала, что это намѣреніе было не только на словахъ. Здѣсь же слѣдуетъ отмѣтить своеобразный взглядъ Жуковского на «исторію». Въ основѣ системы, усвоенной Жуковскимъ съ молодости, лежитъ теорія гуманистической «души»; прогрессъ опредѣляется «временемъ», «Промысломъ», его желательный характеръ — «умѣренность»; сдерживающее начало — историческое преданіе и время — единственный «вѣрный, сильный, но медленный создатель лучшаго», оно «послушно одному Богу». Исторія говоритъ властителемъ: «будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ; идите съ нимъ вмѣстѣ впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете — онъ васъ покинетъ; повлечете его быстро впередъ — ниспровергнете все и себя; осмѣлитесь преградить ему дорогу — онъ васъ раздавитъ». Въ 1811 году Жуковский сдѣлалъ попытку просить руки любимой дѣвушки, но мать ея, несмотря на заступничество за Жуковского еще и со стороны, наотрѣзъ отказалась дать свое согласіе.

Онъ пѣлъ любовь—но былъ печаленъ гласъ.

Этотъ отказъ и нараставшее въ обществѣ патріотическое

воодушевление побудили Жуковского въ 1812 году вступить въ Московское ополчение. Онъ былъ свидѣтелемъ Бородинскаго сраженія, хотя, будучи въ резервѣ, не принималъ въ немъ непосредственнаго участія. Въ лагерѣ при Тарутинѣ Жуковскій написалъ патріотическое стихотвореніе «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ», сдѣлавшее имя автора широко извѣстнымъ и привлекавшее къ нему вниманіе Двора. Написанное въ 1814 году посланіе «Императору Александру» уже окончательно опредѣлило его карьеру: въ 1815 году онъ былъ опредѣленъ лекторомъ къ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, 1817—преподавателемъ русскаго языка великой княгинѣ (впослѣдствіи Императрицѣ) Александрѣ Ѳеодоровнѣ, 1826—наставникомъ наслѣдника (впослѣдствіи Государя) Александра Николаевича. Въ жизни писателя начинается совершенно новая полоса. Добросовѣстный по натурѣ, съ сильно развитымъ чувствомъ долга, склонный вообще къ педагогической дѣятельности, Жуковскій на время долженъ былъ порвать съ поэзіей. «Моя настоящая должность, — писалъ онъ роднымъ, — беретъ все мое время. Въ головѣ одна мысль, въ душѣ одно желаніе. Какая забота и отвѣтственность! Занятіе, питательное для души. Цѣль для цѣлой остальной жизни. Чувствую ея великость, и всѣми мыслями стремлюсь къ ней. До сихъ поръ я доволенъ успѣхомъ, но кругъ дѣйствій безпрестанно будетъ расширяться. Занятій множество: надобно учить и учиться, и время все захвачено. Прощай навсегда поэзія съ приемами! Отказавшись отъ мысли о бракѣ, «смирившись», тѣмъ горячѣе Жуковскій отдался труду: «много хорошаго есть въ жизни и безъ счастья», — говорилъ онъ себѣ, покорный волѣ Провидѣнія и вообще оптимистически настроенный. Его племянницы вышли замужъ: одна за писателя и профессора Дерптскаго университета Воейкова, а Маша—за другого профессора того же университета, доктора Мойера. Жуковскій часто навѣщалъ ихъ, проявляя къ нимъ самую трогательную заботливость. Марія Андреевна Мойеръ немного лѣтъ провела въ замужествѣ; въ 1823 году ея не стало. Поэтъ покорно принялъ вѣсть объ ея смерти. Для него началась «жизнь воспоминанія». Въ его душѣ развивались такіа мысли: «Жизнь—для души, слѣдственно Маша не потеряна. Кто возьметъ ее у души? Ее здѣшнею можно было видѣть глазами,

можно было слышать; въ ея присутствіи было счастье. Но ее та-
мошнею можно видѣть только душой, ея достойною, въ этомъ
неразлучимую. Это чувство согрѣваетъ мою душу. Знаю, что не
стою ея, но остатокъ жизни—этому чувству... Машина потеря
есть для меня религія, и вотъ почему я называю жизнь святы-
нею. Одною только жизнію можно къ ней приближаться. Все вы-
сокое сдѣлается теперь для меня вѣрою, все стало понятнѣе...
Въ элегіи «19 марта 1823» онъ говоритъ:

Твоя могила
Какъ рай спокойна:
Тамъ всѣ земныя
Воспоминанья,
Тамъ всѣ святыя
О небѣ мысли.
Звѣзды небесъ!
Тихая ночь!

Лично пережитое Жуковскимъ чувство окрасить собою мно-
гія стихотворенія его, написанныя по различнымъ поводамъ.

Содержаніе дальнѣйшей жизни Жуковского заключается въ
пополненіи его житейскаго опыта во время поѣздки по Россіи
въ 1837 году, неоднократныхъ поѣздокъ за границу; въ занятіяхъ
литературой—въ мысляхъ и чувствахъ. Но то новое, что вхо-
дитъ въ его жизнь, не мѣняетъ его основного міросозерцанія.
Его внутренняя жизнь отличается какой-то неподвижностью: ни
колебаній, ни порывовъ, ни новыхъ откровеній. Жуковский Ни-
колаевской эпохи тотъ же, что и въ царствованіе Александра I.
Близость ко Двору дала Жуковскому возможность не разъ защи-
тить русскаго писателя отъ слишкомъ придирчивой и подозри-
тельной цензуры и власти. Не мало, въ этомъ отношеніи, сдѣ-
лалъ Жуковский для Пушкина. Событіемъ былъ бракъ его въ
1841 году съ 17-лѣтней дочерью его друга Елизаветой Рейтернъ,
дѣвушкой идеалистически и религіозно настроенной. Жуковский
былъ уже въ отставкѣ и жилъ исключительно за границей (въ
Дюссельдорфѣ).

И нынѣ тихо, безъ волненья льется
 Потокъ моей уединенной жизни.
 Смотря въ лицо подруги, данной Богомъ,
 На освященье сердца моего,
 Смотря, какъ спитъ сномъ ангела на лонѣ
 У матери младенецъ мой прекрасный,
 Я чувствую глубоко тотъ покой,
 Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ,
 Не находя нигдѣ; и слышу голосъ,
 Земныя всѣ смирѹющій тревоги:
 «Да не смущается твоя душа»,
 Онъ говоритъ мнѣ, «вѣруй въ Бога, вѣруй
 Въ меня».

Жуковскій, и прежде сторонившійся широкихъ общественныхъ интересовъ, жилъ исключительно въ себѣ, въ своей семьѣ, идиллически. Въ этотъ періодъ онъ особенно занялся эпосомъ. «Мнѣ хотѣлось, говоритъ онъ, заглянуть въ перво-мѣръ-поэзію, въ этотъ потерянный эдемъ, въ которомъ во время оно дышалось такъ легко и цѣлбно. Гомеръ отворилъ мнѣ заповѣдную дверь въ него, и я пожилъ счастливо съ его свѣтлыми созданіями, которыхъ вѣяніе было такъ благовононо посреди визговъ и мефитическаго зловонія бунтующей толпы, парламентскихъ болтуновъ и ложновдохновенныхъ поэтовъ настоящаго времени». Свое отчужденіе отъ литературной молодежи, но уже безъ горечи, а съ грустью онъ изобразилъ въ «Царскосельскомъ Лебедѣ» (1849). И онъ, какъ старый умирающій лебедь, сидѣлъ «нелюдимо, хилымъ отшельникомъ»,

Спутниковъ давнишнихъ, прежней современныхъ
 Жизни, переживши, сѣтуя глубоко.

Жуковскій перевелъ «Одиссею» (первая половина напечатана въ 1847 году, вторая—въ 1849 году) и I и начало II пѣсни «Иліады». Кончить замысловъ не удалось, вслѣдствіе недуговъ (ослабленіе зрѣнія, слуха). 7 апрѣля 1852 года Жуковскій скончался въ Баденъ-Баденѣ, былъ перевезенъ въ Петербургъ и

похороненъ въ Александро-Невской Лаврѣ, рядомъ съ Карамзинымъ.

Жуковскій жилъ въ періодъ литературнаго «броженія», сосуществованія различныхъ литературныхъ направленій и, какъ большинство его современниковъ, да и самъ Пушкинъ, откликнулся на всевозможныя настроенія эпохи.

Въ «Благородномъ пансіонѣ» онъ еще подражалъ торжественнымъ одамъ Ломоносова и Державина. Отголосокъ «классицизма», безъ крайностей его риторики, можно слышать въ его патріотическихъ произведеніяхъ, какъ «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ» и др., и въ нѣкоторыхъ критическихъ статьяхъ.

Въ «Дружескомъ Обществѣ» Жуковскій подпалъ несомнѣнно подъ вліяніе сентиментальныхъ писателей—русскихъ и иностранныхъ. Особенную роль слѣдуетъ приписать Карамзину и Дмитріеву¹⁾, которыхъ самъ Жуковскій называлъ впоследствии своими «учителями»: «Большая половина жизни—писалъ Жуковскій въ 1826 году—прошла подъ свѣтлымъ вліяніемъ его (Карамзина) присутствія... Карамзинъ—въ этомъ имени было и будетъ все, что есть для сердца высокаго, милаго, добродѣтельнаго. Воспоминаніе о немъ—есть религія». И въ теоретическихъ взглядахъ на задачи поэзіи и автора, и въ формѣ творчества Жуковскій сильно напоминаетъ Карамзина, сумѣвъ однако избѣгнуть нѣсколько излишней слащавости Карамзинскаго стиля.

Въ 20-хъ годахъ Жуковскій усиленно переводитъ «романтиковъ» Шиллера, Гете и др., заинтересовывается вожаками и теоретиками этого направленія, самъ становится, по позднѣйшему признанію, «родителемъ на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическимъ дядькой чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ».

Въ концѣ жизни, Жуковскій заявляетъ въ предисловіи къ переводу Одиссеи, что онъ «изъ мечтателя романтика сдѣлался трезвымъ классикомъ» (въ новомъ уже смыслѣ, по сравненію съ классицизмомъ французскимъ или т. н. «псевдоклассицизмомъ»).

¹⁾ Ив. Ив. Дмитріевъ (1760—1837), авторъ сентиментальныхъ пѣсень, въ родѣ очень популярной въ свое время: «Стоитъ сизый голубочекъ», басень, большею частію, переводныхъ, и сатиры «Чужой толкъ», осмѣивавшей уже и безъ того устарѣвшій «ложноклассицизмъ».

Къ какой же литературной школѣ отнести Жуковского? Сентименталистъ онъ или романтикъ? Или—то и другое, въ своеобразномъ сочетаніи, на границѣ сосѣднихъ литературныхъ направленій?

Трудность отвѣта объясняется, во 1-хъ, тѣмъ, что самые термины литературныхъ направленій (сентиментализмъ, романтизмъ, реализмъ) не поддаются точному опредѣленію, принимая въ разныя эпохи и въ разныхъ мѣстахъ своеобразную окраску. Относительно романтизма, напримѣръ, Ф. Шлегель писалъ брату: «Я не могу прислать тебѣ моего опредѣленія слова романтической, потому что оно на 125 листахъ», а кн. Вяземскій признавался Жуковскому: «романтизмъ—какъ домовая: многіе вѣрятъ ему; убѣжденіе есть, что онъ существуетъ, но гдѣ его примѣта? Какъ обозначить его? Какъ наткнуться на него палецъ?» Во 2-хъ, если опредѣлять романтическую школу писателей въ разныхъ странахъ исторически и потомъ выдѣлить общія тенденціи направленія, то оказывается, что противопоставлять сентиментализмъ и романтизмъ никакъ нельзя, что психологически они тѣсно между собою связаны, и сентиментализмъ является какъ бы ранней стадіей романтизма.

Это общее между двумя теченіями, переходный моментъ отъ одного къ другому, нашло себѣ выраженіе въ дѣятельности Руссо, который усвоилъ англійскій сентиментализмъ и развилъ его въ цѣлую школу («руссоизмъ»), сказавшуюся во всѣхъ литературахъ и не миновавшую насъ, въ творчествѣ Карамзина и Жуковского.

Наиболѣе характерной чертой этого литературнаго направленія является культъ личности, чувства и природы.

За человѣкомъ признается право свободы, личнаго убѣжденія, внутренней совѣсти—и въ религіи, и въ этикѣ, и въ творчествѣ, и въ общественной жизни.

Отношеніе къ міру опредѣляется сердцемъ. Оно—повелитель, оно же источникъ блаженства и мученій нашихъ. Существовать то же, что чувствовать. Сентименталисты и романтики смотрятъ на все «сквозь призму сердца». Въ религіи для нихъ важны не догматы, а чувство гуманности, мистическая интуиція; въ морали—справедливость и доброта, какъ инстинктъ сердца; цѣль воспи-

танія—человѣкъ, способный къ жалости, состраданію и другимъ добродѣтелямъ. Особенно превозносится любовь, какъ чистая и пріятная наклонность, источникъ всего прекраснаго и героическаго,—основа семьи, усердно идеализируемой сентименталистами.

Наконецъ, третій лозунгъ «руссоизма»—природа, какъ начало простоты и естественности. Человѣкъ долженъ прислушиваться къ ея голосу и, сообразно ея велѣніямъ, направлять свою жизнь. Среди природы человѣческой духъ какъ бы окрыляется и проявляется во всей широтѣ, полнотѣ, глубинѣ и смѣлости; здѣсь онъ впервые получаетъ идею «божества», «гармоніи міра». Къ природѣ надо стремиться въ воспитаніи; ей нужно подражать въ творествѣ... Первобытное, непосредственное, естественное выше культуры. Отдаленные вѣка интереснѣе нашего времени.

По сравненію съ англійскимъ сентиментализмомъ, въ руссоизмѣ чувствуется бѣлая тревога, драматизмъ, напряженность. Личность выдѣляется. Еще шагъ—и она поставитъ себя въ центрѣ міра, какъ «эхо» вселенной.

Сентиментализмъ идилличенъ, слезливъ, узокъ. «Романтическая поэзія—дочь энтузіазма и вдохновенія». Въ романтизмѣ чувствуется стремленіе къ универсализму—выраженію жизни человѣка, божества и природы во всей ихъ полнотѣ.

Представителями романтической школы во Франціи, послѣ Руссо, являются—Шатобріанъ, Ламартинъ, Гюго. Въ Германіи—сперва «бурные геніи» (молодые Гете и Шиллеръ, Клинггеръ, Ленцъ и др.), а потомъ—братья Шлегели, Тикъ, Вакенродеръ, Новалисъ, Шеллингъ, ушедшіе въ себя, въ свои настроенія. Характерной чертой для нѣмецкаго романтизма является стремленіе создать свою національную литературу и идеализація старины. Въ Англіи переходная эпоха занята т. н. «озерной школой» (лэкисты) Вордсворта, Кольриджа, Соути и др., болѣе или менѣе причастныхъ къ увлеченію фантастическимъ, поэзіей—природой, національнымъ колоритомъ. Интересъ къ прошлому наиболѣе обнаружилъ Вальтеръ Скоттъ въ своихъ романахъ. Собственно романтизмъ въ Англіи покрывается дѣятельностью Байрона («байронизмъ»). Онъ тоже безпокойный, живущій чувствомъ, порывающій съ дѣйствительностью, но не во имя прошлаго, а во имя будущаго. Онъ протестуетъ противъ пошлости и

рабства людей, зоветъ къ борьбѣ за свободу и человѣчество и— вмѣстѣ съ тѣмъ—безсильный противъ жизненныхъ противорѣчій, чувствуя раздвоенность въ собственной душѣ, предается глубокой тоскѣ, доходящей порою до трагическаго отчаянія («міровая скорбь»).

Въ Россіи романтизмъ разнаго типа проникъ очень рано— въ переводахъ и подражаніяхъ— и далъ своихъ представителей. Въ общемъ нашъ романтизмъ болѣе трезвъ и ясенъ, чѣмъ нѣмецкій, и не столь бурный, какъ англійскій. Нашъ романтизмъ— преддверіе реализма, по преимуществу; наиболѣе цѣнныя черты его: признаніе свободы творчества и начала народности.

Жуковскій, по всѣмъ условіямъ своей природы, воспитанія и житейской обстановки, а также литературнымъ вліяніямъ, долженъ быть отнесенъ къ «руссоистамъ», «сентиментальнымъ романтикамъ», на пути къ романтикамъ («доромантизмъ», по опредѣленію академика Веселовскаго). «Это непрерывное стремленіе куда-то, это томительное порываніе въ туманную даль, за которою тускло мерцаетъ заря лучшей жизни; эта вѣчная грусть по какому-то недостижимому идеалу блаженства, тоскливое воспоминаніе о миломъ «прежде», въ которомъ жизнь была такъ полна надеждъ и удовлетворенія; это всегдашнее недовольство настоящимъ; эта гордая и твердая вѣра въ вѣчность любви и жизни». Что это— такъ закончимъ мы вышеприведенныя слова Бѣлинскаго— какъ не духъ романтизма, но не «бурнаго», а «прекраснодушнаго» и «нѣжно-чувствительнаго».

«Философомъ» Жуковскій не былъ. «Я совершенный невѣжда въ философіи», признается онъ въ 1850 году, «нѣмецкая философія была мнѣ доселѣ и неизвѣстна и недоступна; на старости нельзя пускаться въ этотъ лабиринтъ; меня бы въ немъ цѣликомъ поглотилъ минотавръ нѣмецкой метафизики».

Эстетическія воззрѣнія Жуковскаго складывались вначалѣ подъ вліяніемъ Карамзина (образъ «сентиментальнаго» поэта въ «Сельскомъ кладбищѣ» 1802 года), а затѣмъ— нѣмецкихъ романтиковъ (теоретики Энгель, Бутервекъ, изъ поэтовъ Шиллеръ, Новалисъ), причемъ онъ вноситъ и нѣкоторыя своеобразныя черты, особенно въ концѣ жизни, когда усилилось его религиозное настроеніе.

Для Жуковского нѣтъ ничего выше поэзіи, которую онъ любилъ для нея самой, какъ «святое» дѣло. Эстетическіе интересы включаютъ въ себѣ всѣ прочіе — моральные, научные, религиозные. «Геній чистой красоты» есть вмѣстѣ и вѣстникъ «не-тлѣнныхъ благъ». Поэзія есть добродѣтель. Художникъ особымъ даромъ провидѣнія «вдругъ доходитъ до того, что другіе открываютъ глубокимъ размысленіемъ». Черезъ чистыя формы искусства человѣкъ таинственной стезей поднимается «все къ высшимъ высотамъ, все къ красотѣ полнѣйшей», чтобы въ концѣ концовъ подвергнуться «въ упоеньѣ въ объятія истины святой». Стремясь къ прекрасному, «стремишься не къ тому, чѣмъ чувство произведено, и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому, что съ нимъ соединяется и чего съ нимъ нѣтъ, и что для тебя гдѣ-то существуетъ». Дѣйствіе поэзіи «не есть ни умственное, ни нравственное, оно не даетъ душѣ ничего опредѣленнаго: ни «новой логически обработанной идеи», ни положительнаго нравственнаго правила, нѣтъ — «это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое дѣйствіе откровенной красоты, которая всю душу обхватываетъ и въ ней оставляетъ слѣды неизгладимые». На вопросъ: «Что такое красота?» Жуковскій теперь отвѣчаетъ: «ощущеніе и слышаніе душою Бога въ созданіи». Въ подражательной поэмѣ: «Камоэнсъ», Жуковскій называетъ поэзію «небесной религіи сестрой земною», «Богомъ въ святыхъ мечтахъ земли».

Поэзія — свѣтлый

Маякъ Самимъ Создателемъ зажженный,
 Чтобъ мы во тьмѣ житейскихъ бурь не сбились
 Съ пути. Поэтъ, на пламени его
 Свой факель зажигаи! Твои всѣ братья
 Съ тобою заодно засвѣтятъ, каждый,
 Хранительный Свой огонь, и будутъ здѣсь
 Они во всѣхъ странахъ и временахъ
 Для всѣхъ племенъ звѣздами путевыми:
 При блескѣ ихъ, что бъ труженикъ земной
 Ни испыталъ — душой онъ не падетъ,
 И вѣра въ лучшее въ немъ не погибнетъ.

Въ подобномъ пониманіи задачъ поэзіи Карамзинымъ, Жуковскимъ, не говоря о послѣдующихъ, какъ далеко мы ушли отъ того взгляда на поэзію, какъ забаву или украшеніе жизни, или непосредственное правоученіе, который былъ свойственъ XVIII вѣку, и какъ возвысилось ея значеніе въ жизни!

«Жизнь и поэзія одно» — и къ авторамъ предъявляются строгія требованія, какъ раньше Карамзинымъ, такъ теперь Жуковскимъ: нечистый человѣкъ не можетъ быть хорошимъ поэтомъ. «Стихотворецъ никогда не долженъ перестать быть человѣкомъ, почитателемъ Бога, членомъ общества, сыномъ отечества, не долженъ пренебрегать должностей, соединенныхъ съ этими отношеніями. Всякій изъ читателей, будучи критикомъ стихотворца, есть въ то же время и судія человѣка — и горе поэту, если одобреніе судіи не будетъ для него столь же важно, какъ и одобреніе критики». Вотъ взгляды Жуковского, со стороны которыхъ можно судить и его самого.

Творчество Жуковского — это его жизнь, вѣрное отраженіе его внутренняго міра, своего рода «душевная исповѣдь». Особенности натуры и жизни поэта, самыя темы поэзіи Жуковского опредѣлили и господствующій характеръ его образовъ и думъ — элегическій.

Элегіей началась поэзія Жуковского.

Первымъ серьезнымъ литературнымъ опытомъ была передѣлка элегіи англійскаго поэта Грея: «Сельское кладбище» (1802).

Сельскій лѣтній вечеръ. Тишина, прерываемая то жужжаньемъ жука, то звукомъ рога, то крикомъ совы. Вѣчный покой кладбища. Размышленія поэта о судьбѣ поселянина — о скромной и трудовой его жизни и ложномъ отношеніи къ ней «рабовъ суеты», о равенствѣ всѣхъ передъ смертью и природой, о различіи житейскихъ обстоятельствъ, благоприятствующихъ однимъ и тяжелыхъ для другихъ, о хорошей сторонѣ убогаго состоянія, о значеніи любви для умирающаго. Въ концѣ — мысль поэта о своей собственной смерти. И онъ, можетъ быть, на томъ же кладбищѣ найдетъ себѣ вѣчный покой, и на его могилѣ напишутъ:

Здѣсь пепель юноши безвременно сокрыли;
 Что слава, счастье, не зналъ онъ въ мірѣ семъ;
 Но музы отъ него лица не отвратили,
 И меланхоліи печать была на немъ.
 Онъ кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою—
 Чувствительнымъ Творецъ награду положилъ.
 Дарилъ несчастныхъ онъ—чѣмъ только могъ—слезою;
 Въ награду отъ Творца онъ друга получилъ.
 Прохожій, помолись надъ этою могилой,
 Онъ въ ней напелъ пріютъ отъ всѣхъ земныхъ тревогъ;
 Здѣсь все оставилъ онъ, что въ немъ грѣховно было,
 Съ надеждою, что живъ его Спаситель Богъ.

Для сентименталиста въ этой элегіи характерны: выборъ самой обстановки—кладбища и ночной поры, тишины и мрака; мысли о близкой кончинѣ и тщетѣ всего земного; сочувствіе къ низшимъ, обездоленнымъ; типичный образъ «чувствительнаго» поэта съ «печатью меланхоліи», который уединяется въ деревенскую идиллію и тамъ предается тихимъ радостямъ творчества. Это кроткое мечтательное настроеніе ближе всего было душѣ Жуковского. При выборѣ произведеній нѣмецкой и англійской поэзіи для перевода, Жуковский искалъ именно подобнаго мирнаго тона. Къ тому же Грею Жуковский вернулся еще разъ въ концѣ своей жизни и вторично перевелъ то же «Сельское кладбище» (1839).

Тѣ же чувства «разочарованной души», обращеніе къ прошлому, къ могиламъ и пр. встрѣчаются и въ другихъ элегіяхъ ранняго періода творчества Жуковского. Вездѣ «душа» на первомъ планѣ—въ любви, дружбѣ, поэзіи, наслажденіи природой.

Болѣе естественный и глубокий характеръ приняли эти мотивы въ связи съ любовью поэта, съ тѣмъ, что пережито его чувствомъ. Недолгая радость свѣтлой любви («Пѣсня» 1808):

Мой другъ, хранитель—ангелъ мой,
 О ты, съ которой нѣтъ сравненья,
 Люблю тебя, дышу тобой...

Тяжелое томительное чувство разлуки съ милымъ существомъ,

крушеніе всяческихъ надеждъ на счастье, воспоминаніе о минувшемъ, взамѣнъ потеряннаго счастья, мысль о загробномъ свиданіи, и смиреніе, отреченіе («резигнація») — какъ выводъ житейской философіи; вотъ любимые мотивы лирики Жуковского до 1841 года, независимо отъ сюжетовъ.

Главное, подсказанное его жизнью: воспоминаніе и упованіе. Прошлое неистребимо:

Минувшихъ дней очарованье,
Зачѣмъ опять воскресло ты?
Кто разбудилъ воспоминанье
И замолчавшія мечты?

О, милый гость, святое прежде,
Зачѣмъ въ мою тѣснишься грудь?
Могу ль сказать: живи надеждѣ?
Скажу ль тому, что было, будь?

Зачѣмъ душа въ тотъ край стремится,
Гдѣ были дни, какихъ ужъ нѣтъ?
Пустынный край не населится,
Не узрѣть онъ минувшихъ лѣтъ.

(«Шѣсны» 1816).

Въ прошломъ все: и милый кровъ, «гдѣ онъ расцвѣлъ въ тѣни уединенья». и милый другъ, «благодатный геній, подруга юныхъ лѣтъ».

Въ элегіи «На кончину Ея Величества Королевы Виртембергской» (1818) поэтъ говорить:

Прекрасное погибло въ пышномъ цвѣтѣ—
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ...

и дальше:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,
Гдѣ скорбь безъ крыль, а радости крылаты,
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно.

Въ элегіи «Море» (1822) — та же тоска по прекрасному идеалу: «полное таинственной и сладостной жизни», когда свѣтитъ солнце; оно «бьется, воетъ, волны подьѣмлетъ», когда собираются

«темныя тучи». Море—душа человѣка, Небо — идеаль, Тучи—жизнь, заслоняющая идеаль.

Въ элегии «19 Марта 1823», по случаю смерти Протасовой—Мойеръ, Жуковский трогательно изобразилъ свою скорбь:

Ты предо мною
Стояла тихо;
Твой взоръ унылый
Быль полонъ чувствъ,
Онъ мнѣ напомнилъ
О миломъ прошломъ.
Онъ былъ послѣдній
На здѣшнемъ свѣтѣ.

Настоящее уже давно не занимало поэта:

Все близкое мнѣ зрится отдаленнымъ

Теперь и милое воспоминаніе

о томъ, чего ужъ въ мірѣ нѣтъ—

отступаетъ на второй планъ.

О дума сердца—упованіе
На лучшій неизмѣнный свѣтъ.

Образъ загробнаго свиданія привлекаетъ Жуковского къ переводу элегии Шиллера «Жалоба Цереры», относящагося къ году смерти «Маши». Прозерпина, чтобы подать вѣсть своей дочери, обрѣтающейся въ подземномъ царствѣ Плутона, бросаетъ въ землю сѣмена, изъ которыхъ потомъ появляются цвѣты — отвѣтъ дочери на привѣтъ матери.

Ими таинственно слита
Область тьмы съ страной дня,
И приходятъ отъ Коцита
Съ ними вѣсти до меня.
И ко мнѣ въ живомъ дыханьи
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признанье,
Гласъ родной изъ глубины:

Онъ разлуку услаждаетъ,
 Онъ душѣ моей твердитъ —
 Что любовь не умираетъ
 И въ отшедшихъ за Коцитъ.

Успокоительная вѣра въ загробный, идеальный міръ, отражающая и смиреніе поэта передъ испытаніями жизни, и его оптимизмъ и религіозность, нашла себѣ выраженіе еще раньше въ одной изъ лучшихъ его элегій «Теонъ и Эсхинъ» (1814).

Юноша Эсхинъ возвращается на родные берега Алфея.

Онъ долго по свѣту за счастьемъ бродилъ,
 Но счастье, какъ тѣнь, убѣгло.
 И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ
 Лишь сердце его изнурили;
 Цвѣтъ жизни былъ сорванъ, увяла душа;
 Въ немъ скука смѣнила надежду.

На берегу рѣки, среди роскошной природы, жилъ Теонъ, «въ желаніяхъ скромный, безъ пышныхъ надеждъ», знавшій тихое семейное счастье, теперь грустно смотрѣвшій на багряное море.

Друзья, привѣтствовавъ другъ друга, повели бесѣду о счастьѣ. Непрочно счастье и обманчивы надежды, думаетъ «разочарованный» Эсхинъ. Но Теонъ, указавъ на «бѣломраморный гробъ» своей милой, не согласился съ другомъ: «боги для счастья послали намъ жизнь, но съ нею печаль неразлучна». Это законъ жизни. Виновны бываемъ обыкновенно мы, ища счастья не тамъ, гдѣ нужно:

Что можетъ разрушить въ минуту судьба,
 Эсхинъ, то на свѣтѣ не наше;
 Но сердца нетлѣнные блага: любовь
 И сладость возвышенныхъ мыслей.

Въ примѣръ привелъ Теонъ себя — свою любовь, освятившую его душу, наслажденіе возвышенными мыслями, которыя открыли ему великость творенья, вѣру въ прекрасную цѣль жизни. Любовь остается и послѣ утраты милаго существа; возвы-

шенная цѣль, къ которой стремились вдвоемъ, остается и для одного:

При мысли великой, что я — человѣкъ,
Всегда возвышаюсь душою.

«Скорбь о прошедшемъ» есть лишь залогъ того, что «гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ погибшее намъ возвратится». Отчаяніе Эсхина Теонъ объясняетъ тѣмъ, что онъ искалъ благъ внѣ себя и, конечно, не нашелъ ихъ. Надо примириться съ природой и жизнью, надо вѣрить въ красоту творенья:

Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ,
Все въ жизни — къ великому средство;
И горе и радость — все къ цѣли одной:
Хвала жизнедавцу Зевесу!

Въ этой элегіи есть уже и «романтическія» черты — исканіе идеаловъ въ самомъ себѣ, вѣчность чувства любви, сладкая грусть, порывъ души къ небу и вѣра въ загробное соединеніе душъ.

Изъ другихъ видовъ лирики, кромѣ элегій, Жуковскій написалъ не мало романсовъ (пѣсенъ), идиллій, посланій, и нѣсколько патріотическихкихъ стихотвореній, звучныхъ, красивыхъ, съ пафосомъ.

Наиболѣе извѣстное изъ нихъ: «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ» (1812).

Содержаніе этого произведенія заключается въ рядѣ тостовъ, произнесенныхъ пѣвцомъ въ станѣ воиновъ за почившихъ русскихъ героев «древнихъ лѣтъ»: Святослава, Дмитрія Донского, Петра В., Суворова; за современныхъ полководцевъ 12 года, начиная съ Кутузова; за родину и близкихъ, за Царя; за дружбу, за любовь, за поэзію. Оканчивается стихотвореніе призывомъ къ вѣрѣ въ Творца, Который «ведетъ насъ къ лучшему концу стезей непостижимой», и къ бодрости духа:

Прочь, низкое! прочь, злоба!
Духъ бодрый, по дорогѣ бѣдъ,
До самой двери гроба!

Эта «ода» не лишена ложноклассического элемента: русскіе генералы похожи на воиновъ Гомера и Виргилія, ихъ подвиги описаны порою гиперболически—по Державински. Не мало однако мѣсть, выражающихъ излюбленные «чувства» поэта:

Обѣтамъ—вѣчность, чести—честь,
 Покорность правой власти;
 Для дружбы все, что въ мірѣ есть,
 Любви весь пламень страсти;
 Утѣха скорби, просьбѣ дань,
 Погибели спасенье,
 Могущему пороку брань,
 Безсильному презрѣнье;
 Неправдѣ—грозный правды гласъ,
 Заслугѣ воздаянье;
 Спокойствіе въ послѣдній часъ,
 При гробѣ упованье.

Непосредственное чувство сказалось и въ строфѣ, посвященной отчизнѣ:

О родина святая!
 Какое сердце не дрожить,
 Тебя благословляя?

Изъ формъ эпического творчества Жуковскій болѣе всего пользовался балладою, можетъ быть, потому, что эта форма была излюбленная романтиками (къ намъ ее внесъ «нашъ первый романтикъ» Каменевъ—«Громвалъ» 1802) и была приспособлена для фантастическаго и героическаго содержанія небольшихъ сравнительно размѣровъ. Можетъ быть, балладные мотивы, видѣнія кладбища, при невѣрномъ свѣтѣ луны, «нѣмецкіе и англійскіе черти и вѣдьмы» отвѣчали и собственному настроенію поэта, сосредоточенному на таинственномъ загробномъ мірѣ, населенномъ «милыми тѣнями прошлаго».

Первой балладой, доставившей славу Жуковскому, была передѣлка баллады Бюргера «Ленора», подъ заглавіемъ «Людмила» (1808). «Для русской публики—говоритъ Бѣлинскій—все было ново въ этой балладѣ—и стихи этой баллады не могли не

удивить всѣхъ своей легкостью, звучностью, а главное — своимъ складомъ, совершенно небывалымъ, новымъ и оригинальнымъ». Сюжетъ заимствованъ изъ народныхъ сказаній о женихѣ-мертвецѣ. Но Жуковского привлекла, главнымъ образомъ, моральная идея произведенія: наказаніе героини, лишившейся жениха, за ропотъ ея на Бога:

О Людмила, грѣхъ роптанье;
Скорбь Создателя посланье;
Зла Создатель не творить;
Мертвыхъ стонъ не воскресить.

Сравнительно съ оригиналомъ, Жуковскій смягчилъ слишкомъ мрачныя краски и нѣкоторыя грубыя подробности. По Бюргеру — женихъ-мертвецъ мчится со своей невѣстой по полямъ и лѣсамъ; на дорогѣ они видятъ черный гробъ, слышатъ погребальное пѣніе сопровождающихъ его; они скачутъ мимо висѣлицы, гдѣ вокругъ чернѣющаго трупа завываютъ духи; всѣхъ встрѣтившихся женихъ-мертвецъ приглашаетъ на свою свадьбу. Подъ утро они прискакали на кладбище: Ленора видитъ своего жениха и разверстую могилу; въ ужасѣ она умираетъ. Жуковскій замѣнилъ погребальную процессію и «висѣльниковъ» картиною «тихихъ тѣней», выходящихъ свѣтлымъ хороводомъ въ «дымъ облака», въ таинственныхъ лучахъ мѣсяца:

Вотъ поютъ воздушны лики,
Будто въ листьяхъ павилики,
Вьется легкій вѣтерокъ,
Будто плещетъ ручеекъ.

Попытка придать «народность» балладѣ — перенесеніемъ дѣйствія въ Россію и «руссификаціей» самого имени героини — не удалась.

Больше чертъ народности въ другой оригинальной балладѣ Жуковского: «Свѣтлана» (1811). Здѣсь очень удачно описаніе простонароднаго гаданія на святкахъ, съ пѣніемъ подблюдныхъ пѣсень и пр. Сюжетъ тотъ же, что и въ «Людмилѣ», но, во 1-хъ, все происходитъ въ сновидѣніи и, значитъ, въ концѣ концовъ, не

такъ ужасно, а во 2-хъ, исходъ вполне благополучный: во снѣ защитилъ Свѣтлану «бѣлый голубокъ», а наяву возвращается къ ней живой женихъ. Здѣсь Жуковскій какъ бы нарочно ослабляетъ фантастику крайнихъ романтиковъ:

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу:
Въ ней большія чудеса,
Очень мало складу. («Посвященіе» баллады)

и проявляетъ свой обычный оптимизмъ и вѣру въ провидѣніе:

Лучшій другъ намъ въ жизни сей
Вѣра въ Провидѣнье.
Благъ Зиждителя законъ:
Здѣсь несчастье—дживый сонъ,
Счастье—пробужденье.

Изъ раннихъ балладъ Жуковского характерны для настроенія поэта, тоскующаго отъ несчастной любви: «Алина и Альсимъ» («герой блѣденъ, печаль въ глазахъ, тоски примѣта»), «Эолова арфа» (арфа, повѣшенная «залогомъ прекрасныхъ минувшихъ дней», милая тѣнь одинокой Минваны, блѣдной красоты сѣвера), «Узница» («Душа готовилась любить. И все покинуть, все забыть...»).

Всюду насильственно разорванный «союзъ сердецъ», какъ въ жизни самого поэта. Символами, намеками, теплотою чувства, общей напѣвностью стиха выдастъ онъ свою собственную скорбь, глубоко пережитую.

Наиболѣе значительной по объему и характерной по содержанию является длинная баллада Жуковского: «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ», состоящая изъ двухъ частей: «Громобой» и «Вадимъ».

Сюжетъ повѣсти также заимствованъ изъ народныхъ сказаній о грѣшникѣ, продавшемъ, ради земныхъ благъ, свою душу дьяволу — романтический мотивъ. Геніальная обработка этого сюжета принадлежитъ Гете («Фаустъ»). Жуковскій воспользовался обработкой нѣмецкаго романиста Шписа, но, съ своей стороны,

перенесъ дѣйствіе на берега Днѣпра въ эпоху Кіевской Руси, сократилъ и упростилъ разныя запутанныя приключенія героя по пути къ замку и, облагородивъ многія картины и событія, описанныя у Шписа, особенно выдвинулъ «идеализмъ» Вадима.

Вадимъ, новгородскій витязь, — типъ романтика, чистаго душою и тѣломъ, полнаго неясныхъ ожиданій и томленій духа по идеалу, возвышенному, но невѣдомому. Однажды, когда «чувства тайнаго полна душа въ немъ унывала», къ нему явился какой-то старецъ и показалъ ему таинственный образъ дѣвушки, которой «ликъ закрытъ завѣсою туманной, и на главѣ ея лежитъ вѣнокъ благоуханный». Старецъ зоветъ юношу:

Вадимъ, желанное вдали,
Вѣрь небу, жди смиренно;
Все измѣняетъ на земли,
А небо неизмѣнно,
Стремись, я провожатый твой!

Юноша, увлеченный небесною мечтой, идетъ, съ воспламененнымъ сердцемъ, искать представшій ему въ видѣніи идеаль. Онъ совершаетъ по пути рядъ подвиговъ не только въ борьбѣ съ внѣшними врагами, но и внутренними искушеніями, и достигаетъ замка Громобоя. Здѣсь въ лицѣ одной изъ двѣнадцати спящихъ дѣвъ онъ находитъ свой идеаль:

Свершилось все — и раннихъ лѣтъ
Прекрасныя желанья,
И озаряющія свѣтъ
Младой души мечтанья,
И все, чего мы здѣсь не зримъ,
Что вѣрѣ лишь открыто —
Все вдругъ явилось передъ нимъ,
Въ единый образъ слито.

Къ передѣлкамъ народныхъ сказаній относятся и двѣ поэмы Жуковского: «Ундина» (1833 — 36) и «Странствующій Жидъ» (осталась неоконченной) — обѣ проникнутыя религіозно-правственной мыслью. «Ундина» Жуковского передѣлена изъ прозаиче-

скаго романа Ламотта Фука: выдвинуто на первый планъ «чувство» и значительно опoэтизирована самая форма. Можно полагать, что лирическія мѣста «Ундины» передаютъ пережитое самимъ поэтомъ, напpимѣръ:

..... позволь мнѣ

Лучше о томъ позабыть, что такъ больно душѣ; испытали
Всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья; ты самъ, вѣроятно,
Былъ имъ обманутъ — таковъ ужъ земной человѣческій
жребій...

..... Можетъ быть, слушая нашу

Повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ миновавшемъ, и
тихо

Милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова
То, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья
Бросишь опять на цвѣты, которыми такъ любовался
Прежде на грядкахъ своихъ, давно ужъ растоптанныхъ.

Полно жъ,
Полно объ этомъ, читатель. (Глава XIII).

Много милаго Жуковскому въ самомъ образѣ Ундины — живой, рѣзвой, причудливой, добродушной и веселой и, вмѣстѣ, нѣжной и способной къ самоотверженію, ради любви. Изображеніе ея проникнуто особой задушевностью до самаго конца, когда, исполнивъ, противъ воли, смертный приговоръ надъ любимымъ человѣкомъ,

Плакала, плакала тихо, плакала долго, какъ будто
Выплакать душу хотѣла.

а затѣмъ превратилась въ свѣтлый серебристый ручей, и долго среди поселянъ жило повѣрье,

что ручей тотъ — Ундина.

Добрая, вѣрная, слитая съ милымъ и въ гробъ Ундина.

Сюжетомъ поэмы «Странствующій Жидъ» служить легенда о вѣчномъ жидѣ Агасверѣ, іерусалимскомъ башмачникѣ, грубо

прогнавшемъ Христа отъ своего дома, когда Онъ шелъ, изнемогая подъ крестной ношей, на Голгоѳу и на минуту остановился у его двери. За это Агасверъ долженъ былъ скитаться по землѣ до второго прісшествія, не зная покоя и тщетно умолая о смерти. Жуковскій очистилъ душу «вѣчнаго странника» вѣрой во Христа, внушилъ ему любовь къ міру, примирилъ со страданьемъ, «хранителемъ души», и далъ надежду на спасенье:

На потребу мнѣ одно —

Покорность и предъ Господомъ всей воли

Уничтоженіе. О сколько силы,

Какая сладость въ этомъ словѣ сердца:

«Твое, а не мое да будетъ». Въ немъ

Вся человѣческая жизнь; въ немъ наша

Свобода, наша мудрость, наши всѣ

Надежды; съ нимъ нѣтъ страха, нѣтъ заботъ.

Мысли и настроенія этой поэмы, въ основѣ своей мистическо-религіозной, отражаютъ религіозно-нравственное міросозерцаніе самого Жуковского въ послѣдніе годы его жизни.

Многія изъ названныхъ произведеній Жуковского уже являются передѣлкой чужихъ произведеній или подражаніемъ, и однако это не лишаетъ его права считаться оригинальнымъ. «У меня—писалъ онъ Гоголю въ 1847 году — почти все чужое или по поводу чужого — и все однако мое».

То же мѣрило примѣнимо и къ переводамъ Жуковского.

Прежде всего, онъ выбиралъ для перевода такія произведенія, которыя по содержанію и общему тону своему отвѣчали его личному настроенію и симпатіямъ. Начавъ съ Грея, выразителя мирныхъ чувствъ и настроеній, Жуковскій въ зрѣлые годы переводилъ болѣе тревожнаго Шиллера, закончилъ спокойнымъ эпосомъ Гомера и широко задуманной переработкой легенды объ Агасверѣ, о смиреніи мятежной души передъ всепрощающей благодатью вѣры. Много значить, при оцѣнкѣ переводческой дѣятельности Жуковского, и самая форма перевода. «Переводчикъ

стихотворецъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ самъ творецъ оригинальный. Конечно, первая мысль, на которой основано зданіе стихотворное, и планъ этого зданія принадлежать не ему; но онъ остается творцомъ выраженія. Онъ не найдетъ выражений оригинальнаго автора въ собственномъ своемъ языкѣ: ихъ долженъ онъ сотворить. А сотворить ихъ можетъ только тогда, когда, наполнившись идеаломъ, представляющимъ ему въ твореніи переводимаго имъ поэта, преобразить его, такъ сказать, въ созданіе собственного воображенія; когда, руководствуемый авторомъ оригинальнымъ, повторить съ начала до конца работу его генія. Но сія способность дѣйствовать одинаково съ творческимъ геніемъ не есть ли сама по себѣ уже творческая способность? («В. Е.» 1810, № 22).

Болѣе всего находилъ «своего», близкаго ему по идеямъ и чувствамъ, Жуковскій у нѣмцевъ и, преимущественно, у идеалиста Шиллера.

Онъ перевелъ изъ его произведеній баллады греческія («Кассандра», «Ивиковы журавли», «Торжество побѣдителей», «Поликратовъ перстень» и др.), средневѣковыя («Кубокъ», «Графъ Габсбургскій», «Перчатка», «Сраженіе со змѣею»), привлекаемый нравственной тенденціей ихъ, какъ то: идея «судьбы» греческой мифологіи, или уваженіе къ религіи, поэзіи, возвышенный взглядъ на любовь и т. п. въ средневѣковомъ рыцарствѣ. Прекрасно переведена имъ трагедія Шиллера «Орлеанская дѣва» и цѣлый рядъ его мелкихъ стихотвореній. Изъ другихъ нѣмецкихъ поэтовъ Жуковскій переводилъ понемногу изъ Гете («Моя богиня», «Утѣшеніе въ слезахъ», «Къ мѣсяцу», «Лѣсной царь» и др.), Бюргера, Уланда, Гебеля и др.

Изъ Байрона Жуковскій перевелъ только «Шильонскій узникъ», не чувствуя съ нимъ духовнаго сродства: «Въ немъ есть что-то ужасающее, стѣсняющее душу; онъ не принадлежитъ къ поэтамъ утѣшителямъ жизни». (Слова самого Жуковского). Изъ другихъ англійскихъ поэтовъ Жуковскій переводилъ Саути («Адельстанъ», «Варвикъ», «Доника», «Судъ Божій надъ епископомъ», «Королева Урака» и др.), Вальтеръ Скотта («Замокъ Смальгольмъ» и др.) — тоже баллады съ мрачными трагическими сюжетами изъ эпохи среднихъ вѣковъ, изображающія какое-ни-

будь преступленіе или тяжкій грѣхъ и не менѣе тяжелое возмездіе; не лишены онѣ и нѣкотораго сверхъестественнаго фантастическаго элемента, признака «романтики».

По своему обыкновенію, Жуковскій, не нарушая общаго тона, но чтобы отгнать элементъ автобіографическаго сочувствія, смягчалъ отдѣльныя мысли и выраженія («Орлеанская дѣва») и позволялъ себѣ нѣкоторыя отступленія въ деталяхъ, оправдываясь тѣмъ, что «переводчикъ въ прозѣ есть рабъ, переводчикъ въ стихахъ — соперникъ».

Уже наклонѣ лѣтъ Жуковскій принялся за переводъ «Одиссеи». Одинъ ученый нѣмецъ подъ каждымъ словомъ греческаго оригинала написалъ нѣмецкое слово и грамматическій смыслъ греческаго. «Мнѣ надлежало — говоритъ Жуковскій въ предисловіи къ переводу — изъ даннаго нестройнаго выгадывать скрывающееся въ немъ стройное, чутьемъ поэтическимъ отыскивать красоту въ безобразіи и творить гармонію изъ звуковъ, терзающихъ ухо». «Переводя Гомера — говоритъ онъ тамъ же — не далеко уйдешь, если займешься фактурой каждаго стиха отдѣльно, ибо у него (Гомера) нѣтъ отдѣльно разительныхъ стиховъ, а есть потокъ ихъ, который надобно схватить весь, во всей его полнотѣ и свѣтлости. И въ выборѣ словъ надлежитъ наблюдать особеннаго рода осторожность: часто самое поэтическое, живописное, заносчивое слово потому именно и не годится для Гомера; все, имѣющее видъ новизны, затѣйливости нашего времени, все необыкновенное здѣсь не у мѣста». Несмотря на невольный элементъ «лиризма» въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, нѣсколько неудачныхъ словообразованій (въ сложныхъ словахъ), Жуковскій далъ замѣчательный, до сихъ поръ сохраняющій значеніе, переводъ безсмертной поэмы.

Изъ «Иліады» Жуковскій перевелъ немного.

Съ нѣмецкихъ переводовъ Рюккерта Жуковскій перевелъ нѣсколько отрывковъ восточной поэзи: «Наль и Дамаянти» (изъ индійской поэмы «Магабгарата»), «Рустемъ и Зорабъ» (изъ персидской «Книги царей» — «Шахъ наме»).

Русскій эпосъ также интересовалъ Жуковскаго: онъ далъ переложеніе въ стихахъ ряда сказокъ («О царѣ Берендѣѣ», «Объ Иванѣ царевичѣ и сѣромъ волкѣ» и др.), но къ

славѣ его онѣ ничего не прибавили. Духа «народности» въ нихъ нѣтъ.

Взятая въ общемъ, поэтическая дѣятельность Жуковского представляетъ значительное явленіе въ исторіи русской литературы. Не широко и не разнообразно ея содержаніе, особенно съ общественной точки зрѣнія, но въ своей области—«личной» лирики—она представляетъ замѣчательное явленіе, шагъ впередъ въ исторіи русской поэзіи: отъ риторики и дидактизма къ искренности и глубокой задушевности. Высокій нравственный тонъ этой лирики не только «воспитываетъ» «въ нашей душѣ всѣ благородныя сѣмена высшей жизни, все святое и заветное бытія» (слова Бѣлинскаго), но и внушаетъ уваженіе къ поэзіи, приобретающей въ его дѣятельности исключительно серьезный характеръ обращенія къ «внутреннему человѣку», къ его сердцу и его чистымъ чувствамъ. Своей обширной и разнообразной переводческой дѣятельностью Жуковский расширилъ нашъ поэтический горизонтъ, усвоилъ намъ многихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ, рассказалъ намъ «Одиссею». Что касается изящества языка и стиха Жуковского, то довольно отзывая его геніальнаго ученика Пушкина:

Его стиховъ плѣнительная сладость
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль...

Новый слогъ.

Заслуги Карамзина и Жуковского въ исторіи русскаго литературнаго языка. Противники ихъ реформы. „Бесѣда любителей русскаго слова“. „Арзамасъ“. Кружокъ Оленина. Неоклассики.

Карамзинъ и Жуковский являются представителями новаго направленія въ русской литературѣ не только въ содержаніи и характерѣ своего творчества, но и въ языкѣ. Новый духовный міръ, раскрывающійся въ творествѣ этихъ писателей, требовалъ самостоятельнаго пользованія старымъ матеріаломъ языка,

придавая ему новыя формы сочетаній, и изобрѣтенія новыхъ словъ-понятій. Чувствуется первое время нѣкоторое колебаніе то въ сторону старины (обороты: «въ разсужденіи» вмѣсто «относительно», «для того» вмѣсто «потому» «извольте надписывать» вмѣсто «соблаговолите адресовать», «имѣть въ предметѣ», «что принадлежитъ до меня» и т. д.), то въ сторону языка «образованнаго человѣка», долженствовавшего отличаться отъ языка «непросвѣщенной черни». Неустойчивы орѳографія и грамматика. Однако «новая струя» вошла въ жизнь. Школа Карамзина-Жуковского пришла на смѣну Ломоносовскому періоду и подготовила появленіе Пушкина и Гоголя. Заслуга Карамзина—въ преобразованіи, главнымъ образомъ, языка прозы, а Жуковского—въ развитіи стиха.

Уже въ первыхъ переводахъ своихъ Карамзинъ отступилъ отъ «дикаго и варварскаго» стиля Ломоносовской школы (не столько самого представителя, сколько его неумѣренныхъ подражателей) и старался освободить рѣчь отъ «славяницыны». Въ «Письмахъ русскаго путешественника» и въ повѣстяхъ онъ посягнулъ на самый синтаксисъ и, отказавшись отъ тяжелаго латинско-нѣмецкаго расположенія словъ, сталъ располагать слова сообразно съ теченіемъ мыслей, писать недлинными, неутомительными предложеніями, напоминающими разговорную рѣчь. Слогъ получилъ «пріятность» (*élégance*). По мѣрѣ развитія литературной дѣятельности Карамзина, обширной и разнообразной, шло впередъ и «движеніе живого слова къ дальнѣйшему совершенству,—движеніе, которое пресѣкается только въ языкѣ мертвомъ» («Рѣчь Карамзина» 1818 года). Карамзинъ постоянно ищетъ болѣе точныхъ выраженій, стремится къ сжатости и правильности рѣчи, заботится о чистотѣ ея. Славянская и русская рѣчь уже раздѣлились; прежнія слова получили новое значеніе (потребность, развитіе); изъ русскихъ корней выкованы новыя слова (промышленность, потребность, будущность, усовершенствованіе); много словъ переведено съ иностраннаго (вліяніе, обстоятельство, представитель, сосредоточить) или прямо перенесено въ иностранной формѣ съ русскимъ окончаніемъ (катастрофа, эпоха, моментъ, процессъ, моральный). Въ стилѣ «Исторіи государства Россійскаго» новая стихія словъ и оборотовъ,

заимствованныхъ изъ лѣтописей, придающая изложенію характеръ особой величавой важности.

Сильное впечатлѣніе на читателей произвелъ Жуковскій новостью поэтическихъ видовъ, имъ узаконенныхъ въ русской литературѣ (опыты «балладъ» были и до него, но онъ по преимуществу «балладникъ»), и «прелестію стиховъ». Онъ былъ мастеръ языка: зналъ его и умѣлъ имъ пользоваться. «Въ бореньяхъ съ трудностію силачъ необычайный», какъ о немъ выразился князь Вяземскій. Проза Жуковского та же проза Карамзина. Но стихъ—до сихъ поръ «плѣнителенъ». У Жуковского необычайно тонкій поэтическій слухъ. Отличительныя черты его стиха: музыкальность, звучность, легкость и изящество («Людмила», «Ундина»), простота и задушевность («Одиссея»), гдѣ нужно—сжатость и мѣткость, крѣпость и мужество («Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ»). Стиль Жуковского—слѣдъ его души, цвѣтовое и вмѣстѣ мелодическое отраженіе его внутренняго настроенія. Отсюда своеобразие словаря, въ которомъ сосѣдять элементы церковно-славянскіе, сентиментальные и народные. Разнообразие и обиліе стихотворныхъ размѣровъ у Жуковского поразительное. Онъ даетъ образцы однѣхъ мужскихъ рیمъ («Шильонскій узникъ»), ямбовъ безъ рیمъ, вводитъ сказочный гексаметръ («проза въ стихахъ», въ послѣдніе годы творчества), чередуетъ трехстопные и четырехстопные анапесты («Замокъ Смальгольмъ»), не боится пятистопныхъ ямбовъ («Орлеанская дѣва»), варіируетъ хореическіе стихи съ дактилическимъ окончаніемъ черезъ стихъ (Монологъ Іоанны д'Аркъ: «Ахъ, почто за мечъ воинственный») и т. д. Также велико и богатство рیمъ.

Недаромъ стихъ Жуковского былъ мѣриломъ истинной поэтической рѣчи.

Какъ всегда бываетъ при смѣнѣ направленій, разгорается борьба стараго и новаго, и школа Карамзина-Жуковского вызвала «паріасскую бурю». Сочли себя оскорбленными прежде всего правовѣрные «классики». «Новое» противорѣчило всему ихъ воспитанію и «складу», ихъ исключительной любви къ французской словесности (державшейся старыхъ формъ), отъ которой они не могли отдѣлаться и при страстномъ желаніи быть «славянами». Однимъ изъ «непримиримыхъ» враговъ новой

школы «карамзинистовъ» былъ Шишковъ, воспитанникъ Морского Корпуса, знавшій много иностранныхъ языковъ, начетчикъ въ русской литературѣ, почитатель Ломоносова и Державина. Въ 1803 году онъ выпустилъ «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ Россійскаго языка», въ которомъ, съ одной стороны, восхваляются достоинства стараго слога и особенно Ломоносова, а съ другой, указываются недостатки «новаго» слога; въ видѣ примѣровъ слѣдуютъ выписки изъ новѣйшихъ сочиненій и переводовъ и опытъ словаря древне-русскаго языка. Самъ Карамзинъ не отвѣчалъ на нападки, но сторонники его возражали, Нѣкто Макаровъ «въ Московскомъ Меркуріи» (1803, № 12) указалъ на непрерывность развитія языка, какъ своего рода законъ, на то, что языкъ Ломоносова уже устарѣлъ, что движеніе просвѣщенія, появленіе новыхъ предметовъ и понятій влечетъ за собою и движеніе языка. Онъ призналъ, что, дѣйствительно, есть писатели, которые употребляютъ иностранныя слова безъ разсудка и вкуса, но развѣ виноватъ талантъ, если у него оказываются бездарные подражатели. Исходная мысль критика — писать какъ говорятъ и говорить, какъ пишутъ. Каченовскій, впоследствии профессоръ Московскаго университета, также сталъ на сторону реформы нашего литературнаго языка, законной и разумной, по крайней мѣрѣ, у лучшихъ писателей и переводчиковъ («Сѣверный Вѣстникъ» 1804 г., № 1). Шишковъ, въ отвѣтъ своимъ критикамъ, выпустилъ «Прибавленіе къ сочиненію называемому «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ Россійскаго языка» или собраніе критикъ, изданныхъ на сію книгу, съ примѣчаніями на оную» (1804), въ которомъ повторилъ свои прежнія положенія, еще болѣе настаивая на тождествѣ русскаго и славянскаго языковъ и необходимости для перваго пользоваться богатствомъ славянскаго языка. Такъ какъ споръ не прекращался, а «обвиняемые» еще перешли въ наступленіе, указывая ошибки самого Шишкова противъ славянорусскаго языка и отыскивая «галлицизмы» въ его собственныхъ статьяхъ, Шишковъ издалъ еще «Разсужденіе о краснорѣчїи священнаго писанія и о томъ, въ чемъ состоитъ богатство, обиліе, красота и сила Россійскаго языка, и какими средствами оный еще болѣе распространить, обогатить и усовершенствовать можно» (1810), «Раз-

говору о словесности между двумя лицами: Азъ и Буки» (1811) и «Прибавленіе къ разговорамъ» (1812). Всѣ разсужденія Шишкова не могли выдержать критики, прежде всего потому, что они противорѣчили даннымъ сравнительнаго языковѣдѣнія («Разсужденіе о славянскомъ языкѣ» Востокова уже закончило въ 1820 году споръ съ лингвистической точки зрѣнія, и, конечно, не въ пользу Шишкова), затѣмъ, отличаются искусственностью, ибо «слова не изобрѣтаются академіями: они рождаются вмѣстѣ съ мыслями или въ употребленіи языка или въ произведеніи таланта, какъ счастливое вдохновеніе» (слова Карамзина), кромѣ того, разсужденія Шишкова основываются не на произведеніяхъ самого Карамзина или лучшихъ изъ его послѣдователей, а на худшихъ представителяхъ реформы, на «писакахъ», которые всегда и вездѣ утрировали самыя прекрасныя начинанія; наконецъ, собственный примѣръ Шишкова и его послѣдователей мало говорилъ непосредственному чувству. Но стороны не сдавались. Рѣшено было «сомкнуть ряды». Въ распоряженіи Шишкова была Россійская академія. Этого оказалось мало. По иниціативѣ Шишкова и Державина, была учреждена и Высочайше утверждена 17 Февраля 1811 года «Бесѣда любителей русскаго слова». Въ числѣ членовъ ея числились, кромѣ учредителей, графъ Хвостовъ, кн. Ширинскій - Шихматовъ, князь Голенищевъ - Кутузовъ, кн. Горчаковъ, Бобровъ, Шатровъ и др. Засѣданія происходили по уставу, ежемѣсячно и были публичны. «Бесѣда» имѣла свой органъ: «Чтеніе въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова», но издавала и отдѣльно переводы и компіляціи старыхъ авторитетовъ ложноклассицизма. Благодаря ошибочности принципа борьбы съ новымъ, отсутствію настоящихъ талантовъ среди дѣятельныхъ членовъ (Державинъ былъ уже старъ), «Бесѣда» успѣха не имѣла и послужила мишенью для всяческихъ остротъ литературной молодежи другого лагеря. По иниціативѣ Дашкова и Блудова, писавшихъ въ свое время возраженія на разсужденія Шишкова, было, въ противовѣсъ «Бесѣдѣ», учреждено тоже литературное общество «Арзамасъ» (1815), пародировавшее уставъ и занятія «Бесѣды». Члены общества, «Арзамасскіе гуси», церемонно принимались съ «символическими» обрядами, получали имя изъ балладъ Жуковского (онъ самъ былъ Свѣтлана,

а А. С. Пушкинъ—сверчокъ), въ вступительной рѣчи должны были «похоронить» кого-нибудь изъ членовъ Россійской академіи или «Бесѣды». Велись протоколы комическаго характера. Душою веселыхъ засѣданій «Арзамаса» былъ Жуковскій. Въ это время онъ тоже былъ задѣтъ противной стороной. Кн. Шаховскій написалъ комедію: «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды» (1815), въ которой вывелъ въ комическомъ видѣ Жуковскаго, подъ именемъ Фіалкина, проливающаго въ стихахъ «слезу горячую въ грудь друга своего», а въ балладахъ его онъ подмѣтилъ:

И полночь, и пѣтухъ, и звонъ костей въ гробахъ,
И чу..... все страшно въ нихъ; но милымъ все пріятно,
Все восхитительно — хотя невѣроятно.

Жуковскій, какъ раньше Карамзинъ, лично не возражалъ. Борьба стараго и новаго—обычное литературное явленіе не у однихъ у насъ. Зато заостряли свое перо «арзамасцы» противъ «славянофиловъ», «педантовъ», обитателей «дома сумаспешшихъ» и т. п. Была, впрочемъ, въ собраніяхъ «Арзамаса» и положительная сторона—объединеніе литераторовъ «новаго» направленія, критическое отношеніе къ явленіямъ литературы, выясненіе принциповъ искусства, побужденіе къ творчеству. Зячитники «старины», прежде всего Шишковъ, сдѣлали попытку расширить рамки спора и перевести его на вопросъ о нашемъ національномъ развитіи вообще и объ отношеніи къ западу. Такимъ образомъ, этотъ споръ явился уже отраженіемъ общественнаго движенія начала XIX вѣка. Но обвиненія въ безнравственности, стремленіи ослабить власть религіи, внушить неуваженіе къ родному, обращенныя къ такимъ лицамъ, какъ Карамзинъ, Жуковскій, очевидно не имѣли смысла. Опасеніе В. Пушкина за «европейскую цивилизацію», противъ которой идутъ «старовѣры», тоже были напрасны. Карамзинъ, съ достоинствомъ, заявилъ въ торжественномъ засѣданіи академіи 5 декабря 1818 года, что «жалобы на то, что Петръ В. сдѣлалъ насъ подобными другимъ европейцамъ, бесполезны. Связь между умами древнихъ и новѣйшихъ россіянъ прервалась навѣки». Этотъ годъ былъ вообще формальнымъ концомъ спора. Не было уже «Бесѣды» (1816), прекратилъ свое существованіе «Арзамасъ» (1818). Карамзинъ

своей «Исторіей Государства Россійскаго» успокоилъ россійскую академію и за «новый слогъ» и за патріотизмъ.

Но, какъ часто бываетъ, борьба крайнихъ направленій: стараго ложноклассицизма и новаго сентиментализма—вызвала къ жизни среднюю позицію. Ее занялъ тоже литературный кружокъ эпохи Александра I, собиравшійся въ домѣ А. Н. Оленина, президента Академіи Художествъ, страстнаго любителя искусствъ и литературы. Къ числу постоянныхъ посѣтителей гостепріимнаго дома принадлежали Батюшковъ, Гнѣдичъ, Озеровъ, Крыловъ, Муравьевъ-Апостолъ, гр. Уваровъ и др. Эта группа «оленистовъ» можетъ быть названа «средней», потому что она, съ одной стороны, отстаивала начала классицизма въ литературѣ и въ нашемъ національномъ воспитаніи, но не классицизма французскаго («псевдоклассицизма»), а чистаго—греческаго и римскаго: она старалась постигнуть идеалы древней жизни, понять ея основное міросозерцаніе и правдиво изобразить ее, соотвѣтственно исторической правдѣ; съ другой стороны, представители этой группы въ своемъ творествѣ не остались чужды тѣмъ вѣяніямъ сентиментализма и романтизма, которые внесены Карамзинымъ и Жуковскимъ. Эпоха выработки началъ народности не могла отличаться полной ясностью и стройностью мысли. «Понятія путались», какъ выразился С. Т. Аксаковъ, который далѣе признается: «брана прозу Карамзина, я былъ въ восторгѣ отъ его стиховъ». Въ теоріи отстаивая строгій классицизмъ, въ творествѣ Батюшковъ, на примѣръ, былъ подъ вліяніемъ и итальянцевъ, и нѣмцевъ, а по содержанію получилъ отъ позднѣйшаго біографа прозваніе «русскаго Рене» ¹⁾.

Поэтъ Александровской эпохи любилъ античность за ея символизмъ и идеальную красоту. Въ классической поэзіи онъ находилъ наиболѣе подходящее выраженіе для своихъ чувствъ—меланхоліи, тоски, грусти, съ одной стороны,—упоенія радостями жизни, съ другой. Это не противорѣчіе, а только двѣ стороны

¹⁾ Рене,—герой повѣсти того же названія, принадлежащей Шатобріану, знаменитому французскому писателю (1768—1848). Онъ является родовачальникомъ типа разочарованнаго романтика.

жизни: ея настоящее и будущее. И при этомъ не нарушалось основное благодушiе («гармонiя») тона.

Изъ кружка «Оленистовъ» наиболѣе даровитый Батюшковъ, заслуги котораго въ исторiи нашего поэтическаго языка стоятъ рядомъ съ заслугами Жуковскаго: онъ далъ образцы живой и искренней поэзи на языкѣ, которому учился и вначалѣ подражалъ Пушкинъ.

Представителемъ «неоклассицизма» считается у насъ и Н. И. Гнѣдичъ (1784—1833), небогатый Полтавскій помѣщикъ, круглый сирота съ дѣтства, полуслѣпой, «отъ пеленъ усыновленный суровой матею судьбой». Учился онъ въ семинаріи, потомъ въ Московскомъ университетѣ. На службу поступилъ въ публичную библіотеку и здѣсь же, подъ вліяніемъ Оленина, директора библіотеки, занялся переводомъ «Иліады», который онъ окончилъ въ 1829 году. Извѣстно двустиише Пушкина, привѣтствовавшего этотъ переводъ:

Слышу умолкнувшій звукъ божественной эллинской рѣчи,
Старца великаго тѣнь чую смущенной душою.

Переводъ близокъ къ подлиннику, гекзаметръ звученъ. образы пластичны. Но стиль все же не лишенъ «архаизмовъ» и нѣкоторой торжественной приподнятости. Кромѣ того, Гнѣдичъ прекрасно перевелъ идиллію Теократа «Сиракузянки» и рядъ новогреческихъ пѣсень. Собственныя произведенія Гнѣдича незначительны: идиллія «Рыбаки», «изъ подъ рубища которыхъ, по выраженію Бѣлинскаго, виднѣются складки греческаго хитона», и нѣсколько элегій—жалобъ на печальный жребій свой, жестокий удѣлъ томиться всю жизнь одиночествомъ...

Къ тому же кружку принадлежалъ и В. А. Озеровъ (1770—1816), имѣвшій судьбу не менѣе печальную, чѣмъ Гнѣдичъ: служилъ въ войскѣ, на гражданской службѣ, писалъ пьесы для театра, но нигдѣ не былъ «своимъ». Неудачи въ литературной дѣятельности, говорятъ, благодаря зависти кн. Шаховскаго, вліявшаго на постановку пьесъ, особенно мучили Озерова. Къ этому присоединилась несчастная безнадежная любовь. И въ результатѣ душевная болѣзнь, короткая жизнь. Озерова влекло къ древнему

классицизму, но въ его пьесахъ очень чувствительно и вліяніе новыхъ теченій въ литературѣ.

Лучшія изъ его пьесъ: 1) «Эдипъ въ Аѳинахъ», подражаніе пьесѣ французскаго писателя Дюси, преобразившаго «трагическихъ» героевъ древности въ «чувствительныхъ»—у Озерова другая лишь развязка; 2) «Фингаль»—тема изъ «пѣсенъ Оссіана», съ изображеніемъ страданій любви («уныніе, тоска, отчаяніе разлуки, и страхъ немилымъ быть, и ревности всѣ муки»), мрачной злобы и кровожадной мести; 3) «Дмитрій Донской»—«вольное» переложеніе историческихъ событій, въ которомъ зрители сумѣли найти намекъ на борьбу Александра I съ Наполеономъ. Либеральныя идеи еще болѣе подогрѣвали интересъ.

Пьесы Озерова пользовались успѣхомъ и благодаря прекраснымъ стихамъ. Исполнительницей ролей въ его пьесахъ была артистка Семенова, дѣлившая съ авторомъ, по выраженію Пушкина,

невольны дани
Народныхъ слезъ, рукоплесканій.

К. Н. Батюшковъ (1787—1855).

Біографія. Оригинальныя и переводныя произведенія. Значеніе.

Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился 18 Мая 1787 года въ Вологдѣ, близъ которой находилось родовое помѣстье его отца. Онъ рано лишился матери, которая, вскорѣ послѣ его рожденія, сошла съ ума. Отецъ (ум. 1817 г.) не занимался имъ и на десятомъ году отправилъ его въ Петербургъ. Здѣсь онъ нашелъ вторую семью въ домѣ своего двоюроднаго дяди М. Н. Муравьева. Въ частныхъ пансіонахъ (сперва Жакино, потомъ Триполи) Батюшковъ изучилъ иностранные языки (французскій, итальянскій и нѣмецкій). Дядя, одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, отличный знатокъ классическихъ языковъ и литературы, побудилъ его изучить латинскій языкъ, открывшій ему въ оригиналѣ богатый міръ римской словесности, и далъ вообще толчокъ къ его самообразованію. Одиночество, обусловленное семейными обстоятельствами, также способствовало внутреннему

сосредоточенію и созрѣванію духовныхъ способностей. Умственная и нравственная атмосфера, царившая въ домѣ Муравьева, дала направленіе и нравственному характеру Батюшкова, внушивъ ему самоуваженіе и вмѣстѣ критическое отношеніе къ явленіямъ жизни и литературы. Большое значеніе въ поэтической и частной жизни Батюшкова имѣло знакомство его съ семействомъ А. Н. Оленина и дружба съ Н. И. Гнѣдичемъ. Эти первыя вліянія опредѣлили «классическое» направленіе поэта, понимая классицизмъ прежде всего въ смыслѣ изящества формы, совершенства изложенія. Природнымъ чутьемъ и вкусомъ, воспитаннымъ на лучшихъ образцахъ, Батюшковъ почувствовалъ фальшь «псевдо-классиковъ», «славянороссовъ», и, съ другой стороны, крайности нашихъ «романтиковъ». («Къ чему переводы нѣмецкіе? Къ чему Жуковский тратитъ талантъ на такіе пустяки, какъ баллады?» — Изъ писемъ Батюшкова). Онъ занялъ среднюю позицію и держался правила: «Живи, какъ пинешь, и пиши, какъ живешь, иначе всѣ отголоски лиры твоей будутъ фальшивы». За первыми впечатлѣніями жизни Батюшкова послѣдовали довольно продолжительныя его «скитанія», наложившія свой отпечатокъ и на его поэзію. То была Наполеоновская эпоха. Увлекаемый общимъ подъемомъ патріотическаго духа, Батюшковъ вступилъ въ военную службу, принималъ участіе въ прусской кампаніи и былъ даже раненъ подъ Гейльсбергомъ (1807), участвовалъ въ шведской войнѣ (1808—1809), совершилъ «Походъ Россіи въ Европу» въ 1813 и 1814 году, въ качествѣ адъютанта при генералѣ Раевскомъ. Батюшковъ нашелъ пищу своему воображенію въ «дикой», но прелестной въ самой дикости своей природѣ Финляндіи:

Я здѣсь, на сихъ скалахъ, висящихъ надъ водою,
Въ священномъ сумракѣ дубравы,
Задумчиво брожу и вижу предъ собою
Слѣды протекшихъ лѣтъ и славы.

Пребываніе за границей — въ Германіи, Парижѣ, Лондонѣ — расширило образованіе Батюшкова. Онъ ближе познакомился съ нѣмецкой литературой, полюбилъ Шиллера. Въ Парижѣ набрался «вольнаго» духа, хотя еще раньше онъ зналъ «Путешествіе» Радищева, восхищался «гражданскими чувствами» его автора и

оплакалъ въ стихахъ смерть Пнина, одного изъ вѣрныхъ учениковъ Радищева. Въ сраженіи подъ Лейпцигомъ Батюшковъ потерялъ и своего преданнаго друга полковника Петина, воспитанника Благороднаго пансіона, идеалиста, сыгравшаго въ жизни Батюшкова большую роль. «Я ношу сей образъ въ душѣ — писалъ онъ въ «Воспоминаніи мѣсть сраженій и путешествій» — какъ залогъ священный; онъ будетъ путеводителемъ къ добру; съ нимъ неразлучный, я не стану блѣднѣть подъ ядрами, не измѣню чести, не оставляю знамени. Мы увидимся въ лучшемъ мірѣ, здѣсь мнѣ осталось одно воспоминанье о другѣ, воспоминаніе, прелестный цвѣтъ посреди пустыней могилъ и развалинъ жизни». Этому «милому брату» и лучшему изъ друзей посвящена Батюшковымъ трогательная элегія «Тѣнь друга». Уже въ старости, безумцемъ, Батюшковъ все рисовалъ могилу Петина. Въ промежуткахъ между кампаніями, Батюшковъ наѣзжалъ то въ Петербургъ, то въ Москву. Въ 1809 — 10 гг. онъ сблизился съ В. Л. Пушкинымъ, Жуковскимъ, кн. Вяземскимъ и принялъ участіе въ спорѣ «о новомъ слогѣ», осмѣявъ «славянороссовъ въ сатирѣ - памфлетѣ: «Видѣніе на берегахъ Леты». Въ то же время онъ изучалъ итальянскихъ поэтовъ — особенно Тассо и Петрарку, читалъ «Опыты» скептика Монтэня, Вольтера и другихъ. По возвращеніи изъ послѣдняго похода, онъ испыталъ тяжелое чувство разочарованія въ тѣхъ надеждахъ, которыя онъ питалъ, будучи за границею, и съ личной точки зрѣнія, не получивъ тѣхъ отличій по службѣ, какихъ ожидалъ, — и съ общественной. Еще въ домѣ Муравьева и Оленина, Батюшковъ, вмѣстѣ съ классицизмомъ впиталъ въ себя и патріотизмъ, стремленіе къ самобытному, свободному развитію. Теперь гордость своимъ отечествомъ должна была потерпѣть жестокіе удары: «освобожденіе русскаго народа», котораго онъ ждалъ отъ Императора, не произошло; въ обществѣ — картина, напоминающая «Горе отъ ума», въ литературѣ — «славяне». «Ты себѣ вообразить не можешь — пишетъ онъ Вяземскому — что дѣлается въ «Бесѣдѣ». Я при первомъ удобномъ случаѣ выведу на живую воду славянъ, которые бредятъ, славянъ, которые изъ зависти къ дарованію позволяютъ себѣ все, славянъ, которые, оградясь щитомъ любви къ отечеству, оградясь невѣжествомъ, безстыдствомъ, упрямствомъ, гонятъ Озерова, Ка-

рамзина, гонять здравый смысл и — что всего непростительнѣй — заставляютъ насъ зѣвать въ своей «Бесѣдѣ» отъ 8 до 2 часовъ вечера». Въ отчаяніи онъ пишетъ Гнѣдичу: «Я вижу бесполезность моего дарованія для общества и для себя. Дай мнѣ совѣтъ, научи меня, наставь меня, скажи мнѣ, какъ могу быть полезенъ обществу, себѣ, друзьямъ». Батюшковъ вступилъ въ то время въ «Арзамасъ», подъ кличкой «Ахилла» (Ахъ, хилъ), осмѣялъ «шишковистовъ» въ пародіи «Пѣвецъ въ бесѣдѣ славянороссовъ», но удовлетвориться этимъ обществомъ, конечно, не могъ, какъ и нѣкоторые другіе его члены (Напримѣръ, М. Ф. Орловъ ожидалъ отъ Арзамасцевъ болѣе широкой и серьезной дѣятельности, «чѣмъ сколько они обнаружили до сихъ поръ»).

Ко всему этому присоединилось еще неудовлетворенное чувство любви. У чувствительнаго поэта уже было одно сладкое воспоминаніе о «зарѣ прошедшихъ дней и съ прежними бѣдами, съ любовью и войной» — о дочери рижскаго купца Мюгеля, въ домѣ котораго онъ лѣчился отъ раны. Но теперь поэтъ былъ зрѣлѣе, и чувство, не вполне раздѣляемое, его уже мучило. Онъ полюбилъ А. Ф. Фурманъ, жившую у Олениныхъ. Она же къ нему только «не имѣла отвращенія». Благородство поэта сказалося въ томъ, что онъ, промучившись три года, предпочелъ оставить свои исканія. Въ довершеніе бѣдъ, здоровье Батюшкова все болѣе разстраивалось. Послѣ многихъ хлопотъ, онъ получилъ мѣсто секретаря при русскомъ посольствѣ въ Неаполѣ. Первые впечатлѣнія отъ Италіи, родины его любимыхъ поэтовъ, были сильныя, но здоровье не поправлялось, по службѣ были непріятности, появились приступы унынія, тяжелаго чувства одиночества. Не спасла и религія, къ которой онъ обратился еще передъ отъѣздомъ въ Италію. Онъ покидаетъ службу и ищетъ исцѣленія то въ Теплицѣ на водахъ (1821), то въ Крыму (1822), но бесполезно. Наслѣдственность недуга, душевный складъ Батюшкова, въ которомъ воображеніе брало рѣшительный перевѣсъ надъ разсудкомъ, а къ тому же и житейскія неудачи, — все это привело къ помѣшательству, сперва къ буйному, въ видѣ «маніи величія», а потомъ болѣе спокойному. Въ такомъ состояніи, почти безъ просвѣтленія, онъ провелъ болѣе 33 лѣтъ, почти половину своей жизни, до 7 іюля 1855, года смерти, въ Вологдѣ. «Онъ въ

міръ внутреннемъ ночныхъ видѣній жилъ взаперти, какъ узникъ средь тюрьмы, и былъ онъ мертвъ для внѣшнихъ впечатлѣній, и Божій міръ ему былъ царствомъ тьмы» (кн. Вяземскій).

Въ статьѣ «Поэтъ» Батюшковъ, какъ бы продолжая традицію Карамзина и Жуковского, ставитъ поэзію въ связь съ жизнью поэта («Поэзія требуетъ всего человѣка... Первое правило для стихотворца: живи, какъ пишешь, и пиши, какъ живешь! Иначе всѣ отголоски твоей лиры будутъ фальшивы»), а отъ жизни требуетъ идеальныхъ стремленій. Въ отношеніи къ людямъ онъ зналъ и «благодарность—память сердца» и уваженіе къ нравственной независимости (особенно характерно это въ его отношеніи къ любимой дѣвушкѣ); въ людяхъ цѣнилъ не одинъ умъ, но и доброе сердце: «Что за умъ безъ сердца? Прекрасный садъ, исполненный цвѣтовъ, но не согрѣтый, не освѣщенный лучами животворнаго солнца»; онъ хотѣлъ служить истинной «добродѣтели», не основанной исключительно на любви къ себѣ самому; онъ искренне жаловался на пустоту и пошлость тогдашняго общества и литературы; и его «эпикурейство» (какъ и Монтэня, которымъ онъ увлекался) уживалось съ великимъ «сомнѣніемъ», которое перешло потомъ въ религіозность, чуть не мистицизмъ. И въ творчествѣ своемъ онъ также былъ самимъ собой, отразивъ свою личность во всѣхъ стадіяхъ ея развитія, «исторію его страстей, ума и сердца заблужденія, заботы, суеты, печали прежнихъ дней и легкокрылы наслажденія,—какъ въ жизни падалъ, какъ вставалъ, какъ вовсе умиралъ для свѣта» (его собственныя слова). «Я могу—говорилъ онъ—ошибаться, ошибаюсь, но не лгу ни себѣ, ни людямъ. Ни за кѣмъ не брожу; иду своимъ путемъ». И онъ имѣлъ право это сказать, потому что, находясь подъ вліяніемъ иностранныхъ и русскихъ образцовъ, остался вѣренъ своему чувству.

Одаренный большимъ художественнымъ чувствомъ, поэтъ по природѣ, сосредоточенный, по преимуществу, въ своемъ внутреннемъ мірѣ, Батюшковъ былъ чистымъ лирикомъ. Его критическія статьи, его проза даютъ хорошіе образцы стиля, но ничѣмъ не замѣчательны по содержанію.

Сила Батюшкова въ томъ родѣ поэзіи, который, по примѣру французовъ, у насъ получилъ названіе «легкой поэзіи» и который самъ Батюшковъ въ «Рѣчи о вліяніи легкой поэзіи на языкъ» опредѣляетъ такъ: «Въ легкомъ родѣ поэзіи читатель требуетъ возможнаго совершенства, чистоты выраженія, стройности въ слогѣ, гибкости, плавности; онъ требуетъ истины въ чувствахъ и сохраненія строжайшаго приличія во всѣхъ отношеніяхъ; онъ тотчасъ дѣлается строгимъ судьей, ибо вниманіе его ничѣмъ сильно не развлекается. Красивость въ слогѣ здѣсь нужна необходимо и ничѣмъ замѣниться не можетъ». Эта поэзія носитъ еще названіе, по имени греческаго поэта Анакреона, «анакреонтической» и особенно процвѣтала во Франціи XVIII в. (Вольтеръ, Парни). Въ основѣ здѣсь — не истина, не добро, а одна красота, эстетическое впечатлѣніе. Предметы пѣнія — любовь, юность, наслажденіе, пиры, дружба, прелести природы. Настроеніе жизнерадостное, эллински свѣтлое. И Батюшковъ, какъ «рѣзвый философъ», по выраженію Пушкина, совѣтовалъ друзьямъ

... лучше въ жизни пѣть, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость съ шутками мѣшать,
Чѣмъ, бѣгая за дымомъ славы,
Отъ скуки и заботъ звать («Совѣтъ друзьямъ»)

или въ «Веселый часъ» восклицалъ:

Скажемъ юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться,
Полной чашей радость пить.

Было тутъ и увлеченіе «Вакханкой», которая

Въ сердце льетъ огонь и ядъ...

и приглашеніе друзей въ свое скромное жилище («Мои пенаты») «поспорить и попить» и др.

Рядомъ съ мотивами Анакреона, Горация, Парни и т. п., звучитъ у Батюшкова и другой мотивъ, впервые сказавшійся въ стихотвореніи «Мечта» (1802-3): для него мечта, «душа поэтовъ и стиховъ»,

Подруга пѣжныхъ музъ,
Посланица небесъ,
Источникъ сладкихъ думъ
И сердцу милыхъ слезъ.

Рано элегія примѣшивается къ «анакреонтизму» Батюшкова, а затѣмъ и получаетъ преобладаніе, подъ вліяніемъ извѣстныхъ изъ его біографіи событій. Таковы: «Воспоминаніе», «Мой геній», «Выздоровленіе», «Разлука», «Послѣдняя весна» и др. Къ лучшимъ, по искренности и глубинѣ чувства, относятся элегіи: «Тѣнь друга» (1816) и «Умирающій Тассъ».

Элегія «Тѣнь друга» начинается картиной моря въ вечернюю пору:

Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,
Однообразный шумъ и трепеть парусовъ,
И кормчаго на палубѣ зыванье
Ко стражѣ, дремлющей подъ говоромъ валовъ...

Отъ нея естественный переходъ къ задумчивости и мечтамъ:

Какъ очарованный, у мачты я стоялъ,
И сквозь туманъ и ночи покрывало
Свѣтила сѣвера любезнаго искалъ.

Мечты уносятъ поэта въ прошлое, въ воспоминанія, и вдругъ, среди этой таинственной обстановки, является призракъ друга, «погибшаго въ роковомъ огнѣ завидной смертію подъ Плейскими струями». Поэтъ обращается къ нему съ вопросомъ: «Ты ль это?» и пр. «Но горній духъ исчезъ», взявъ съ собою и «сладостный покой» поэта:

И все душа за призракомъ летѣла,
Все гостя горняго остановить хотѣла—
Тебя, о милый братъ! О лучшій изъ друзей!

Элегія «Умирающій Тассъ» рисуетъ приготовленіе къ пышному триумфу въ честь знаменитаго пѣвца «Освобожденнаго Іерусалима»—и шумъ народныхъ волнъ, тимпановъ звукъ и громъ, необыкновенное убранство всемірной столицы—и, какъ контрастъ, поражающій воображеніе и вызывающій глубокую тоску, послѣдніе часы Тассо:

Въ кельѣ той,
Гдѣ борется съ кончиною Торквато,
Гдѣ надъ божественной страдальца головой
Духъ смерти носится крылатый.

Тассо вспоминаетъ все пережитое:

Отъ самой юности игралище людей,
Младенецъ былъ уже изгнанникъ;
Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей
Скитаяся, какъ бѣдный странникъ,
Какихъ не испыталъ превратностей судьбы?
Гдѣ мой челнокъ волнами не носился?
Гдѣ успокоился? гдѣ мой насущный хлѣбъ
Слезамъ скорби не кропился?

Эти и послѣдующія строки поэтъ какъ будто говорилъ о самомъ себѣ: утрата матери, ограниченность состоянія, столкновения съ литературными врагами, непріятности по службѣ, оскорблявшія самолюбіе поэта, неудовлетворенная любовь, вѣчное скитальчество и грустное одиночество—все пережитое Батюшковымъ, казалось, было сходно съ «свирѣпой долей» умиравшаго Торквато. Послѣднія слова Тассо дышатъ свѣтлой надеждой:

Земное гибнетъ все... и слава, и вѣнецъ...
..Но тамъ—все вѣчное, какъ вѣченъ самъ Творецъ.

Прекрасно заканчивается элегія:

День тихо догоралъ... и колокола гласъ
Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали.
Погибъ Торквато нашъ! воскликнулъ съ плачемъ Римъ.
Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли...
На утро факеловъ узрѣли мрачный дымъ
И трауромъ покрылся Капитолій.

Батюшковъ зналъ и утѣшеніе религіи:

Все даръ Его и краше всѣхъ
Даровъ—надежда лучшей жизни («Надежда»).

Но это чувство не было такимъ проникающимъ его природу, какъ у Жуковского—свѣтлымъ и жизнерадостнымъ. Чувствовался сердечный «надрывъ», разладъ, и недаромъ послѣднимъ его стихотвореніемъ считается «Изреченіе Мельхиседека», напоминающее по своему пессимизму древніе хоры греческой трагедіи.

Ты помнишь, что изрекъ,
Прощаясь съ жизнію, сѣдой Мельхиседекъ?
Рабомъ родился человѣкъ,
Рабомъ въ могилу ляжетъ,
И смерть ему едва ли скажетъ,
За чѣмъ онъ шель долиной скорбной слезъ,
Страдалъ, рыдалъ, терпѣлъ, исчезъ.

Не малое значеніе въ дѣятельности Батюшкова имѣютъ его переводы. Онъ переводилъ съ итальянскаго—изъ Петрарки, Тассо, Аріоста; съ французскаго—преимущественно Парни; съ латинскаго—элегіи Тибулла и изъ «греческой антологіи». Прелесть этихъ переводовъ, особенно изъ антологіи, объясняется тѣмъ выборомъ пьесъ, который дѣлалъ переводчикъ, согласно своему настроенію, и тѣмъ изяществомъ артистической отдѣлки, которое онъ имъ придавалъ. Батюшковъ въ своихъ стихахъ пластиченъ по преимуществу: «его стихъ не только слышимъ уху, но видимъ глазу: хочется ощущать извивы и складки его мраморной драпировки» (Бѣлинскій).

Значеніе Батюшкова, какъ и Жуковского, въ провозглашеніи принципа чистой поэзіи, свободной эстетики, полной искренности чувства, и въ выработкѣ техники стиха. Имъ недостаетъ народности, но «зато»—говоритъ Л. Н. Майковъ въ «Біографіи Батюшкова»—«непосредственное хранилище народности, русскій языкъ, является въ его рукахъ послушнымъ орудіемъ: искусство владѣть имъ никому изъ современниковъ, кромѣ Крылова, не было доступно въ такой мѣрѣ, какъ Батюшкову, и только послѣ него было доведено до высшей степени совершенства Пушкинымъ и Грибоѣдовымъ».

Съ Жуковского и Батюшкова началась новая школа поэзіи: они наканунѣ Пушкина.

Писатели реалисты.

Веходы реализма. Романъ Измайлова «Евгеній». Романы В. Т. Нарѣжнаго.

Въ Александровскую эпоху, особенно въ первый ея періодъ, въ нашей литературѣ преобладала лирика, выраженіе личнаго чувства, встревоженнаго всѣмъ ходомъ русской жизни. Жизнь кипѣла; впечатлѣнія смѣнялись быстро; художникъ переживалъ все новыя и новыя ощущенія. Некогда было наблюдать и вдумываться. Субъективность преобладала надъ объективностью. Личность писателя заслоняла въ его творествѣ самую жизнь и превращала поэзію въ «исповѣдь». Но не могло быть, конечно, времени, когда бы въ литературѣ отсутствовало отраженіе жизни. Реализма, какъ литературнаго направленія, соединяющаго идеалъ съ реальностью, еще не было. Онъ ясно намѣчается въ творествѣ Крылова и Грибоѣдова, расцвѣтаетъ—въ Пушкинѣ и Гоголѣ. Веходы его, однако, болѣе ранняго происхожденія. Какъ и въ другихъ отношеніяхъ, Александровская эпоха продолжаетъ время Екатерины II, расширяя и совершенствуя намѣченное ранѣе. Значительную роль въ сближеніи литературы съ жизнью сыграла русская сатира XVIII вѣка—въ журналахъ и комедіяхъ. Отсюда и «Путешествіе» Радищева и первые опыты реальнаго романа. Романъ былъ издавна любимымъ чтеніемъ русскаго общества, но онъ былъ по преимуществу переводный или носилъ сильно подражательный характеръ или подходилъ, какъ у сентименталистовъ, къ жизни лишь со стороны «чувствительнаго». Попытку изобразить жизнь, какъ она есть, иногда даже увлекаясь излишнимъ натурализмомъ и впадая въ грубость, представили два писателя, достойныхъ упоминанія въ исторіи литературы—Александръ Ефимовичъ Измайловъ (1779—1831) и Василій Трофимовичъ Нарѣжный (1780—1825).

Измайловъ прежде всего былъ популяренъ, какъ баснописецъ: въ теченіе 1814—1826 годовъ вышло пять изданій его

басенъ; онъ редактировалъ журналъ «Благонамѣренный» (1818—1826); для насъ же онъ интереснѣе всего, какъ авторъ романа: «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества». (1799—1801).

По своему образованію и развитію, Измайловъ былъ средній челоѣкъ: истины, имъ изрекаемыя, не оригинальны и не глубоки; онъ самъ признавался: «бѣда и стыдъ съ моимъ нетворческимъ умомъ. Я въ вымыслахъ совсѣмъ удачи не имѣю»; художественнаго такта, какой-нибудь тонкости изображенія еще менѣе можно найти у Измайлова. Но нѣкоторыя стороны русской жизни онъ умѣлъ схватить и передать языкомъ грубоватымъ, но естественнымъ. Жанръ его басенъ хорошо характеризуется одной строфой Воейкова:

Я писатель не для дамъ.
Мой предметъ — носы съ прыщами;
Ходимъ съ музою въ трактиръ
Водку пить, ѣсть лукъ съ сельдями;
Міръ квартальныхъ — вотъ мой міръ.

Романъ Измайлова, напоминая, по формѣ и по тону, журнальную сатиру XVIII вѣка, зарисовываетъ цѣлый рядъ типовъ тогдашней Россіи, переноса читателя изъ одного мѣста въ другое, изъ одной среды въ другую. Герой романа—Евгеній Негодаевъ, сынъ бывшаго подьячаго, нажившагося на лихоимствѣ и теперь промышляющаго ссудными операціями, и матери дворянки, не имѣвшей образованія, но «имѣвшей не малыя свѣдѣнія въ искусствѣ нарядовъ и злословія и старавшейся жить на знатной ногѣ». Онъ воспитывается «по дворянски». Еще до крестинъ его записываютъ въ гвардію; приставляютъ къ нему кормилицу, «изъ всѣхъ крестьянокъ самую толстую и самую глупую», и штатъ нянюшекъ и мамушекъ: инья его одѣвали, инья раздѣвали; однѣ рассказывали ему любопытныя повѣсти о чертяхъ и прекрасныхъ царевнахъ; другія забавляли его разными играми, тѣ крали у него конфеты, тѣ игрушки; въ свое время нанимаютъ французскаго гувернера изъ бѣглыхъ солдатъ, съ уголовнымъ прошлымъ; потомъ онъ проходитъ нѣмецкій пансіонъ Эзельмана

«безпрестанно занимавшагося куреніемъ табаку и своими выгодами»; Евгенийъ поступаетъ въ Московскій университетъ, но вскорѣ, наскучивъ науками, оставляетъ его, усвоивъ, впрочемъ, отъ одного изъ товарищей — «вольтерьянцевъ» Развратина своеобразный взглядъ на жизнь: «онъ не наблюдалъ ни естественнаго закона, ни христіанскаго, вытвердивъ противъ послѣдняго нѣсколько возраженій, которыхъ никогда не изслѣдовалъ». Картежная игра, кутежи, ухаживанья составляютъ главное содержаніе этой жизни. Послѣ долгихъ скитаній Евгенийъ разоряется, попадаетъ въ тюрьму и умираетъ тамъ. Описанія грубаго и темнаго быта среднихъ классовъ общества отличаются реализмомъ и проникнуты юморомъ.

Болѣе значительна въ исторіи нашего реализма дѣятельность Нарѣжнаго. Это типичный литературный неудачникъ, почти безъ біографіи, внѣ господствовавшихъ литературныхъ теченій, и не достаточно талантливый, чтобы создать «свою» школу, но чутьемъ угадавшій, какимъ путемъ нужно идти къ правдѣ жизни, и, дѣйствительно, приблизившійся къ ней, черезъ аллегорію, сказку, несмотря на обветшавшія рамки стариннаго «романа приключеній».

Мы знаемъ годъ рожденія и смерти Нарѣжнаго (1780—1825), но гдѣ его могила, неизвѣстно; происходилъ онъ изъ мелкой польской, потомъ омалоруссившейся шляхты; жилъ до 11 лѣтъ дома въ Миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи (можетъ быть, въ это время побывалъ въ бурсѣ); учился въ Москвѣ — сперва въ гимназіи, а потомъ студентомъ, служилъ чиновникомъ, занимался литературой. И это все, несмотря на то, что Бѣлинскій называлъ его «родоначальникомъ русскихъ романистовъ», а Гончаровъ — «послѣдователемъ Фонвизина и предтечей Гоголя».

Изъ произведеній Нарѣжнаго (мы еще не имѣемъ и полнаго собранія ихъ) «въ реальномъ духѣ» заслуживаютъ упоминанія: «Россійскій Жилблязъ, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», въ шести частяхъ, изъ которыхъ первыя три напечатаны въ 1814 году, а послѣднія три, «за безнравственное» описаніе отечественныхъ нравовъ, не допущены цензурой и остались въ рукописи; «Аристіонъ, или перевоспи-

таніе» (1822); «Бурсакъ» (1824) и «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» (1825).

Россійскій Жилблазъ—подражаніе роману французскаго писателя Лесажа («Histoire de Gil Blas»), очень популярному у насъ въ XVIII вѣкѣ (8 изданій). «Я вывелъ на показъ русскимъ людямъ — пишетъ Нарѣжный въ предисловіи — русскаго же чело-вѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца». Несмотря на самостоятельность задачи, въ формѣ ея выполненія Нарѣжный находился еще въ большой зависимости отъ Лесажа: тѣ же «выдумки» похитрѣ и запутаннѣ, то же развитіе романа при помощи различныхъ приключеній. Только у Нарѣжнаго переходъ менѣе объяснимъ, продѣлки почти всегда несообразныя. Зато «нравы» описаны мѣстами мастерски: видно, что у автора есть и наблюдательность и юморъ. Есть у него и отзывчивость сердца на страданія угнетенныхъ.

Какъ на предметъ особаго вниманія, Нарѣжный указываетъ въ предисловіи: «Да не прогнѣваются на меня изступленные любители метафизики, славянскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго, что я не всегда съ должною почтительностью объ нихъ отзывался». Подъ метафизикой Нарѣжный, вѣроятно, разумѣлъ схоластику нашего преподаванія въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, масонство и мистику Александровской эпохи. Съ сатирической солью изобразилъ авторъ всѣ обряды масонства—принятіе въ ложу, собранія, рѣчи, пѣсни и «веселые ужины». Подъ «славянами» онъ разумѣлъ сторонниковъ Шишкова, «старовѣровъ», отстаивавшихъ церковно-славянскій языкъ (въ романѣ приведены ихъ рѣчи «по-славянски») и нападавшихъ на новое просвѣщеніе («погибло все изящное на земли и нравы развратилися»). «Нѣмцеманія» обозначаетъ у Нарѣжнаго вообще страсть къ иностранному, за которую достаточно доставалось русскому обществу отъ сатириковъ. «Я узналъ—говоритъ Россійскій Жилблазъ—что многіе изъ сихъ спесивыхъ безумцевъ (нѣмцевъ), не находя на родинѣ куска хлѣба, приходятъ въ Россію, нерѣдко съ котомкой за плечми и въ лохмотьяхъ, и скоро съ помощію такихъ же выходцевъ, какъ и они, подлостью, ласкательствами и всѣми низкими средствами, достаютъ себѣ выгодныя мѣста, и

послѣ съ гордостью и безстыдствомъ презирають и тѣснятъ природныхъ русскихъ. Тогда узналъ я, что мы въ гражданской образованности еще весьма далеки отъ другихъ націй, потому что такихъ примѣровъ нигдѣ не найдешь, кромѣ какъ у насъ». Въ своемъ романѣ Нарѣжный не забываетъ и нашего крѣпостного быта: «Господа Головорѣзовы собирають слугъ и велятъ имъ бить другъ друга, а сами не могутъ налюбоваться, видя кровь, текущую изъ зубовъ и носовъ, и волосы летящіе клоками»; «Господинъ Куроумовъ, откупщикъ, хотѣлъ доказать, что онъ помѣщикъ, хотя и недавній, и въ домѣ его раздавались стоны» и пр. Есть у Нарѣжнаго и картины нашего стараго суда-«расправы». Характерна одна фигура, напоминающая «значительное лицо» «Шинели»,—это графъ Дубининъ, который смотритъ на мелкаго канцеляриста «тѣмъ величавымъ видомъ, который говоритъ: ты—червь; ползай въ прахъ и считай себя счастливымъ, что я изъ презрѣнія не хочу раздавить тебя». Въ четвертой части еще была эпизодическая повѣсть «Заморскій принцъ», изображавшая провинціальныхъ администраторовъ и мѣстами похожая на «Ревизора».

Въ повѣсти «Аристіонъ» поставленъ вопросъ о воспитаніи въ дворянской средѣ въ крѣпостное время. Сюжетъ перевоспитанія блуднаго сына, развращеннаго долговременнымъ пребываніемъ въ столицѣ, посредствомъ «благочестиваго обмана», очень далекъ отъ правды. Но здѣсь важна картина крѣпостного быта и галлерей помѣщичьихъ типовъ, которые потомъ превратились въ «Гоголевскіе типы». Напримѣръ, малорусскій пантъ-скаредъ, иронически прозванный «бережливымъ». У него слуга ходитъ въ лохмотьяхъ, служанка босикомъ; онъ по кашлямъ наливаетъ льняное масло въ яшную кашницу; въ болѣзни онъ не рѣшается ѣсть похлебку съ курицей и печенье яблоки, не платитъ доктору за визиты и лѣкарства и даже продаетъ зайца, подареннаго ему гостемъ. Онъ заманиваетъ крестьянскихъ коровъ, овецъ, куръ и гусей на свой кормъ, а потомъ сгоняетъ ихъ къ себѣ на дворъ, какъ вознагражденіе за потраву и т. д. Чѣмъ не Плюшкинъ! Положеніе крестьянъ очень сходно съ описаніемъ Радищева: то же терзаніе себѣ подобныхъ всякаго рода поборами (на угощеніе недостойныхъ пріятелей, на карты, вино и пр.),

жестокостями («стегали бѣдныхъ крестьянъ и крестьянокъ по чему ни попало») и всякаго рода угнетеніемъ. Тонъ автора временами негодующій: «дворянинъ безъ образованія... есть гнусный вередъ, заражающій все общественное тѣло, есть ядовитое животное, оскверняющее все, къ чему не прикоснется».

«Бытъ» является самой цѣнной стороной и въ романѣ «Бурсакъ». Здѣсь Нарѣжный далъ подробное описаніе внѣшняго вида бурсы, всего уклада бурсацкой организаціи, нравовъ и обученія; а затѣмъ и изображеніе казацкой жизни, причемъ Сѣчь представлена далеко не привлекательными чертами, какъ «чудовищная столица свободы, равенства и безчинія всякаго рода».

Много общихъ съ «Бурсакомъ» деталей мы находимъ потомъ въ «Віи» и «Тарасѣ Бульбѣ».

Еще болѣе сходства въ замыслѣ и нѣкоторыхъ подробностяхъ между романомъ Нарѣжнаго: «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» и повѣстью Гоголя «О томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ».

Пожилые солидные отцы взрослыхъ сыновей, Иванъ старшій (Зубарь) и Иванъ младшій (Хмара), ведутъ ожесточенную тяжбу съ пожилымъ отцомъ взрослыхъ дочерей Харитономъ Занозою изъ-за полдюжины кроликовъ, застрѣленныхъ послѣднимъ, и нѣсколькихъ десятковъ голубей, убитыхъ первыми. Добрая половина романа состоитъ въ «пакостяхъ», которыми «отплачиваютъ» другъ другу враги. «Въ теченіи тяжбы погублены: цѣлое стадо гусей, утокъ, множество свиней, овецъ, козъ и барановъ; зато и у Харитона убыло: три пары рабочихъ воловъ, двѣ лошади и нѣсколько коровъ съ телятками. Но это мелочи. Харитонъ сожегъ у меня гумно, а мы выжгли у него цѣлое поле съ созрѣвшимъ хлѣбомъ; онъ подкопалъ у насъ водяную мельницу, а мы сожгли у него двѣ вѣтряныхъ. Но кто исчислить всѣ убытки, кои одна сторона другой причинила». Не менѣе, чѣмъ тяжущіеся «хохлы» (чисто національная черта объясняется условіями исторической жизни Малороссіи), далъ пицци сатирѣ Нарѣжнаго судъ, съ своеобразными типами писцовъ, стряпчихъ, судей, съ забавными опредѣленіями разныхъ инстанцій и т. п. Содержаніе романа осложнено романическою любовью двухъ сыновей обоихъ Ивановъ къ двумъ дочерямъ Занозы. Конечъ благополучный: герои полу-

чили хорошій урокъ «не тягаться», помирились, а дѣти ихъ поженились. Но эта сторона романовъ Нарѣжнаго—интрига и нравовъ—самая слабая, давно устарѣвшая. Его сила—въ сатиру на разнообразныя явленія русской жизни и въ проникающемъ это изображеніе юморѣ, то мягкомъ, добродушномъ, то съ примѣсю большой горечи.

И. А. Крыловъ (1768—1844).

Біографіи. Журналы. Комедіи. Басни. Значеніе.

Иванъ Андреевичъ Крыловъ родился въ 1768 году въ Москвѣ въ небогатой и малокультурной семьѣ армейскаго офицера, впослѣдствіи перешедшаго на службу въ Тверской губернской магистратъ. Начатки грамоты получилъ онъ, вѣроятно, отъ отца; кое-чему подучился въ домѣ предсѣдателя Тверской уголовной палаты Лѣвова; почитывалъ и самъ, что было подъ руками. Первой его школой была сама жизнь. И не по заказу онъ былъ «русскимъ», а по всему складу своей жизни и характера, мало податливаго чужимъ вліяніямъ и очень воспріимчиваго ко всему, что отвѣчаетъ натурѣ. Сперва съ отцомъ, а послѣ его смерти (1780), съ матерью кочуетъ онъ по разнымъ городамъ—Оренбургъ, Тверь, Калязинъ; съ двѣнадцати лѣтъ начинаетъ «служить» въ канцеляріяхъ, дослужившись уже въ Петербургъ до 2 рублей въ мѣсяцъ жалованья; «развлекается» съ простымъ народомъ на гуляньяхъ, ярмаркахъ и т. п. По свидѣтельству одного лично его знавшаго человѣка «онъ съ особеннымъ удовольствіемъ посѣщалъ народныя сборища, торговыя площади, качели и кулачныя бои, гдѣ толкался между пестрою толпою. Нерѣдко сиживалъ онъ по цѣлымъ часамъ на берегу Волги, противъ плотомоекъ, и затѣмъ рассказывалъ товарищамъ забавныя анекдоты и поговорки, которые уловилъ изъ устъ словоохотливыхъ прачекъ, сходящихся на рѣку съ разныхъ концовъ города, изъ дома богатаго и бѣднаго». Было гдѣ послушаться настоящей русской рѣчи, поучиться «народной» мудрости, понаблюдать, какъ живетъ въ «низахъ» жизни. Вторая школа началась въ Петербургѣ, куда

онъ переселился съ матерью въ 1782 году. Въ подражаніе прочитаннымъ пьесамъ, ему захотѣлось самому сочинить «оперу»: еще въ Твери онъ пишетъ комедію съ куплетами для пѣнія «Кофейниці», естественно, весьма нелѣпую, но не лишенную бытовыхъ чертъ нашего крѣпостничества (жестокая и своенравная помѣщица, ея любимецъ приказчикъ и др.; въ нѣкоторыхъ деталяхъ этой комедіи есть совпаденія съ статьей въ «Живописцѣ» Новикова о кофегадательницахъ). Это произведеніе въ рукописи онъ продаетъ Петербургскому книгопродавцу и запасается настоящимъ «ключомъ» къ творчеству—сочиненіями Расина, Мольера, Буало. Въ немъ оказывается достаточно предпримчивости, чтобы свести личное знакомство съ извѣстнымъ драматургомъ Княжнинымъ и съ прославленнымъ артистомъ Дмитревскимъ. Крыловъ попадаетъ въ полосу увлеченія ложноклассическими трагедіями, театромъ вообще. Разгорается литературное честолюбіе. Онъ пишетъ трагедіи («Клеопатра», «Филомела»), комедіи («Бѣшенная семья», «Проказники», «Сочинитель въ прихожей»), но безъ успѣха: пьесы слабы по развитію дѣйствія; въ психологическомъ отношеніи мѣстами сильно утрированы; комизмъ чисто внѣшній, порою пошлый. Крыловъ берется за изданіе журналовъ. По образцу журнала Эмина «Адская почта, или переписка хромоногаго бѣса съ кривымъ», онъ издаетъ въ 1789 году «Почту духовъ», гдѣ, по предположенію, сотрудничалъ и Радищевъ; въ 1792 году, совмѣстно съ Клушинымъ, издаетъ «Зритель», а въ слѣдующемъ году—«Петербургскій Меркурій». Этотъ журналъ уже не Новиковскаго типа, бывшаго въ концѣ вѣка не ко времени, а Карамзинскаго, въ родѣ «Московского журнала». Но и онъ былъ недолговѣченъ. Въ жизни Крылова наступаетъ новый періодъ, который историки литературы называютъ «смутнымъ»: «Я скорбѣлъ и не разъ плакалъ, какъ дитя»,—пишетъ онъ своему другу, вспоминая невольное прекращеніе литературной дѣятельности. Въ душѣ его происходитъ какой-то «надрывъ». Изъ увлекающагося, часто даже несдержаннаго въ своей мести и насмѣшкѣ, почти «вольтерьянца», онъ превращается въ человѣка «себѣ на умѣ», умѣющаго приноровиться къ людямъ. Онъ живетъ у Бенкендорфовъ, Лопухина, Татищева, нѣсколько лѣтъ въ имѣніи кн. С. Ф. Голицына: даетъ уроки

его сыновьямъ, ставить спектакли и концерты и пишетъ для нихъ пьесы («Трумфъ», «Пирогъ», «Лѣнтяй»). Съ тѣмъ же Голицынымъ, по назначеніи его рижскимъ военнымъ губернаторомъ, ѣдетъ въ Ригу правителемъ канцеляріи, но занимается, кажется, больше картами. Выходитъ въ отставку, гдѣ-то еще странствуетъ и, наконецъ, уже около 40 лѣтъ отъ роду, пристаетъ къ тихой пристани въ Петербургѣ. Здѣсь онъ снова вступаетъ въ литературный кругъ, становится своимъ въ домѣ А. Н. Оленина и такимъ образомъ опредѣляетъ свою позицію, независимую ни отъ старовѣровъ, ни отъ «карамзинистовъ». Оленинъ даетъ ему темы, мѣшаетъ ему лѣниться и всячески поощряетъ къ литературной дѣятельности. Крыловъ пишетъ еще двѣ комедіи: «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ» (передѣлка Мольеровской комедіи «*Les précieuses ridicules*»), имѣвшія успѣхъ, и, благодаря воздѣйствію особенно Дмитріева, всецѣло затѣмъ отдается баснописной дѣятельности. Первое изданіе басенъ Крылова, числомъ 23, вышло въ 1809 году, до 1818 года написано 140 басенъ, послѣ этого года до конца жизни—58. Баснями Крыловъ завоевалъ славу выдающагося русскаго писателя и за нихъ получилъ цѣлый рядъ Высочайшихъ наградъ, обезпечившихъ его въ матеріальномъ отношеніи. Благодаря А. Н. Оленину, Крыловъ получилъ въ 1812 году мѣсто въ Публичной Библіотекѣ. «Началась, какъ говоритъ біографъ Крылова Плетневъ, новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 года, т. е. до выхода въ отставку, не перемѣнили онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры... Кромѣ выходовъ къ должности, очень легкой и не головоломной, кромѣ выѣздовъ къ обѣду въ англійскій клубъ (гдѣ онъ послѣ игралъ нѣкоторое время по привычкѣ въ карты, а подъ конецъ только дремалъ) и на вечеръ иногда къ Оленинымъ, Крыловъ ничего не полюбилъ какъ человѣкъ общественный и образованный, какъ писатель гениальный. Онъ продолжалъ отъ скуки сочинять иногда новыя басни, а больше читалъ самые глупые романы, особенно старинные,—читалъ не для пріобрѣтенія новыхъ идей, а чтобы убить только время». По выходѣ въ отставку въ 1841 году, онъ прожилъ еще 3 года и при жизни отпраздновалъ 50-лѣтній юбилей (1838). Послѣ смерти (1844 г.),

ему былъ поставленъ прекрасный по мысли и выполнению памятникъ въ Лѣтнемъ Саду въ Петербургѣ.

Въ грузной, нѣсколько лѣнивой и неподвижной позѣ и въ спокойно наблюдательномъ выраженіи лица памятника переданы существенныя черты характера Крылова. Отличительнымъ свойствомъ его природы былъ умъ, не тотъ глубокій и пытливый умъ, который все совершенствуется—у Крылова было очень мелкое и ограниченное образованіе: недаромъ Сперанскій называлъ его «порядочнымъ невѣждой» — но тотъ, который еще называется у насъ «здравымъ смысломъ», догадкой, опытной мудростью. Отсюда и преимущественная способность его подмѣчать недостатки людей и темныя стороны жизни, отсюда и иронія, можетъ быть, и добродушная, но уже не наивная. Но съ острымъ и проникающимъ умомъ у Крылова не соединялось сильнаго чувства: «Вездѣ умъ, вспоминають современники Крылова, нигдѣ не проглянетъ чувство... Человѣкъ этотъ никогда не зналъ ни дружбы, ни любви, никого не достаивалъ своего гнѣва, никого не ненавидѣлъ, ни о комъ не жалѣлъ, никогда не вспоминалъ о прошедшемъ, никогда не радовался ни славѣ нашего оружія, ни успѣхамъ просвѣщенія... Двѣ трети столѣтія прошелъ онъ одинъ сквозь нѣсколько поколѣній, одинаково равнодушный какъ къ отцвѣтшимъ, такъ и зрѣющимъ».

Указанныя черты характера Крылова весьма помогаютъ намъ при выясненіи литературной дѣятельности его какъ со стороны формы его произведеній, такъ и проникающей ихъ морали.

Журналы, издававшіеся Крыловымъ, относятся къ тому времени, когда сатира, и по цензурнымъ условіямъ, и въ виду появленія новаго направленія въ литературѣ, отцвѣтала, но и послѣдніе лучи бываютъ горячи—въ этихъ журналахъ было не мало «кусательнаго».

«Почта духовъ, или ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными духами» касается всевозможныхъ недостатковъ русскаго общества, служившихъ предметомъ сатиры еще съ Кантемира, но, главнымъ образомъ, нашего поверхно-

стнаго увлеченія всѣмъ иностраннымъ, распущенности высшихъ классовъ, нашихъ судебныхъ порядковъ, крючкотворства и наглости приказныхъ, и нашего крѣпостничества. Самому Крылову принадлежать статьи противъ «галломаніи» нашего дворянства; достается петиметрамъ, которые своими «чувствами, склонностями и поступками похожи на обезьянъ»; изображаются «французскіе» учителя изъ бѣжавшихъ отъ уголовныхъ преслѣдованій на родинѣ въ Россію, которые «не только морали и науки преподавать, но даже французскія книги читать не способны»; послѣдствія моды сказываются на крестьянахъ: такъ нѣкій графъ Припрыжкинъ, указывая на руку, устѣянную перстнями, говоритъ: «на этихъ пальцахъ сидитъ мое село Остатково; на ногахъ ношу я двѣ деревни, Безжитову и Грабленную; въ этихъ дорогихъ часахъ ты видишь любимое мое село Частодавано; карета моя и четверня лошадей напоминаютъ мнѣ прекрасную мою мызу Пустышку; словомъ, я не могу взглянуть ни на одинъ мой кафтанъ и ни на одну мою ливрею, которая бы не приводила мнѣ на память заложеннаго села или деревни, или нѣсколькихъ душъ проданныхъ въ рекруты дворовыхъ».

Задачею другого журнала Крылова (и Клушина) «Зритель» было «представлять пороки во всей его гнусности, дабы всякъ получилъ къ нему отвращеніе, а добродѣтель во всей красотѣ, дабы плѣнить ею читателя». Крылову здѣсь принадлежать «Канібъ», восточная повѣсть—сатира на придворные нравы (деспотизмъ, раблѣпство, лицемеріе, щегольство) и «Похвальная рѣчь въ память моему дѣдушкѣ», иронически прославляющая уѣзднаго дворянина Звениголова—человѣка совершенно невѣжественнаго, проведеннаго молодость въ столицѣ въ разнаго рода кутежахъ, карточной игрѣ, по возвращеніи въ деревню отдавагоса всецѣло охотѣ за зайцами, «сердце котораго было такъ сказать стойломъ его лошади». Этотъ дѣдушка «имѣлъ и тысячу другихъ дарованій, приличныхъ нашему брату—дворянину: онъ показалъ, какъ должно проживать въ недѣлю благородному человѣку то, что двѣ тысячи подвластныхъ ему простолюдиновъ выработаютъ въ годъ; онъ сильные подавалъ примѣры, какъ эти двѣ тысячи человѣкъ можно пересѣчь въ годъ раза два-три съ пользою; онъ имѣлъ дарованіе обѣдать въ своихъ деревняхъ

пышно и роскошно, когда казалось, что въ нихъ наблюдается величайшій постъ».

Уже въ повѣсти «Каибъ» есть выходки противъ начинавшейся моды на «чувствительность»: «Калифъ давно хотѣлъ полюбоваться золотымъ вѣкомъ, царствующимъ въ деревняхъ, давно хотѣлъ быть свидѣтелемъ нѣжности пастушковъ и пастушекъ», но встрѣтилъ на дѣлѣ «запачканное созданіе, загорѣлое отъ солнца, заматанное грязью». Въ «С.-Петербургскомъ Меркуріи», третьемъ и послѣднемъ своемъ журналѣ, Крыловъ возвращается къ этой темѣ въ статьѣ: «Похвальная рѣчь Ермалафиду (человѣку несущему ермолафію, т. е. чепуху), говоренная въ собраніи молодыхъ писателей». Рѣчь заключается въ насмѣшкахъ надъ стихотвореніями и другими сочиненіями Карамзина. Во враждѣ къ новаторству, Крыловъ сошелся съ «пишкoviстами», но къ нимъ онъ и вообще подходилъ по своему консервативному складу мыслей, конечно, не впадая въ ихъ крайности, противныя его здравому смыслу.

Предметъ осмѣянія въ лучшихъ комедіяхъ Крылова: «Модная лавка» и «Урокъ дочкамъ» та же «галломанія», но борьба съ ней пріобрѣтала теперь (комедіи относятся къ 1805—1807 г.) «патріотическій» характеръ: война съ Наполеономъ подняла національное самосознаніе въ русскомъ обществѣ, патріотами были одинаково и консерваторы и либералы (Грибоѣдовъ). «Модная лавка» губить и матеріально и морально: тамъ не только оставляютъ деньги, но и честь. «Урокъ дочкамъ», воспитаннымъ на иностранный ладъ у тетки въ Москвѣ и отданнымъ «благоразумнымъ» отцомъ подъ надзоръ няни Василисы въ деревнѣ, даетъ ловкій слуга одного офицера, выдавъ себя за французскаго маркиза. Пьеса передѣлана изъ Мольеровской, но въ духѣ нашихъ нравовъ; хороши сцены съ «русской» няней, рассказы о «модномъ свѣтѣ» въ Москвѣ.

Переходъ Крылова къ баснямъ не совсѣмъ неожиданъ. По существу своему, басня есть та же сатира, въ аллегоріяхъ и намекахъ преслѣдующая какую-нибудь правоучительную цѣль. Идеи и образы многихъ его басенъ готовы были у него уже въ періодъ изданія журналовъ: у адскихъ судей также былъ «умный секретарь», какъ у «Вельможи»; тамъ же и приговоры судей

подобно описаннымъ въ баснѣ «Вороненокъ»; «болонская собачка, которая бросается на драгунскаго рослаго капитана» («Мысли философа о модѣ») напоминаетъ басню «Слонъ и Моська» и др. Въ цѣли писателя входило, по представленію Крылова, улучшение и облагороженіе жизни, какъ и въ задачи театра—быть училищемъ правовъ, судомъ заблужденій. «Надлежало бы поставлять въ число благотворителей рода человѣческаго, говорить онъ, того, кто главнѣйшія правила добродѣтельныхъ поступковъ предлагаетъ въ короткихъ выраженіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти». Форма басни, въ этомъ отношеніи, была, конечно, удобнѣйшей. По свойству природнаго дарованія Крылова, ему болѣе пристало передать иносказательно картину изъ жизни и сдѣлать осторожный намекъ: здѣсь не требуется ни лирическаго вдохновенія, ни сильныхъ чувствъ трагика, ни тонкости психологическаго анализа комедіи; здѣсь главное—талантъ эпически спокойнаго наблюдателя, знающаго жизнь и расцѣпывающаго ее своимъ собственнымъ разсудкомъ, т. е. то, чѣмъ въ высокой степени обладалъ Крыловъ и что сказывается и въ произведеніи народной мудрости—въ пословицѣ, столь родственной баснѣ. Наконецъ, если Крылову нужны были образцы, онъ могъ ихъ найти у гениальнаго французскаго баснописца Лафонтена—и Крыловъ, дѣйствительно, ими пользовался. Въ русской литературѣ уже до Крылова пользовались прикрытіемъ басни для сатирическихъ цѣлей Сумароковъ («притчи»), Хемницеръ, Дмитріевъ, Измайловъ и др. Крыловъ былъ гений русской басни, но, вѣдь, и гении имѣютъ предшественниковъ.

Содержаніе басенъ Крылова широко и разнообразно. Къ нимъ примѣнимо то, что Лафонтенъ говорилъ про свои басни, называя ихъ пространной комедіей въ сто актовъ, разыгрываемой на сценѣ міра («Une comédie à cent actes divers, et dont la scène est l'univers»). Всѣ явленія жизни: и испоконъ вѣковъ наблюдаемыя на землѣ (общечеловѣческія), и типично русскія, и временныя преходящія (историческія)—подлежатъ суду писателя. Онъ не пропуститъ неправильнаго отношенія людей къ предметамъ, къ труду, къ богатству, къ воспитанію и образованію, между собою, между отдѣльными сословіями, къ самимъ себѣ. Но онъ, конечно, выдвинетъ нѣкоторыя темы, «больные»

вопросы русской жизни: о просвѣщеніи, о нашемъ судѣ и управленіи, объ отношеніи классовъ. Этими баснями, по преимуществу, опредѣляется степень общественнаго значенія литературной дѣятельности Крылова.

Крыловъ врагъ невѣжества, во всѣхъ его проявленіяхъ—упорнаго, самонадѣяннаго и самоувѣреннаго, иногда соединеннаго съ тщеславіемъ и родовой спесью и пр. Пѣтухъ не цѣнить жемчужнаго зерна, Мартышка бранить очки, Свинья подкапываетъ корни дуба, который ее питаль, Голикъ берется не за свое дѣло, Осель «авторитетно» судить соловья, герои Квартета весь секретъ искусства видятъ въ умѣньѣ, «какъ сѣсть», Ворона щеголяетъ въ павлиньихъ перьяхъ, Гуси требуютъ себѣ почета за то, что предки ихъ «Римъ спасли» и т. д.

Въ Россіи было невѣжество, унаслѣдованное отъ «старины», и «новое»—та полуобразованность, которая была слѣдствіемъ неразумнаго подражанія всему иностранному. Эти недостатки Крыловъ ставилъ въ связь съ нашимъ воспитаніемъ. Онъ настойчиво отцамъ и матерямъ давалъ урокъ сторониться отъ иностранцевъ («Крестьянинъ и Змѣя»), предупреждая о вредныхъ послѣдствіяхъ («Кукушка и Горлинка», «Бочка»); онъ хотѣлъ бы и обученіе царей сдѣлать болѣе національнымъ: «знать свойство своего народа и выгоды земли своей» («Воспитаніе Льва»). Онъ боялся, чтобы, стремясь къ внѣшнему блеску, мы не утратили внутренней цѣнной сущности («Червонецъ»). Въ началѣ этой басни ясно говорится:

Полезно ль просвѣщенье?

Полезно, слова нѣтъ о томъ;

Но просвѣщеніемъ зовемъ

Мы часто роскоши прельщенье,

И даже нравовъ развращенье.

Такъ надобно гораздо разбирать,

Какъ станешь грубости кору съ людей сдирать,

Чтобъ съ ней и добрыхъ свойствъ у нихъ не растерять,—

Чтобъ не ослабить духъ ихъ, не испортить нравы,

Не разлучить ихъ съ простотой,

И, давши только блескъ пустой,

Безславья не навлечъ имъ вмѣсто славы.

Но рядомъ съ «такимъ» просвѣщеніемъ у насъ, вообще съ развитіемъ учебныхъ заведеній и сношеній съ Западомъ, появлялся интересъ и къ настоящей наукѣ. Крыловъ, къ сожалѣнію, плохо учитывалъ просвѣтительныя послѣдствія знанія и въ баснѣ «Водолазы» онъ отдалъ предпочтеніе «умѣренному» стремленію къ наукѣ передъ страстнымъ и «глубокимъ»:

Хотя въ ученіи зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину
И свой погибельный конецъ,
Лишь съ разницею тою,
Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

Можетъ быть, впрочемъ, Крыловъ имѣлъ въ виду, главнымъ образомъ, французскую философію XVIII вѣка, которой, конечно, не зналъ, но которою иногда легкомысленно увлекались въ Россіи: таковъ образъ «покрытаго славою» Сочинителя, который «тонкій разливалъ въ своихъ твореніяхъ ядъ, вселялъ безвѣріе, укоренялъ развратъ, былъ, какъ Сирена, сладкогласенъ и, какъ Сирена, былъ опасенъ» («Сочинитель и разбойникъ», «Безбожники»). А, можетъ быть, и вообще нашъ авторъ отдавалъ предпочтеніе врожденной смѣтливости передъ выучкой («Ларчикъ», «Любопытный», «Огородникъ и философъ»). Характерно, что невѣжества «стариннаго» онъ почти не касался.

Наши общественные порядки—судъ и управленіе—изображены во многихъ басняхъ Крылова. Онъ подмѣтилъ несоотвѣтствіе мѣста и лица («Если голова пуста, то головѣ ума не придадутъ мѣста»; «И сталъ оселъ скотиной превеликой»; «А гдѣ пастухъ дуракъ, тамъ и собаки дуры»); недобросовѣстность правителей («На младшихъ не найдешь управы тамъ, гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ», «И вслѣдствіе того казнить овцу и мясо въ судъ отдать, а шкуру взять истцу», «Важный чинъ на плутѣ какъ звонокъ»); отсутствіе «совѣсти и закона», взяточничество, казнокрадство и всяческій произволъ.

Особенно тяжело положеніе низшихъ классовъ, безсильныхъ во всѣхъ отношеніяхъ: ихъ и тѣснятъ («Волкъ и ягненокъ») и суда-управы имъ нигдѣ не найти («Крестьяне и рѣка»), а зна-

ченіе ихъ Крыловъ понималъ какъ корень жизни: засохни онъ—и всѣ листья и само дерево пропадетъ («Листы и корни»),—но куда уже и тѣснѣе оказалась басня, по сравненію съ ранней дѣятельностью Крылова, въ изображеніи основного зла русской жизни, «крѣпостничества».

Для исцѣленія этихъ золъ Крыловъ не думалъ о «свободѣ». Въ баснѣ «Конь и всадникъ» онъ предупреждаетъ:

Какъ ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мѣра не дана,

и приводитъ иносказательный примѣръ, какъ всадникъ, разнуздавъ коня, погубилъ и себя и его. Въ баснѣ «Обезьяны», написанной въ разгаръ проектовъ Сперанскаго, также можно видѣть неодобрительное отношеніе автора къ широкимъ общественнымъ преобразованіямъ. Не вѣрилъ онъ и въ «Мірскую сходку», гдѣ заинтересованные и понимающіе дѣло часто и отсутствуютъ; не вѣрилъ и въ усиленіе виѣшняго надзора («Овцы и Собаки»). Онъ, кажется, и здѣсь требовалъ здраваго смысла прежде всего («Медвѣдь у пчелъ», «Котъ и Поваръ», «Собака») и, конечно, личной чести.

Въ своихъ «историческихъ басняхъ» Крыловъ остается тѣмъ же «русакомъ», осмѣивающимъ французовъ 12 года («Волкъ на псарнѣ», «Ворона и курица»), поклонникомъ Кутузова за его разумную осторожность («Обозъ») и зло пронизывающимъ надъ ошибкой адмирала Чичагова («и крысы хвостъ у ней отъѣли» — «Щука и котъ»).

Въ баснѣ двѣ стороны: собственно рассказъ и нравоученіе. Послѣднее иногда предпосылается баснѣ, иногда заканчивается ее, иногда отсутствуетъ вовсе, и читателю предоставляется уже самому сдѣлать выводъ изъ того, что ему рассказано подъ видомъ аллегоріи.

Трудно связать тѣ отрывочныя мысли и правила, которыя вытекаютъ изъ басенъ, въ стройное міровоззрѣніе, проникнутое единствомъ и полнотою. Крыловъ къ этому и не стремился: у него

нигдѣ не видно страсти преданнаго какой-нибудь одной идеѣ человѣка. Нельзя и тѣмъ отдѣльнымъ выводамъ, которые дѣлаются изъ басенъ, придавать значеніе идеала: баснописецъ, какъ сатирикъ, говоритъ не о должномъ, а о существующемъ, и не въ уста животнымъ влагать вдохновенныя рѣчи о назначеніи человѣка, о высшей морали, равенствѣ и проч.

Но если мораль басни Крылова не возвышается до идеала, то она и не противорѣчитъ здравому нравственному чувству. Разсказавъ намъ о фактахъ человѣческаго эгоизма, неблагодарности, глупости, лицемерія, лести, лжи, обмана, произвола и проч. баснописецъ нигдѣ не сказалъ, что порокъ есть добродѣтель; нигдѣ общечеловѣческое нравственное чувство не оскорблено.

Можно однако въ басняхъ Крылова отмѣтить, въ отношеніи къ морали ихъ, кое-что личное, принадлежащее Крылову, именно—его житейскую мудрость, склонность опѣивать вещи съ практической точки зрѣнія, предпочтеніе разумной середины. Чувствуется въ авторѣ человѣкъ спокойный, уравновѣшенный, примирившійся съ жизнью. Умѣренность и осторожность во всемъ: въ стремленіяхъ къ политической свободѣ, и къ знанію, и къ личному счастью, въ отношеніи къ людямъ, сильнымъ и слабымъ, въ своихъ дѣлахъ и рѣшеніяхъ.

Въ Крыловѣ русская литература цѣнитъ не мыслителя и моралиста, а преимущественно художника, какъ бы подготовившаго появленіе Пушкина и Гоголя.

Реально содержаніе басенъ, представляющихъ сатиру на явленія русской жизни, которыхъ писатель лично наблюдалъ.

Несмотря на немногочисленные примѣры неправильныхъ представленій обстановки и характеровъ, въ духѣ французскаго классицизма (античная мифологія, пастухи и пастушки, Зефиры), Крыловъ сумѣлъ правдиво передать и природу и разговоръ и проникнуть въ психологію дѣйствующихъ лицъ басенъ.

Въ самомъ изложеніи Крыловъ подаль примѣръ простоты и естественности, сближенія литературнаго и разговорнаго языка, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ и художникомъ.

Независимо отъ морали, самый разсказъ увлекателенъ своимъ прямымъ смысломъ, представляя изящную драму, съ ясно

вычерченными характерами, гдѣ нѣтъ ничего лишняго, ничего недоговореннаго, а все цѣльно и стройно.

А языкъ! Крыловъ владѣлъ всѣмъ богатствомъ родной рѣчи, ея своеобразныхъ выраженій и оборотовъ, ласкательныхъ, уменьшительныхъ и уничижительныхъ, ея лаконическихъ поговорокъ; онъ приумножилъ еще это богатство, пустивъ въ народный обиходъ свои поговорки («Ларчикъ просто открывался», «услужливый дуракъ опаснѣе врага», «слона-то я и не примѣтилъ», «избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей», «рыльце въ пушку», «а Васька слушаетъ да ѣстъ», «у сильнаго всегда безсильный виновать» и т. д.). Языкъ Крылова всегда соотвѣтствуетъ предмету рѣчи, какъ бы приспособляется къ нему: самымъ выборомъ словъ, длинныхъ или односложныхъ, сочетаніемъ ихъ, часто звукоподражаніемъ, аллитераціей онъ создаетъ уже настроеніе картины. Не менѣе значителенъ въ этомъ языкѣ духъ народности: эта мѣткая образность слова, обнаруживающая умъ, смѣтливость, вѣрность взгляда творца его; эта сила ироніи, глубокое чутье жизни.

Литературная заслуга Крылова въ томъ, что онъ постигъ истинную народность и сдѣлалъ ее, по выраженію Кирѣвскаго, «плѣнительной».

А. С. Грибоѣдовъ (ок. 1795—1829).

Биографія. Комедія: «Горе отъ ума».

Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ родился 4 января 1795 года (м. б., и раньше) въ Москвѣ въ достаточной дворянской семьѣ. Отъ природы онъ обладалъ богатыми способностями: тонкимъ и наблюдательнымъ умомъ, силой чувства и воображенія, волей и способностью къ усидчивому труду. Мать постаралась дать ему хорошее образованіе, подъ руководствомъ педагоговъ иностранцевъ: одного изъ нихъ, Іона, онъ очень полюбилъ, о другомъ, Петрозиліусѣ, вспоминалъ съ ироніей, какъ объ «умѣренномъ и аккуратномъ» нѣмцѣ. Домъ его родителей былъ поставленъ на «высокую ногу»: устраивались музыкальные

вечера (юный Грибоѣдовъ и его сестра прекрасно играли на фортепьяно, онъ блестяще импровизировалъ и оставилъ нѣсколько оригинальныхъ композицій), свѣтскіе балы. Выѣзжали и сами, причемъ дядя, живой оригиналь для Фамусова, и мать Грибоѣдова и его «возили на поклонъ» къ вліятельнымъ лицамъ, внушая соотвѣтствующія правила «свѣта», весьма стѣсная тѣмъ его самостоятельность. Молодымъ онъ вступилъ въ Московскій университетъ, увлекся свѣжей и бодрой атмосферой научныхъ интересовъ, товарищескихъ отношеній, занялся, подъ вліяніемъ талантливаго профессора эстетики Буле, классической литературой, особенно драмой (теорія Аристотеля, комедіи Плавта, Теренція), изучалъ также русскую исторію и политическія науки. Въ 1812 году, подъ вліяніемъ общаго воинственнаго настроенія, онъ поступилъ въ гусарскій полкъ графа Салтыкова, а по его расформированіи, въ Иркутскій гусарскій полкъ. Участвовать въ «дѣлѣ» Грибоѣдову не пришлось; онъ простоялъ въ глухихъ мѣстечкахъ Бѣлоруссіи и Литвы, заполняя досугъ довольно низкаго сорта развлеченіями (кутежи, нелѣпыя продѣлки и т. п.). Въ 1816 году онъ вышелъ въ отставку, переѣхалъ въ Петербургъ, здѣсь сблизился съ извѣстными тогда драматургами (кн. Шаховской, Хмѣльницкій, Катенинъ) и самъ сталъ пробовать свои силы—упражнялся въ стихотворствѣ, передѣлывалъ на русскіе нравы французскія комедіи. Въ тогдашней борьбѣ по поводу «новаго слога» онъ сталъ на сторону «Бесѣды любителей русскаго слова», главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ Катенина, и въ комедіи «Студентъ» осмѣялъ «арзамасцевъ». По настоянію своей тщеславной матери, мечтавшей всегда о «карьерѣ» сына, Грибоѣдовъ поступилъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ и вскорѣ былъ назначенъ секретаремъ нашего посольства въ Персію. Живя въ Тавризѣ, онъ принялся за изученіе восточныхъ языковъ (персидскій и арабскій), быта и нравовъ персовъ и успѣлъ настолько, что сдѣлался дѣйствительнымъ знатокомъ, но далеко не поклонникомъ Востока: онъ горько жаловался на двуличный и коварный характеръ персіянъ, на ихъ деспотизмъ сверху и рабство внизу, на ихъ враждебное отношеніе къ русскимъ. Себя онъ чувствовалъ одиноко: и въ горечи рѣчей Чацкаго, можетъ быть, не мало пережитаго самимъ Гри-

боѣдовымъ за это время. Подводились неутѣшительные итоги жизни въ Москвѣ, «ея праздности, роскоши, не сопряженныхъ ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему, изящному» (изъ его писемъ), росло чувство личнаго достоинства, зрѣли смѣлые замыслы гениальной комедіи, рядомъ—грандіозная природа Кавказа и полудикіе, но свободные горцы. Налицо всѣ элементы для «байронизма».

Благодаря ходатайству генерала Ермолова, знавшаго и любившаго Грибоѣдова, послѣдній былъ переведенъ въ Тифлисъ секретаремъ по иностранной части. На душѣ отлегло: онъ проводилъ мирно время въ нѣсколькихъ знакомыхъ семьяхъ, любовался красотой сибѣровыхъ хребтовъ, занимался литературой. Здѣсь были написаны два первыхъ дѣйствія «Горе отъ ума». Въ 1823 году Грибоѣдовъ ѣдетъ въ отпускъ, на время окунается въ свѣтское общество Москвы, возобновляетъ свои наблюденія и, въ деревенской тиши, въ имѣніи друга своего Бѣгичева, въ Тульской губерніи, заканчиваетъ два послѣднихъ акта своей комедіи. Въ 1824 году Грибоѣдовъ ѣдетъ въ Петербургъ хлопотать о постановкѣ «Горе отъ ума» на сценѣ. Комедія въ рукописи уже стала извѣстной и вызвала «шумъ»—восторги однихъ и негодованіе другихъ. Послѣдніе были причиной, что пьеса, несмотря на всѣ хлопоты, не была поставлена и даже не была цѣликомъ напечатана при жизни ея автора. Душевное состояніе Грибоѣдова въ это время было беспокойное: его, очевидно, ужъ утомляла суета «побрякушекъ авторскаго самолюбія»—и неудача хлопотъ «изъ дурацкихъ рукоплесканій» и «грошевыя одобренія и ничтожная славишка» среди людей, которыхъ онъ не уважалъ. «Не могу пожаловаться, писалъ онъ, отовсюду колѣнопреклоненіе и оиміамъ, но, вмѣстѣ съ этимъ, сытость отъ ихъ дурачествъ, ихъ сплетенъ, ихъ мишурныхъ талантовъ и мелкихъ ихъ душишекъ». Петербургъ оказался не лучше Москвы. Грибоѣдовъ отправился снова въ Грузію, черезъ Кіевъ и Крымъ, недовольный людьми, недовольный и собой: «замыслы безпредѣльные и ограниченныя способности». Чтобы избавить себя отъ «тоски неизвѣстной», Грибоѣдовъ принимаетъ участіе въ военныхъ экспедиціяхъ противъ чеченцевъ. Но въ 1826 году онъ былъ арестованъ и привезенъ въ Петербургъ, по подозрѣнію въ

участіи въ дѣлѣ декабристовъ, благодаря дружескимъ связямъ съ многими изъ нихъ (кн. Одоевскій, Кюхельбекеръ, Бестужевъ).

Грибоѣдовъ призналъ фактъ своего знакомства съ ними, не отрицалъ и того, что онъ не разъ велъ съ ними бесѣды на общественныя темы, но увѣрялъ, что его собственныя сужденія касались лишь «частныхъ случаевъ», напримѣръ, свободы книгопечатанія, «чтобы она не стѣснялась своеправіемъ иныхъ цензоровъ». Такимъ образомъ, ему удалось оправдаться, онъ снова вернулся на Кавказъ и принялъ участіе, въ качествѣ дипломатическаго чиновника при ген. Паскевичѣ, въ войнѣ съ Персіей 1826—27 г., оказавъ особую услугу правительству при заключеніи выгоднаго для русскихъ Туркманчайскаго договора. По окончаніи кампаніи, Грибоѣдовъ хотѣлъ «откланяться», но его послали въ Петербургъ съ извѣстіемъ о заключеніи мира, здѣсь его Императоръ щедро наградилъ и назначилъ посланникомъ въ Тегеранъ. Мечты матери сбылись: «карьера» сдѣлана. Но не въ этомъ была его цѣль жизни: «Поэзія! люблю ее безъ памяти страстно» — таково его признаніе. А дальше — сознаніе своего трагическаго положенія — зависимости отъ семейства, отъ службы, жизнь въ томъ краѣ, «гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ... Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ. Холодъ до костей проникаетъ, равнодушіе къ людямъ съ дарованіемъ... Въ обыкновенныя времена никуда не гоюсь: люди мелки, дѣла ихъ глупы, душа черствѣетъ, разсудокъ затмѣвается, и нравственность гибнетъ безъ пользы ближнему». Грибоѣдовъ задумываетъ новую трагедію: «Грузинская ночь», сохранившуюся лишь въ отрывкахъ, съ отраженіемъ бурнаго романтизма. Не хотѣлось ему ѣхать въ Персію и по другой причинѣ: зналъ онъ мстительность персовъ и ихъ коварство и будто предчувствовалъ смерть. Но пришлось ѣхать. Свѣтлымъ промежуткомъ является его короткое пребываніе въ Тифлисѣ и бракъ съ Ниной Александровной Чавчавадзе, которую, онъ зналъ и любилъ еще дѣвочкой. Въ Тегеранѣ Грибоѣдовъ продолжалъ настойчивую политику защиты русскихъ интересовъ—требовалъ освобожденія русскихъ плѣнныхъ, уплаты контрибуціи, разоблачалъ тайныя интриги персовъ. Мусульманскому духовенству не трудно было вызвать

возстаніе народной массы противъ русскаго посла; надежды на поддержку со стороны персидскаго правительства или англичанъ, которые тайно завидовали успѣхамъ русскихъ, тоже не было. И 30 января 1829 года Грибоѣдовъ со всѣми членами посольства, кромѣ случайно спасагося секретаря, былъ варварски убитъ, посольскій домъ разграбленъ. Тѣло Грибоѣдова было перевезено въ Тифлисъ и погребено, согласно его волѣ, въ гротѣ подъ алтаремъ церкви Св. Давида.

Пушкинъ въ «Путешествіи въ Арзрумъ» рассказываетъ, какъ онъ встрѣтилъ арбу изъ Тегерана, на которой было тѣло убитаго Грибоѣдова, и нѣсколько своихъ впечатлѣній о покойномъ: «Его меланхолическій характеръ, его озлобленный умъ, его добродушіе, самые слабости и пороки, неизбѣжные спутники человѣчества, все въ немъ было необыкновенно привлекательно. Рожденный съ честолюбіемъ, равнымъ его дарованіямъ, долго былъ онъ опутанъ сѣтями мелочныхъ нуждъ и неизвѣстности. Способности человѣка государственнаго оставались безъ употребленія; талантъ поэта былъ не признанъ; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась нѣкоторое время въ подозрѣніи. Нѣсколько друзей знали ему цѣну и видѣли улыбку недовѣрчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось имъ говорить о немъ, какъ о человѣкѣ необыкновенномъ».

Грибоѣдову не пришлось всецѣло отдаться литературѣ, какъ ему этого ни хотѣлось: много брала служба, къ которой онъ, какъ къ дѣлу и своему долгу, относился очень серьезно и, по общимъ отзывамъ, былъ дѣйствительно выдающимся дипломатомъ. Поэзіи онъ отдавалъ свои досуги, и оттого задуманнаго у него больше, чѣмъ выполненнаго. Онъ написалъ нѣсколько стихотвореній, отразившихъ его благородныя стремленія («по духу времени и вкусу, я ненавижу слово: рабъ»...) и тоску (отъ земли «ветшающей и тѣсной» его тянуло въ «надзвѣздной домъ»); въ драмѣ «1812 годъ», судя по плану, онъ хотѣлъ вывести крѣпостнаго человѣка, проявившаго въ битвахъ выдающуюся храбрость, но имѣвшаго дурной конецъ. Планъ «Эпилога» таковъ: «Вильна. Вся поэзія великихъ подвиговъ исчезаетъ, М* въ пренебреженіи у военачальниковъ. Отпускается во-свояси съ

отеческими наставленіями въ покорности и послушаніи. Село или развалины Москвы. Прежнія мерзости. М* возвращается подъ палку господина, который хочет сбрить ему бороду. Отчаяніе... Самоубійство». Въ замыслѣ трагедіи «Грузинская ночь» та же тема о рабствѣ: нѣкій грузинскій князь отдалъ другому князю своего раба-отрока, какъ выкупъ за коня. Мать отрока, бывшая кормилицей князя и няней его дочерей, жалобно умоляетъ вернуть ей сына, но князь отказывается:

Ужъ сынъ твой рабъ другого господина.
И нѣтъ его, онъ мой оставилъ домъ.
Онъ проданъ мной, и я былъ воленъ въ томъ.
Онъ былъ мой крѣпостной.

Тогда несчастная вступаетъ въ сношеніе съ «али» (злые духи) и съ ихъ помощью жестоко мститъ обидчику. Въ сохранившихся отрывкахъ этой трагедіи есть сильныя мѣста; чувствуется вліяніе Шекспира. Незначительны по своему характеру и содержанію переводы и передѣлки Грибоѣдова изъ легкой французской комедіи. Другіе отрывки и статьи интересны скорѣе для біографіи автора, напримѣръ: «Загородная прогулка» (1826) ярко обрисовываетъ вражду Грибоѣдова къ внѣшней образованности «поврежденнаго класса полувропейцевъ», оторвавшей его отъ родной страны, сдѣлавшей его «чужимъ между своими»: «народъ единокровный, нашъ народъ разрозненъ съ нами, и навѣки. Если бы какимъ-нибудь случаемъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно, заключилъ бы изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами». Не безъ основанія нѣкоторые видятъ въ подобныхъ сужденіяхъ черты «націонализма» Грибоѣдова, не противорѣчившаго однако, какъ и у декабристовъ, общей прогрессивности взглядовъ.

Можно, безъ преувеличенія, сказать, что отъ Грибоѣдова осталось только «Горе отъ ума», произведеніе имъ вполне выношенное и законченное. Говорятъ, что еще въ Петербургѣ онъ

едѣлалъ свои первые наброски, работалъ надъ нимъ въ Тавризѣ, первыя дѣйствія написалъ въ Тифлисѣ, закончилъ въ Тульской губерніи. Такимъ образомъ, произведеніе развивалось вмѣстѣ съ авторомъ: мѣнялся тонъ—и простая насмѣшка надъ нравами московскаго общества превращалась въ горькое разочарованіе; измѣнялся составъ дѣйствующихъ лицъ—выкинута, на примѣръ, жена Фамусова, но вставленъ Репетиловъ; мѣнялись сцены, на примѣръ, послѣдняя, между Молчалинымъ и Софьей, вставлена, когда уже авторъ поѣхалъ хлопотать о постановкѣ пьесы. Особенно тщательная работа была надъ языкомъ: Грибоѣдовъ шлифовалъ каждый стихъ, выраженіе, риѣму, отыскивая лучшее, прислушиваясь къ замѣчаніямъ тѣхъ, кому онъ читалъ свое произведеніе — и достигъ въ этомъ отношеніи замѣчательной простоты, силы и выразительности: не даромъ многія мѣста комедіи вошли въ общій оборотъ рѣчи, стали своего рода пословицами («Счастливые часовъ не наблюдаютъ», «Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло ему на свѣтѣ», «Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ», «Влеченье — родъ недуга»... и др.).

Въ содержаніе пьесы должна была войти, прежде всего, картина современнаго Грибоѣдову московскаго общества. Его недостатки давно уже были предметомъ сатиры, особенно журнальной; на примѣръ, въ «Сатирическомъ Вѣстникѣ» Стрхова (1790—1793) намѣчены почти всѣ черты «Грибоѣдовской Москвы». Но Грибоѣдовъ зналъ это общество ближе и чувствовалъ острѣе его удручающую пошлость, и потому могъ дать болѣе яркую картину.

Еще больше, съ теченіемъ времени, хотѣлъ Грибоѣдовъ въ своей комедіи представить судьбу людей, подобныхъ ему самому, въ этомъ обществѣ. Въ героѣ комедіи несомнѣнно много личнаго, тѣхъ тревогъ и страданій сердца, которыя пережиты самимъ Грибоѣдовымъ.

Изъ біографіи автора мы знаемъ о прямотѣ и смѣлости его мысли и слова, о враждѣ ко всякой неправдѣ и насилію, о сочувствіи къ низшимъ классамъ, о серьезности научныхъ интересовъ, преимущественно въ области русской исторіи, о тоскѣ (видъ мизантропіи), неизбѣжной для благородныхъ идеалистовъ среди зрѣлица пошлости и мелочности. И правъ былъ Пушкинъ

въ той части своего мнѣнія о Чацкомъ, гдѣ онъ говоритъ, что «Чацкій напился мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями самого Грибоѣдова».

Но вмѣстѣ съ тѣмъ герой былъ типическимъ лицомъ для своего времени и по своему радикализму и «національнымъ» симпатіямъ. Мы знаемъ, какъ въ царствованіе Александра I началась борьба «поколѣній», критика стараго, проповѣдь «новаго» и дѣломъ («въ деревнѣ книги сталъ читать», «чиновъ не хочетъ знать! Онъ химикъ, онъ ботаникъ»), и словомъ. Самъ авторъ, декабристы, Пушкинъ, Лермонтовъ и другіе должны были, въ своемъ родѣ, пережить трагедію героя «Горя отъ ума».

Элементарныя черты плана произведенія авторъ могъ взять у классической теоріи, съ которой онъ познакомился еще въ университетѣ, у образцовъ, которые онъ имѣлъ передъ глазами, и прежде всего у Мольера.

То вѣчное, общественное, что отмѣтилъ въ типѣ Чацкаго Гончаровъ (ст. «Милліонъ терзаній»),—борьба свѣжаго съ отжившимъ, больного съ здоровымъ; а также и печальная участь первыхъ борцовъ за новое, міровая трагедія идеализма—уже намѣчено у Мольера въ комедіи «Мизантропъ». Но Грибоѣдовъ вложилъ въ характеръ Альцеста содержаніе своего времени: такъ всегда бываетъ съ «общими» типами: они варьируются въ зависимости отъ времени и мѣста. Чацкій невозможенъ въ Елизаветинское время, когда еще не было «личности», и онъ уже иной во второй четверти XIX вѣка. Собой онъ отразилъ эпоху передовой молодежи 20-хъ годовъ, эпоху декабристовъ. Такимъ образомъ, при всемъ сходствѣ типовъ (есть у Грибоѣдова сходство съ Мольеромъ и въ нѣкоторыхъ частностяхъ), «Горе отъ ума» является все же вполне оригинальнымъ произведеніемъ.

Есть въ комедіи «псевдоклассическія» черты: все дѣйствіе происходитъ въ теченіе однѣхъ сутокъ и въ одномъ мѣстѣ, въ домѣ Фамусова; въ комедію введена, въ качествѣ дѣйствующаго лица, наперсница — субретка (горничная) Лиза; напоминаетъ старыя комедіи противоположеніе героев положительнаго и отрицательнаго типа; есть и «резонеръ»—главный герой комедіи, выражающій мысли автора. Есть въ комедіи и черты водевилья съ его непослѣдовательностью, дѣйствіями и словами ради

смѣха. Но эта форма не стѣсняла автора въ выраженіи основной сути замысла, богатаго, идейнаго и поэтическаго содержанія комедіи и, во всякомъ случаѣ, «классицизмъ» Грибоѣдова, съ его трезвостью, меньше повредилъ ему, чѣмъ если бы онъ увлекся сентиментализмомъ или романтизмомъ, которые уже отразились бы на самомъ содержаніи, внесе въ него нѣкоторый элементъ жизненнаго неправдоподобія.

Эстетика Грибоѣдова выражена имъ кратко и рельефно: «я, какъ живу, такъ и пишу: свободно и свободно» — эстетика художниковъ реалистовъ. Отзывъ «классика» Катенина: «Дарованія болѣе, нежели искусства» Грибоѣдовъ считалъ самой лестной для себя похвалою.

Въ центрѣ комедіи стоитъ личность Чацкаго, опредѣляя собою главную мысль ея. Это либераль Александровской эпохи, лучший ея представитель. За нимъ, «въ деревнѣ», двоюродный братъ Скалозуба, который «крѣпко набрался какихъ-то новыхъ правилъ»; племянникъ княгини Тугоуховской «князь Федоръ», занявшійся науками; и, вѣроятно, многіе другіе. Чацкій, дѣйствительно, уже личность, продуктъ новой русской исторіи, обнаружившійся къ концу царствованія Екатерины II и къ началу Александровской эпохи. У него есть нравственный идеалъ и собственные убѣжденія, выработанныя имъ сознательно, благодаря образованію, путешествію за границей, чтенію книгъ. Независимость свою онъ цѣнитъ выше всего. Отсюда и содержаніе и форма рѣчей, которыя онъ произноситъ въ комедіи. Въ немъ сильно чувство гражданскаго долга: онъ радъ «служить», но «дѣлу»: какъ «ребячество» онъ вспоминаетъ свою страсть къ «мундиру»; «не требуя ни мѣстъ, ни повышеній въ чинѣ», онъ считаетъ полезной не одну военную службу, но и гражданскую, пріобрѣтавшую особую важность въ эпоху внутреннихъ реформъ; и занятія науками и искусствами, для которыхъ нужно и «путешествовать» и книги читать, для него не представляются «опасными мечтаніями». То же чувство личности, личнаго достоинства и справедливости, Чацкій переноситъ и на общество и на народъ, желая и для него «свободной жизни». Самъ обязанный своимъ развитіемъ западно-европейскому просвѣщенію, онъ однако любитъ родную землю, ея «старину святую», ея языкъ

и горячо протестуетъ противъ презрительнаго отношенія къ этому народу, «умному и доброму», противъ рабства, слѣпнаго подражанія всему иностранному: противъ всѣхъ этихъ мадамъ Розье, молодыхъ французовъ изъ Бордо, плѣнявшихъ тетушекъ и барышень-княженъ, противъ иностранщины въ модахъ, рѣчахъ и чувствахъ; не только противъ увлеченія французскимъ, но и противъ того:

Какъ съ раннихъ лѣтъ привыкли вѣрить мы,
Что намъ безъ нѣмцевъ нѣтъ спасенья.

Такую же самостоятельность, какъ въ отношеніи къ Западу, Чацкій проявляетъ и къ тому родственному ему, по направленію, либеральному кругу, о которомъ говоритъ Репетиловъ. Его прямой и честной натурѣ претитъ «секретнѣйшій союзъ», онъ иронически называетъ тамошнія бесѣды «объснованьемъ». Тутъ, можетъ быть, дѣйствовалъ и природный скептицизмъ Грибоѣдова. Въ этомъ отношеніи онъ чистый индивидуалистъ, но не эгоистъ. Онъ, конечно, не врагъ людей, но онъ будетъ выбирать въ друзья по сердцу и уму, а не какъ въ московскомъ обществѣ, гдѣ

Кто хочетъ къ намъ пожаловать — изволь,
Дверь открыта для званныхъ и незванныхъ...
Хоть честный человѣкъ, хоть нѣтъ,
Для насъ ровнехонько: про всѣхъ готовъ обѣдъ.

Въ Чацкомъ не заглушены и личныя чувства: у него не только благородный умъ, но и ласковое, нѣжное и горячее сердце. «Ни даль, ни развлеченія, ни перемѣна мѣстъ» не охладили его любви къ Софьѣ. Онъ «безпрерывно былъ занятъ движеніями своего сердца, жилъ, дышалъ ими». Противопоставляя себя своему сопернику, онъ спрашиваетъ Софью:

Есть ли въ немъ та страсть, то чувство, пылкость та,
Чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый
Казался прахъ и суета?
Чтобъ сердца каждое бѣенье

Любовью ускорялось къ вамъ?
 Чтобъ мыслямъ были всѣмъ и всѣмъ его дѣламъ
 Душою — вы, вамъ угожденье?
 Самъ это чувствую, сказать лишь не могу.

И какъ глубока его печаль, когда пришлось убѣдиться, что его не любятъ!

Пушкинъ называлъ Чацкаго «совсѣмъ не умнымъ человекомъ», имѣя, очевидно въ виду бесплодность его борьбы. Да, ближайшихъ результатовъ его рѣчи не имѣли, если не считать того горя, которое причинялъ ему его собственный умъ, обнаруживая ясно всю нелѣпость царящихъ отношеній и того миллионна терзаній, которыя испытывало его слишкомъ чувствительное сердце въ этомъ «праздномъ, жалкомъ и мелкомъ свѣтѣ». Но комедія изображаетъ только начальный періодъ борьбы между «вѣкомъ нынѣшнимъ и вѣкомъ минувшимъ»; Чацкій только застрѣльщикъ и, какъ таковой, не всегда соразмѣряющій свои силы, нѣсколько заносчивый и нетерпѣливый. Его рѣчи порою безъ нужды страстны; обвиненія и упреки по адресу Софьи не вполне основательны; совѣтъ «занять у китайцевъ премудраго незнающа иностранцевъ», конечно, преувеличеніе. Его разочарованіе:

Все та же гладь и степь, и пусто и мертво...

его рѣшеніе бѣжать «искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ»... и это всего послѣ одного вечера у Фамусова — преждевременны. Но эта «мизантропія» понятна въ такомъ сильномъ и пылкомъ темпераментѣ, какъ Чацкій, при крайне возбужденныхъ нервахъ, и скорѣе трогательна, чѣмъ смѣшна. Кто учтетъ воспитательное значеніе этихъ огненныхъ рѣчей Чацкаго, независимо отъ того, въ какомъ обществѣ онѣ были произнесены?

Не возбуждала въ критикѣ разногласія оцѣнка «вѣка минувшаго», стоявшаго, какъ на китахъ, на крѣпостномъ правѣ, родовыхъ понятіяхъ, табели о рангахъ и т. п... Здѣсь все уже опредѣлилось давно — оттого такъ непримиримо отношеніе представителей этого минувшаго къ новымъ идеямъ и новымъ людямъ, къ «гордецамъ и вольнодумцамъ».

Составъ этого общества — «столбовые всѣ», «московскіе тузы», «дорожащіе дворянствомъ». Основа ихъ благополучія — «родовыя души». Ихъ защита—крѣпостное право: вотъ, напримѣръ,

Тотъ Несторъ негодаевъ знатныхъ
Толпою окруженный слугъ.
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И честь и жизнь его не разъ спасали—вдругъ
Опъ вымѣнялъ на нихъ борзыхъ три собаки.
Или—вотъ тотъ еще, который для затѣи
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцевъ отторженныхъ дѣтей...

Они, конечно, не одобряютъ проектовъ либеральнаго правительства и, съ своей точки зрѣнія, составляютъ оппозицію ему и «иной разъ такъ о немъ толкуютъ,

Что еслибъ кто подслушалъ ихъ—бѣда».

Впрочемъ, увѣренные въ себѣ и зная обычный результатъ не разъ возникавшихъ проектовъ различныхъ реформъ въ Россіи, они говорятъ:

Знать, время не приспѣло,
Но что безъ нихъ не обойдется дѣло.

Видя, и не безъ основанія, источникъ либерализма въ книгахъ и вообще въ просвѣщеніи («ученье—вотъ чума, ученость—вотъ причина»), они вооружаются противъ новыхъ «лицеевъ, школъ, гимназій» и пр., противъ увлеченія наукой вообще («кричать: разбой! пожаръ!»); попавъ въ ученый Комитетъ, одинъ изъ нихъ

съ крикомъ требовалъ присягъ,
Чтобъ грамотъ никто не зналъ и не учился.

Имъ кажется опаснымъ всякій,

Кто путешествуетъ, въ деревнѣ кто живетъ....

Послѣдній опасень потому, что онъ поступаетъ вопреки обычаю «служить». Но это особая служба, не ради дѣла, а ради имѣнія и чиновъ. Служба лицамъ, обязывающая «прислуживаться», зато освобождающая отъ дѣйствительныхъ обязанностей, которыя можно возложить на секретарей. Представитель этого общества Фамусовъ, какъ символъ стараго оцѣпенѣлаго быта, человѣкъ, поступающій во всемъ, какъ всѣ, поставилъ себѣ за правило: «что дѣло, что не дѣло—подписано, такъ съ плечъ долой». Полковникъ Скалозубъ, — это «созвѣздіе маневровъ и мазурки», «больно не хитеръ», «слова умнаго не выговорилъ сроду», въ службѣ онъ понимаетъ только виѣшнее: «все такъ прилажено и тальи всѣ такъ узки» — для парадовъ и смотровъ — и цѣнить въ ней лишь чины да ордена: «Мнѣ только бы досталось въ генералы», говоритъ онъ. Остроуміе полковника Скалозуба обнаруживается въ его отзывяхъ о Москвѣ какъ «дистанціи огромнаго размѣра», «къ украшенію которой много способствовалъ пожаръ», или о Настасьѣ Николаевнѣ: «не знаю, мы съ ней вмѣстѣ не служили» или въ угрозахъ «фельдфебеля въ Вольтеры дать». И однако онъ мѣтитъ высоко. Добившись положенія, какими бы то ни было средствами, иногда забывши возрастъ и свой надменный нравъ, подобно Максиму Петровичу, который «сгибался въ перегибъ» «когда было надо подслужиться», тянули за собой родню («ну какъ не порадовать родному человѣчку») или поощряли и воспитывали такихъ лицъ, какъ Молчалинъ «на цыпочкахъ, и не богатъ словами», открывающій свои уста только для пошлости и лести, который еще, по завѣщанію отца, получилъ правило

угождать всѣмъ людямъ безъ изъятія:
 Хозяину, гдѣ доведется жить,
 Начальнику, съ кѣмъ буду я служить,
 Слугѣ его, который чистить платье,
 Швейцару, дворнику для избѣжанья зла,
 Собакѣ дворника — чтобъ ласкова была.

Дальше въ поспраніи своей личности идти некуда. Послѣ этого было бы бесполезно ждать отъ Молчалина какихъ бы то

ни было нравственных убѣжденій. Его услужливость и лесть важной старухѣ Хлестовой, отзывъ о Татьянѣ Юрьевнѣ, отношеніе къ Софьѣ, какъ дочери начальника... всѣ его поступки и мнѣнія обнаруживаютъ въ немъ низкую натуру, но ловкую, практически смѣтливую: «малый дѣловой»... И, пожалуй, онъ «сдѣлаетъ карьеру» и самъ когда-нибудь будетъ «начальникомъ».

Чѣмъ же жило это общество? Отвѣтомъ можетъ служить безподобная, типичная картина бала у Фамусова въ 3-емъ дѣйствіи, въ которой отразилась вся пошлость московскаго общества, съ его враждой къ благородному и честному, ненавистью къ наукѣ и просвѣщенію, тщеславнымъ высокомеріемъ и въ то же время — готовностью къ униженію и низкопоклонству, съ его единственнымъ интересомъ къ продолженію празднои и сытой жизни, на счетъ крѣпостныхъ и государства. Кого здѣсь нѣтъ — и званыхъ и незваныхъ, и князей и отъявленныхъ плутовъ Загорѣцкихъ.

Кто хочетъ къ намъ пожаловать — изволь...

Вотъ Наталья Дмитриевна, сразу завязывающая свѣтскій разговоръ-болтовню; мужъ ея «какъ всѣ», «изъ жениныхъ пажей»; кн. Тугоуховская, старуха Хлестова и др. Всѣхъ собралъ «балъ». Одни и тѣ же лица сегодня здѣсь, а завтра у другихъ. У Фамусова Петрушка, «съ разодраннымъ локтемъ», записалъ въ календарь рядъ приглашеній на балы, похороны, крестины... Жить «какъ всѣ» — принципъ. «Личному» нѣтъ здѣсь мѣста: «какъ можно противъ всѣхъ!» «Грѣхъ не бѣда, молва не хороша» — вотъ мораль. Интересы полуживотные. Предметъ разговоровъ — сплетни и пересуды всякаго рода:

Тотъ сватался — успѣлъ, а тотъ далъ промахъ...

Нѣтъ правды — сойдетъ и ложь, какъ уцѣпились за пущенную Софьею молву про сумасшествіе Чацкаго:

Не надо пищи — сказку, бредъ

Имъ лжець отпустить въ угожденье,

Глупецъ повѣритъ, передастъ;

Старухи, кто во что гораздъ,

Тревогу бьютъ... и вотъ общественное мнѣнье.

У кого есть дочки, ищутъ здѣсь жениховъ, конечно,
«чтобъ съ имѣньемъ быть и въ чинѣ».

Чацкій, небогатый и не камеръ-юнкеръ, въ ихъ списокъ не попадетъ: не то, что Скалозубъ, «золотой мѣшокъ и мѣтитъ въ генералы». Барышни, пародіи парижскихъ модистокъ, окружаютъ пустого француза, «который чувствуетъ себя здѣсь маленькимъ князькомъ», трещать безъ толка о нарядахъ (о фалбарахъ, эшарпахъ, тюрлюрю) и танцуютъ. Старшіе играютъ въ карты. Процвѣтаютъ «пустяки», среди которыхъ нѣтъ мѣста уму и сердцу Чацкаго. Ради кого же онъ здѣсь? Самъ онъ себя спрашиваетъ:

«Что новаго покажетъ мнѣ Москва?»—и въ другомъ мѣстѣ:
«Чего я ждалъ? что думалъ здѣсь найти?»

И гдѣ завязка комедіи? — Въ его любви къ Софьѣ. Она привела его въ этотъ домъ; надежда на встрѣчу съ ней, на ея «живое участіе».

Въ Софьѣ несомнѣнно есть черты личности: и живой умъ, сердце, и энергія, благодаря чему Чацкій и идеализируетъ ее, прощая ей слабости:

Вѣкъ не встрѣчалъ — подписку дамъ,
Что бъ было ей хоть нѣсколько подобно...

Въ ней есть прежде всего чувство самостоятельности:

Что мнѣ молва? Кто хочетъ, такъ и судить.
А кѣмъ изъ нихъ я дорожу?
Хочу — люблю, хочу — скажу.
Да что мнѣ до кого? до нихъ? до всей вселенной?
Смѣшно, пусть шутятъ ихъ; досадно — пусть бранятъ.

Въ діалогахъ съ отцомъ, съ Молчалинымъ, съ Лизой, съ Чацкимъ Софія слишкомъ откровенна. Ложь приводитъ ее въ смущеніе: «Откуда скрытность почерпнуть?» «Боюсь, что выдержать притворства не сумѣю».

Во-вторыхъ, ее возвышаетъ надъ средой способность идеализировать людей и отношенія. Скалозуба она раскусила, и ни его богатство, ни кресты ее не прельщаютъ: «онъ не герой ея романа». А за Молчалина она, по справедливому предположенію Чацкаго, «выдумала Богъ знаетъ что, чѣмъ голова его вѣкъ не была набита». «Быть можетъ, говоритъ Чацкій Софѣ, качествъ вашихъ тьму

Любуясь имъ, вы придали ему.

Въ его униженіи она увидѣла — доброту души, въ трусости — скромность, въ отсутствіи чувства — невинность, самая бѣдность его возбуждала въ ней идиллически «сентиментальную» любовь: не Чацкій, съ его безпокойнымъ умомъ, а онъ («въ лицѣ ни тѣни безпокойства») могъ бы составить семейное счастье, по ея мнѣнію.

Наконецъ, она горда, самолюбива и способна сильно чувствовать обиду. Узнавъ о низости Молчалина, она съ негодованіемъ говоритъ: «себя я, стѣнь стыжусь» и требуетъ его немедленнаго удаленія. И къ Чацкому она холодна изъ-за обиды, имъ нанесенной, а въ душѣ, въ ея тайникахъ, она его любила. Они вмѣстѣ росли, она была сирота, постоянная близость создавала привычку и, можетъ быть, зарождала болѣе нѣжные чувства въ нихъ обоихъ. Объ этомъ знаетъ даже Молчалинъ: «Любила Чацкаго когда-то». Очень ясны и намеки Лизы. Но — онъ «сѣхалъ; ужъ у насъ ему казалось скучно», говоритъ она не безъ горечи. «Въ друзьяхъ особенно счастливъ» — ревнуетъ она его. «Онъ о себѣ задумалъ высоко» — такъ объясняетъ она его поведеніе. Затѣмъ уѣхалъ за границу и не давалъ вѣстей. Вѣра въ его любовь пропала:

Ахъ, если любить кто кого,
Зачѣмъ ума искать и ѣздить такъ далеко.

А по возвращеніи онъ, вмѣсто смиренія и покорности, обнаружилъ одну «злость»:

Случилось ли, чтобъ вы, смѣясь, или въ печали,
Ошибкою добро о комъ-нибудь сказали.

И она уже не щадить его, бьетъ его каждымъ словомъ и доходитъ до того, что пускаетъ въ свѣтъ глупую сплетню. Здѣсь она, вольно или невольно, переступаетъ порогъ и смѣшивается съ толпой гостей своего отца...

Она не поняла Чацкаго, не оцѣнила благородныхъ побужденій въ его язвительныхъ рѣчахъ, не почувствовала за насмѣшкой—его сердечныхъ огорченій. Она не поняла и Молчалина. Бѣда вся въ томъ, что она уродливо была воспитана мадамъ Розе, на сентиментальныхъ романахъ, да на Кузнецкомъ мосту. Отецъ вздыхалъ, что Создатель возложилъ на него миссію «быть взрослой дочери отцомъ», заботился о ней лишь внѣшнимъ образомъ, обучая и воспитывая, какъ того требовалъ свѣтъ:

И танцамъ, и пѣнью, и нѣжностямъ, и вздохамъ.

а теперь, въ моментъ дѣйствія комедіи, прочилъ ее за Скалозуба. Подруги и «свѣтъ» вовлекали въ пустые интересы. Жизни она не знала. Настоящей правды не искала. И едва ли серьезный урокъ, который она получила по окончаніи бала, ее выведетъ изъ заколдованнаго круга. Ея драма не менѣе мучительна, чѣмъ драма Чацкаго.

Чацкій и Софья своей судьбой болѣе всего привлекаютъ вниманіе читателя и зрителя комедіи: онъ какъ жертва стремленія къ новому, она — жертва стараго. Остальные пока благодеествуютъ, развѣ княгиня Марія Алексѣевна что-нибудь расскажетъ про то, что произошло на балу у Фамусова, и на время дастъ пищу разговорамъ на завтрашнихъ балахъ.

Что намъ далъ Грибоѣдовъ въ «Горе отъ ума» — комедію или сатиру въ драматической формѣ? Кн. Вяземскій высказалъ мнѣніе, что «дѣйствія въ этой драмѣ нѣтъ. Здѣсь всѣ почти лица эпизодическія, всѣ явленія выдвижныя: ихъ можно выдвинуть, вдвинуть, перемѣстить, пополнить и нигдѣ не замѣтишь ни трещины, ни придѣлки». Гончаровъ, въ прекрасной статьѣ «Милліонъ терзаній», напротивъ, находитъ, что «Горе отъ ума» — «комедія больше всего, комедія, какая едва ли найдется въ другихъ литературахъ» и затѣмъ въ подробномъ изложеніи содержанія обнаруживаетъ всю жизненность и драматизмъ положенія Чацкаго. Чацкій — живая типическая личность, онъ увлекается

надеждой, негодуешь, страдаетъ отъ сомнѣній, впадаетъ въ ошибки, горько разочаровывается, но всегда живетъ и борется съ перваго явленія до послѣдняго: борется за личное счастье—съ Софіей, за общественное благо—съ Фамусовскимъ обществомъ. Эта двойная борьба переплетается, осложняетъ дѣйствіе, но не лишаетъ его интереса. Чацкій много «говорить», но его слова такъ значительны, что стоятъ «дѣйствія». Страстность этихъ рѣчей, ихъ близость къ субъективному настроенію Грибоѣдова послужили первымъ толчкомъ, чтобы переименовать комедію въ политическую сатиру. Современный критикъ и историкъ литературы Котляревскій идетъ еще дальше и видитъ «сатирическій символъ» даже въ Чацкомъ: «не хотѣлъ ли Грибоѣдовъ, покончивъ съ отжившей стариной, посмѣяться и надъ зеленой молодежью?»

Оставляя въ сторонѣ споръ о родѣ поэтического творчества, къ которому принадлежитъ «Горе отъ ума», нельзя отрицать одного,—что въ этомъ произведеніи Грибоѣдовъ далъ реальное изображеніе дѣйствительности, своего рода итоговъ Александровской эпохи, проникнутое высокимъ идеалистическимъ настроеніемъ и, притомъ, выраженное замѣчательными стихами.

Созрѣваніе русской литературы ко времени Пушкина случилось не только въ отдѣльныхъ художественныхъ произведеніяхъ, но и въ литературной критикѣ, которая такъ сумѣла оцѣнить «Горе отъ ума»: «Это феноменъ, какого мы не видали со времени Недоросля. Толпа характеровъ, обрисованныхъ смѣло и рѣзко; живая картина московскихъ нравовъ; душа въ чувствованіяхъ, умъ и остроуміе въ рѣчахъ; невиданная доселѣ бѣглость и природа разговорнаго языка въ стихахъ. Все это завлекаетъ, поражаетъ, приковываетъ вниманіе... Будущее оцѣнитъ достойно сію комедію и поставитъ ее въ число первыхъ твореній народныхъ». («Полярная Звѣзда» 1825 г. Статья Бестужева).

НѢСКОЛЬКО ТЕМЪ

для самостоятельныхъ работъ учениковъ (рефератовъ) по курсу Исторіи русской литературы XVIII и первой четверти XIX вѣка.

I. Разсмотрѣть содержаніе Путевого дневника Петра Андреевича Толстого („Русскій архивъ“ 1888 № 2—8).

II. Выбрать иностранныя слова въ одной изъ повѣстей Петровской эпохи (В. В. Сиповскій — «Русскія повѣсти XVII — XVIII вв.»).

III. Сравнить отношеніе къ современности Стефана Яворскаго («О храненіи заповѣдей Господнихъ») и Теофана Прокоповича («О власти и чести царской»).

IV. Сравнить Поученіе Владимира Мономаха, Домострой и «Завѣщаніе Отеческое» Посошкова (Изд. А. Попова. Москва 1873).

V. Сравнить «Завѣщаніе Отеческое» Посошкова и «Духовную» Татищева (изд. подъ ред. Чудинова XXII).

VI. Выяснить взглядъ Кантемира на свое писательское призваніе по IV сатирѣ («Русская поэзія» подъ ред. С. А. Венгера Т. I. С.П.Б. 1897).

VII. «Примѣчанія» Кантемира къ сатирамъ, какъ матеріалъ для характеристики русской литературы того времени.

VIII. Тредіаковскій и Ломоносовъ о русскомъ стихосложеніи. Изложить ихъ взгляды и причины литературнаго спора («Исторія Имп. Академіи Наукъ въ П.Б.» Пекарскаго Т. II 1873).

IX. Темы притчъ (басенъ) Сумарокова и черты современности въ нихъ («Русская поэзія» I).

X. Языкъ трагедіи Сумарокова: «Синавъ и Труворъ» (драматичность, выразительность, пафосъ, искренность...) по изд. «Классной Библіотеки» Чудинова.

XI. Царствованіе Екатерины II въ оцѣнкѣ Державина (ода «Фелица») и Карамзина («Похвальное слово Екатеринѣ II»).

XII. Идеаль воспитанія въ XVIII вѣкѣ (Руссо «Эмиль». «Новиковъ» Соч. Незеленова. Радищевъ «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву». Ст. Крестцы).

XIII. Щеголи и щеголихи въ русской сатирѣ XVIII вѣка (Покровскій «Историческая хрестоматія». Вып. XII и XIII).

XIV. Соціальный вопросъ въ журналахъ Новикова (Журналы въ изд. «Дешевой библіотеки». «Новиковъ». Соч. Незеленова. Милюковъ «Очерки по исторіи русской культуры» ч. III отд. 2, гл. IV).

XV. Отзывъ Фонвизина о европейцахъ (по «Письмамъ» — въ собраніи соч. подъ ред. А. И. Введенскаго С.П.Б. 1893).

XVI. Черты деревенской жизни въ Званкѣ («Евгенію. Жизнь Званская» Державина въ «Русской поэзіи» и «Жизнь Державина». Соч. Я. Грота I).

XVII. «Собесѣдникъ любителей россійскаго слова» — его основаніе, сотрудники, содержаніе («Жизнь Державина» соч. Я. Грота Т. I глава X. С.П.Б. 1880).

XVIII. Впечатлѣнія Отечественной войны въ русской поэзіи того времени (Н. К. Грунскій «Наполеонъ I въ русской художественной литературѣ» въ «Русскомъ Филолог. Вѣстникѣ» 1896 т. 40).

XIX. Карамзинъ въ кабинетѣ германскаго ученаго (по «Письмамъ русскаго путешественника» въ изд. Суворина или «Рус. кл. библ.» подъ ред. Чудинова).

XX. Сравнить одинъ изъ рассказовъ въ «Исторіи государства россійскаго» Карамзина съ источниками.

XXI. Адмиралъ Шишковъ (по книгѣ В. Я. Стоюнина «А. С. Шишковъ». С.П.Б. 1880).

XXII. Нѣмецкій романтикъ Тикъ («Романтическая школа» Гайма. М. 1891. Книга первая).

XXIII. Жуковскій какъ народникъ («В. А. Жуковскій». Соч. Академика А. Н. Веселовскаго Глава XV).

XXIV. Элегіи Батюшкова и Жуковскаго (Сравнительная характеристика).

XXV. Произвести группировку басенъ Крылова по содержанию.

XXVI. Грибоѣдовъ и его время въ воспоминаніяхъ современниковъ («Историко-литературная библіотека» подъ ред. А. Е. Грузинскаго: Выпускъ III. М. 1910).

XXVII. Бѣлинскій о «Горе отъ ума».
